
Г. Сазонов
А. Конькова
И ЛУН
МЕДЛИТЕЛЬНЫХ
ПОТОК...

Г. Сазонов
А. Конькова

И лун медлительных поток...



Г. Сазонов
А. Конькова

И ЛУН МЕДЛИТЕЛЬНЫХ ПОТОК...

Роман-сказание

Свердловск
Средне-Уральское
книжное издательство
1982

84Р7
С14

Роман-сказание — так определили жанр книги «И лун медлительных поток...» ее авторы, тюменский писатель Геннадий Сазонов и мансийская сказительница Анна Конькова. И действительно, фольклорные мотивы пронизывают всю художественную ткань этого повествования о прошлом народа манси. Прослеживая судьбы четырех поколений обитателей таежной мансийской деревушки, авторы показывают, как тесно связаны особенности мировосприятия, психологии, нравственных представлений героев с поэтичным миром народных легенд, преданий и поверий, где «причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство».

В центре повествования — история охотничьего рода Картиных с начала XIX века до последнего его десятилетия. Патриархальным, застывшим в неизменности кажется весь уклад бытия людей Евры, научившихся жить в мудрой гармонии с суровой северной природой, неотделимой частью которой они себя ощущают. Но и в этом замкнутом мирке, куда доносятся лишь отголоски бурь большого мира, незаметно, исподволь идет социальное расслоение, меняются человеческие отношения, и внуки уже не могут и не хотят жить так, как жили их деды...

Рецензенты — Л. Е. Киселев и И. А. Дергачев.

С $\frac{70302-052}{М158(03)-82}$ 4702010200

АПРАСИНЬЯ ИЗ ЗЕМЛИ ТАХЫ

1

И вот настало время, когда Мирон сказал своему отцу, Максиму Картину:

— Тетюм! Отпусти меня в земли сосьвинских манси, отец! Хочу посмотреть жизнь людей Тахы.

Недолго думал манси Максим Картин — с восхода до заката: в зрелости лет короткие думы давно передуманы. Несколько раз то вширь, то вглубь просмотрел он долгую свою жизнь, где было больше лютой зимы и мало лета, перебирал ее по жилочкам, по шерстинке, гляделась она ему издали цветом золы, колыхалась под неверным туманом. Находил в ней Максим Картин много пустого, тусклого и зряшного, что творилось лишь заради утробы и покоя. Но поднимал он из далекой памяти нажитые болью и тяжестью золотинки мудрости. Долгая жизнь еще никому не придает ее, мудрости,— просто год от года человек становится осторожнее к себе и близким, и не потому, что стал умнее, нет. Наверное, оттого, что много знает наперед, знает: если его дети и внуки сумеют так же свято хранить законы и обычаи предков, то их жизнь повторит его жизнь. След в след — повторение. Как у зверя... Ну и что? Все просто: хранить законы и подчинять им себя — значит сохранить и род свой, и себя в роду своем. И хотя порой волчий он, звериный и жестокий тот закон, непонятный — от земли ли он, от неба ли,— все равно закон хранит человека, как частокол избу хранит, как хранят речку берега.

...В глухоте кондинских урманов, в краю сотен оперенных лебедями озер затерялось крохотное, из сорока дворов, мансийское селение Евра. Никто не помнит, когда появились и расселились здесь манси — рыбаки и охотники. Из древних преданий дальним громом донеслось, что сюда, в дремучесть кондинской земли, небольшое гордое племя привел вожак, богатырь Ивыр.

Река Конда раскидистым кедром, огромной кроной своей, бесчисленными голубыми веточками упирается в водораздел Малой Сосьвы, а могучими стволами и вет-

вями протоков достигает Люлим-Вора — Великого Красного Леса. Спеша к Иртышу, Конда-река извилисто пробегает тысячеверстный путь, жадно забирая в себя Мулымью, Эсс, Большой и Малый Тап, Юконду и сотни безымянных речушек. При впадении в Конду устья рек распахиваются, просторно раскидываются в полую воду, образуя «соры» — неглубокие озера. Русло Конды причудливо-извилисто, и долина ее необычна — отшнуровываются, убегают от реки старицы; длинные, в три полета стрелы, озера соединились протоками — все это образует то, что называется «туманами». В верховьях своих Конда ласково принимает в свою долину небольшую, но быструю речушку Евру, всего-то в сотню километров длиной. Перед впадением в Конду Евра протягивает себя, как иголка нитку, через пять-шесть больших озер и образует Сатыгинский и Леушинский туманы. Туманы неглубоки, течение в них дряблое, как дыхание уставшего рыбака, мели и песчаные косы ежегодно переползают с места на место, и до Евры не поднимались баржи и неводники — летом до снега, до ледовой дороги, Евра отрезана от мира.

Вокруг Евры в нерушимости лесного покоя притаилось несколько деревушек. В пяти верстах — Вындырья, деревня рода Вындыра, в четырнадцати — Вырый, или Урай, что по-мансийски звучит как Деревушка над старицей. Неподалеку небрежно, как шишки под кедром, раскидана горстка изб Нярпалы — Болотной деревни. А в двадцати верстах от Евры, в Сатыге, гнездился «князек» Сатыга со своим княжеским родом, собирая ясак с окрестных манси.

Далеко оторвались евринцы от людей: до Леушей девяносто, до Пелыма сотня, до Гарей сто пятьдесят, может двести, немереных буреломных верст.

Священны места на Конде. Хранят они древние капища манси. В капищах обитают божки, до поры молчащие, с открытыми обнаженными глазами, что видят нарождение гроз в бездонье струящегося неба и трепетное появление травинки на обнаженной, еще не согретой земле. Те места чужаку недоступны, откинуты они за пределы человеческого дыхания, и жертвы языческим божкам и земному богу — Шайтану приносились раз в три, а затем лишь раз в семь долгих лет.

В истоках Конды изначала веков обитает Старик — в обличии медного идола покровитель Кондинского края,

неусыпный хранитель всех зверей и птиц. Старик властно требует уважения, жертвы и покорности, он любит золотые и серебряные поделки, и охотник, проходя через угодья Старика, опускал дорогую вещицу в дупло древнего кедра, что оберегал собою шайтанский амбар. Близ Шаима почитается Лопанзюк — Человек-Лягушка, он же покровитель рыб. В Песярах — Павыл на высоком берегу поднимается Санг-Пупий — Птичий Шайтан, сотворенный из семи разноперых уток...

Много капищ запрятано в верховьях Конды, и хранителем самого древнего капища Канталья был Максим Картин.

Люди, что приходили принести свое истовое моление и подношение-жертву земному богу Шайтану, часто останавливались у Максима в большом доме, срубленном из неохватных лиственниц. Максим Картин — Макса пув Ситка — сын Ситка из древнего рода Вороного Коня — уже много лет избирался старейшинами и людьми Евры хранителем капища. В нем жила глубокая, как корневища кедра, память, он был силен, как сохатый, был здоров и нарождал здоровое, без кривулин потомство. И он знал многое. Умел слушать и понимать, о чем рассказывали люди, что приходили в капище. Каждый, кто приходил сюда, приводил с собою жертву: лосенка, белого оленя, белого барана, да хоть белого петуха. А сюда, в Кантанью, стекались манси от деревни Ёмас-Павыл до истоков Конды. Вот почему в древние времена Евру так охраняли от татарских набегов. Когда сибирские татары дошли до Леушей — по-манси Лувс — Лошадиный Город, воины-манси небольшими отрядами, тайными тропами, непроходимыми урманами стянулись к Евре и на реке подняли семь высоких неприступных завалов, опрокинув наземь живые деревья. Они так и назывались — Первый лом, Второй лом, Седьмой... Корни, ветви, стволы деревьев переплетались так туго, так проросли насквозь молодым березняком, что ни один зверь — ни медведь, ни волк — не мог преодолеть лом-засеку. Уже на памяти Максима князец Сатыга сгонял людей, чтобы расчистить эти завалы.

Проскользнуло время, утонуло в дымах закатов, в говорливой быстрой воде. Время отмечало себя рождением детей и смертью стариков, новыми избами над рекой, черными годами мора и голода, грозными таежными пожарами и разливами Конды. Дни складывались в годы,

годы в десятилетия, уходила юность, подступала старость — время медлительно текло по уготованному руслу. Оно оставалось таким же, каким было вчера, и не обещало измениться завтра. Тягучее, как смола, загустевшее время... Незыблемое, неприступное, неодолимое.

К сорока годам Максим Картин обнял разумом, что евринцы и все кондинцы живут на острове в верховьях Человеческой Реки. На берегах ее раскинули свои стойбища ханты-остяки, поставили селения татары, на закате — города и деревни бородатых русских с их церквями и лавками, а на севере, за небольшой протокой, раскинулись земли Тахыт-Махум, земли сосьвинских манси. Человеческая Река плескалась, гремела, обрушивала, проглатывала берега, ломала льды неприязни и неслась, неслась под солнцем, под грозами и метелями, захватывая на своем пути ручейки племен и реки больших и малых народов. Манси Конды, Юконды, Евры, давно ставшие ясачными людьми далекого и неведомого Белого царя, затаились среди урманов, храня свои законы. А Человеческая Река вбирала в себя речки и речушки племен, и те оставались сами собою лишь в притоках, в верховьях своих, в реке же племена и народы становились тем единым, что называют уже не род, не племя, не люди Конды или Тавды, а уже люди Большой Реки — человечество. Большая Река жила уже Большими Законами, их создавало не только течение, не только берега, но и ложе и небо той земли, по которой пронеслась многоязыкая, многоглазая, многоголовая река. А острова? Острова на реке окружают острые, песчаные косы, их окружают коварные, меняющиеся мели.

«Мы, манси земель Конды, пелымцы, манси Юконды, живем, как остров, среди других народов»,— размышлял Максим Картин, побывав на великой реке Ас — Оби, среди сургутских и ваховских остяков. Он побывал у назымских и казымских, кодских и березовских ханты, видел ненцев, поднимался по Сосьве — Тахы и жил немного на земле сосьвинских манси. «Почему мы, манси Конды,— белые, светлые, а люди сосьвинских земель, народ Тахыт-Махум, темнолики, узкоглазы и плосконосы? Кто они, откуда? Ведь они тоже называют себя манси. Мы родственники, братья мы, из единого племени или это другой народ?»

Максим Картин с братом поднимались в верховья Конды и, обойдя Турсунтский Туман, от Арпавыла подхо-

дили к истокам реки Тапсуй в земли Тахыт-Махум. Они спустились по Сосьве до Няксимволя, и их встретили люди Сосьвы, манси сосьвинских земель. Ростом они чуть пониже Картиных и обликом почти такие, только лицо круглее и скуластее, подбородок тяжелее и темнее они глазами, волосом и телом. Одежда — из оленьих шкур, и постель, и пища другие — то олений народ, он каслает оленей по хребтам Урала, по Ялпинг-Нёр, по Яны-Кат-Нёр — Хребту Большой Оленьей Лапы, от священного озера Тур-Ват к верховьям Ыджит-Яга и Елтыньи. И разговор людей Сосьвы на первый раз неясен, но вслушаешься — понять можно, хотя в нем, как в чистом песке, попадают круглые гальки чужих непонятных слов. Эти слова люди Сосьвы, наверное, принесли с вершин и туманов Урала, где они встречались с ненцами, с коми, а может быть, и с другими народами, что обитают по ту сторону гор.

Олень для людей Сосьвы означал жизнь, определял ее, очерчивал границы бытия. Олень — и богатство, и счастье, и пища, кров, одежда и упряжка. А вдруг черный мор — нет оленя. А вдруг свирепый оскал зимы, непробиваемый, как кольчуга, наст — нет оленя. А волки? Темная ночь, злая, голодная пурга глотали стадо... Люди Сосьвы почти все время проводили в чумах, в стадах, в поисках пастбищ, и мало оставалось у них времени на охоту и рыбную ловлю, хотя сюда, в верховья, поднимались нельма и муксун, в горных реках жировали таймень и хариус — их кололи острогой с легкой лодки. Они подарили Максиму двух быков — хоро, а за два волчьих капкана Картин выменял чистокровную няксимвольскую суку и кобеля. С тех пор в Евре появились крупные и широкогрудые песочного окраса лайки с голубыми, по-детски доверчивыми и мудрыми глазами.

Нет, евринцы жили иначе, другим законом и порядком. Были у них олени, немного, совсем немного: у Лозьвиных — десять, вот сколько пальцев на руках, у Кентиных — семь, ну, у того-другого два-три. Держали их в загородке, возле юрты, кормились олени в лесу, ходили по лесным полянам, побрякивая боталом. Не ради мяса, не ради шкуры держали оленей, не для быстрой езды — на легких нартах или вьюком ходили с оленем на охоту в те урманы, куда не пройдет конь. Да если и пройдет, чем там кормить коня зимой, он мох не ест, он кору не грызет, он конь, а не лось тебе какой. Эх

да и кони в Евре! Злые, вороные, ястребиное крыло!

— Откуда конь?! — спрашивал Максим Картин у стариков, что выбирали себе покойное место у костра под кедром.— Откуда у нас конь?!

А старики лишь посмеивались, ощерив беззубые рты.

— Конь-то?! Да он сроду у нас был. Что конь, что собака,— отвечали старики.— Как дите ты, Максим, а уже пять десятков зим живешь. Зачем знать тебе, откуда конь у нас?

— Идола, поди, хочет сотворить,— усмехнулся старый Кентин.— Да, видать, не знает — жеребца или кобылу? Вырубай жеребца с кобыльим задом...

— Хо-хо-ха! Хи-хи-хи! — залились ребячьим смехом старики, только древний Лозьвин глухо просипел, словно простонал.

— Сами вы неразумны! — давил слова Лозьвин.— Он пытает вас, как мудрых, ему край как нужно знать — был ли у колыбели его рода конь? Был, или его взяли взаймы у ногаев и татар?

Закашлялись старики, спрятали глаза, задумались, ушли далеко от костра, пытаясь заглянуть в далекое.

— Никто того не знает! — нарушил молчание Кентин.— И не дано нам того знать...

— Кха! — презрительно усмехнулся древний, как ворон, Лозьвин.— Кхау-крра-ха! Манси пришли с полуденной стороны, из просторных мест, где зеленым пожаром полыхали травы. Манси шли оттуда и впереди себя гнали табуны коней, гнали стада коров и овец. А в повозках везли зерно — ячмень, овес, рожь. Тогда дети сосали кобылиц, а мужчины хмелели от молочной винки. Они были умнее вас...

— Так это мансийские кони? — с надеждой спрашивал Максим.

— Нет! — отрезал Лозьвин, великий лошадник, он знает язык коня, его сердце, его верность и дружбу.— Нет! То были угорские кони. Дикие кони угров! А потом смешались кони... Дикое, невзнузданное семя растаяло в ленивой дряблой крови здешних кобылиц!

— А почему люди сосьвинских земель не имеют коня? — спросил Кентин.— Они называют себя манси, но знают только оленя.

— Кхау-крра-ха! — кашель разрывал грудь Лозьвина.— Наверное, они пришли в верховья Сосьвы задолго

до нас, покинув угорское гнездо. Но они нашей крови. В долинах сосьвинских рек — так говорили старики — обитали древние люди, и они слились в одну речку и теперь зовутся людьми Сосьвы-Тахы.

— Верно... У них много не наших слов... совсем чужих и непонятных,— сказал Максим Картин.— Их им оставили те, кто давно уже стал землей, лесом и рекою, тенью облаков...

Наверное, манси Конды и Пелыма — другой народ, другая волна большого народа. Они промышляли много рыбы, ставя запор на Евре. Они промышляли крупного зверя и добывали дорогую пушнину, обменивая у русских на ружья, топоры и ножи, на хлеб, соль и сахар. Они меняли пушнину на золотые, серебряные украшения, на табак и шелковые ленты, сукно и капканы.

С хлебом всегда было трудно. Но ведь жили как-то, сами сеяли понемногу ржи да ячменя и овса. За своими избами на солнечных местах разбивали евринцы огороды, земли сколько хочешь, но не всякая земля отдает плод и семя. Знали они давно, что земля жадно принимает навоз — хоть коровий, хоть конский — да золу, а золы за зиму набиралось много. Земля бурела, темнела и теплела от перегноя, женщины в корзинах таскали на грядки черную зернистую землю с луговых кротовин. Сеяли рожь на толокно, проращивали ее, солодили, готовили квасы и сусла. Сеяли овес на кисели, ячмень на кашу. У крепких хозяев, где подрастали пятеро-шестеро сыновей, огороды от избы до реки обносились тыном из жердей. В огороде выкапывалась яма, куда засыпалась репа. Научили сажать ее русские, что приходили из Леушей и Нахрачей за ураком — копченой рыбой. Русские показали, как выращивать репу и брюкву, хорошая брюква нарождалась, да и лук добрый. В огородах отводилось место для хреновника — чего ему, растет себе, копай знай. А отпаренный урак с квасом да заправленный свежим хреном — о! только боги едят.

Вдоль изгороди-тына прямо за избами поднимались конопляники — «панла-ма», конопляная земля. Конопля сама себя сеяла. Мочили, сушили, мяли, крутили-колотили коноплю на куделю, раздирали на волокна и ткали шабурину, крепкую, как брезент, ткань, что шла на постегонку. Шили из той грубой крепкой ткани шабуры. На штаны, на легкую шубу, на малицу охотник натягивал шабур, чтобы не изорвать одежду в перховнике —

мелколесье. В лесу каждый сучок хватает свой клочок. Коноплю обмолачивали, тщательно перетирая между ладонями метелочки, семя собирали и берегли для голодного времени. В ступе из кедра или березы истолкут женщины конопляное семя, добавят немного рыбьей муки, испекут вкусные лепешки ребятишкам и сварят белый суп. Белый суп, сладкий суп готовился из кедрового орешка. На долгую зиму заготовляли много кедровых орехов, но не каждый год урожайный, а раз в семь-восемь лет. Кедр берегли, не касался его топор — священное оно дерево, могучее, вечнозеленое. И не оттого оно священное, что царственно красиво и могуче, не оттого, что живет пять-шесть веков, раскинув свои ветви над многими поколениями,— священно оттого, что кедр-кормилец пищу всем дает: и человеку, и зверьку пушному, белке, бурундуку, да и самому Старику, Лесному Мужику — Хозяину Леса.

Собирали евринцы и окрестные мансийцы ягоду — морошку, бруснику, голубику и клюкву. Малину брали в лесу, черемуху, рябину сушили, мочили, а бруснику с клюквой сохраняли мороженой почти до новой зимы. Но ягода — это лишь подмога, главное — рыба. И евринцы перегораживали реку огромным, с берега до берега, запором, вычерпывали рыбу из садков, заготовляя ее на долгую зиму и весну. Сушеную рыбу — урак обменивали у русских на хлеб.

А жизнь год от года становилась сложнее, жестче, таила неожиданности. Отдаленный гул Большой Человеческой Реки давно уже доносился до Евры, хотя многие еще принимали его за ворчание затухающей грозы, а гроза скоротечна, как бы ни была яростна. Но Евра уже не могла оставаться островом. Все чаще и чаще посещали ее русские, татары, мордва и попы, стражники, купцы, беглые каторжники — самоходы. Разноплеменный, разноязыкий люд — одни приносили законы, другие охраняли их, третьи рушили и не признавали никакой власти и убегали от нее, как от пожара. Кто-то кого-то ловил, кто-то от кого-то прятался, кто-то что-то искал, кто-то пытался скрыться — все это так не походило на прежние, стародавние времена, о которых рассказывали старики Максиму Картину.

Евринцы встречались с пришлыми заради дела — обмена, купли и продажи, но в жизнь свою не пускали. Однако, когда пчела берет взяток, перелетая с цветка на

цветок, разве она не оставляет на красном цветке золотистую пыльцу с синего или желтого? И пришлые оставляли что-то после себя, хотя это не явное еще, не всегда уловимое — то дыхание Большой Человеческой Реки, а каждый ребенок знает, что тихий ветер раздувает уголек и переносит на себе лесной пожар.

— Но тогда как жить? — размышлял Максим Картин.— Островом? Никто не придет на помощь, когда на остров нападут черный мор, голод и смерть. И в Большой Реке — смерть роду... Но только ли сохранять древние законы, чтобы закон сохранял род? Большая Река разрушит и унесет плотины законов, смоет обычаи, и кем мы тогда станем? И разве остановишь волны той Реки?..

Вот и сына его, Мирона, позвала Большая Человеческая Река, он хочет понять ее, и сперва понять соседний остров, что зовется землей людей Тахы — сосьвинских манси.

Не стал отговаривать сына Максим, сказал только:

— Не тропа ведет человека — сам он бьет тропу. Нет человека без своей тропы. Трусы и слабые, женщины и дети ходят по чужим, легким тропам. Знаю: дальние, неведомые урманы охотнику ума и жизни прибавляют. Иди! Протяни свой след вдогонку за собою!

И Мирон Картин, тая в себе радость и гордость узнавания, ушел с собаками лесовать в дальние земли сосьвинских манси. Не оттого, что кондинские урманы оскудели,— Мирона затягивала в себя даль. С порога юрты даль всегда чудится непостижимо дальней. Но это лишь до первого, самого тяжелого, самого неприподъемного шага. Сделан первый шаг, второй... и пятый... и сотый шаг — и потянулась тропа, как слабая нитка за пронзительно дерзкой иглой.

2

Долго не видели евринцы Мирона.

Вернулся он на закате зимы, в последнюю волчью пургу. И не один. С тяжело нагруженных нарт легко спрыгнула и вслед за Мироном вошла в избу женщина в сахи, в беличьей шубке — «лыенъях». Крупная, широкоплечая, ростом с Мирона была та женщина. Яркий шелковый платок с длинными кистями одним концом закинут за спину, а другим свободно опускается на грудь, прикрывая лицо.

— Здорово, живи долго, отец Максим! — поздоровался Мирон.

— Пасе олын сим ком! — Здорово живи, милый мужчина! Кто? Откуда взял? — кивнул в сторону женщины старый Картин.— Какой земли, какого рода эта женщина?

— То жена моя, тетюм! Апрасинья зовут ее. Она из людей рода Чайки. Журавлиный Крик ее имя.

— Ап-ра-синья,— протянул Картин.— Из людей рода Чайки... Давно ты поспел, налился силой, чтобы семя бросить и плод взрастить. На глазах у бога эта женщина должна принести сынов нашему роду. Пасе олын сим нэ! — повернулся старик к Апрасинье.— Здорово живи, милая женщина!

— Пасе... пасе, тетюм! — густым малиновым голосом певуче ответила Апрасинья и поклонилась старому Картину, чуть-чуть приоткрыв лицо.

— Покажись! — приказал старик.

«Наверное, пытает»,— подумал Мирон. В груди стало тесно: откроет сейчас лицо Апрасинья — и гнев охватит отца. Изобьет — ладно, можно потерпеть маленько, а вот если проклянет и выгонит из дома, как глупого пса?

А старик ждал. Хотел он узнать, какие законы в землях Тахыт-Махум, какие законы наложили там мужчины на женщину, на такое непокойное, тревожное и зыбкое существо? Максим Картин свято чтил законы, хотя не мог себе объяснить странный обычай «избегания». Женщина открывает лицо перед родственниками, перед мужем, перед его младшими братьями, хоть те и женаты. Но перед старшими братьями, перед свекром невестка не могла открыть лица...

— Покажись! — уже тише повторил старик.

— Ай-е, Сайрын Хоталум — Белый Светлый День! — О, Пупий Самт — на глазах у Шайтана! Боги не позволяют открыть мне лицо, отец!

— Может, сын мой привел в дом лесную корягу? Или Вор-Люльнэ — Лешачиху? — усмехнулся старый Картин.— У такого фартового охотника должна быть красивая, как важенка, жена. Не бойся! Я позволяю тебе, Журавлиный Крик!

Светлое, мерцающее, как звездное небо, чуть скуластое лицо Апрасиньи с раскосыми, приподнятыми к вискам глазами притягивало не столько красотой и здоровьем, сколько сдержанной властностью. Бездонные

глаза-омуты затягивали в себя, набрасывали невидимые путы, и не было сил оторваться от них, как от неба, зачаровывала упругая, грозная воля и языческая сила, что таилась в глубинах тех глаз.

— Ап-ра-синья! — прошептал старик.— Закрой лицо... Оно светится. Грозит оно, как лицо Сурненнэ — Золотой Бабы! Какой же ты заплатил калым, Мирон?

Сын промолчал, Апрасинья успела сбросить с себя беличью шубу. Семь младших братьев и сестры, подоспевшие родственники и сжигаемые любопытством соседи увидели крепкую, широкоплечую девушку в легкой мансийской парке из золотистого неплюя. Подол парки украшен широкой полосой белого оленьего меха, а по белому полю затейливо разбежались тонкие, четкие узоры. В узоре заячьи уши и голова соболя, утиное крыло, весло и гибкая ветка березы...

— Ай-е, красивая девка! — горностаем прошмыгнул шепоток.

Закрыв платком лицо, Апрасинья открыла дверь и выскользнула в морозную ночь. Тонко провизжал снег под легкими ее кисами. Она ловко развязала ременные узлы, разгрузила нарты и отвела оленей под навес к стене избы. Не торопясь, осторожно вынула сосульки из широких ноздрей вожака, обтерла куском шкуры запавшие бока важенок. Молча, осторожно открывая дверь, она перенесла груз в избу. Из поленницы набрала березовых чурок, нащепала ножом лучину и развела огонь в чувале. Сестры и младшие братья Мирона обступили ее, загремели котлами, забегали, закружились вокруг нее, как лопоухие щенки, повизгивая от восторга, оттого что Апрасинья такая красивая, сильная, такая спокойная и уверенная в себе.

Мирон развязывал мешки и бросал под ноги отца струящиеся меха соболей, куниц, черных лисиц, прошитых сединой, колонков, связки голубовато-дымчатых шкурок белок и горностаев.

— Богатая, фартовая добыча! — довольно улыбался старый Картин.— Отменный ты охотник, Мирон! Дети мои, твои братья и сестры, будут сыты и в тепле.

Мирон пытался поведать отцу о своем долгом пути, но тот перебил его:

— Ты, сын, скажи, какой калым заплатил за Апрасинью? — искоса поглядывал отец на девушку, что нагружала колташиху лосятиной и бросала в кипящий

бульон сухие корешки и травы, доставая их из расшитого замшевого мешочка. Юрту наполняли запахи борабеломошника, просыпающегося в зоревых росах.

— Не давал я калыма, тетюм...— неожиданно для Максима ответил сын.

— Украл?! — вздыбился старик.— Украл? — поземкой дохнул его голос.

— Не да-вал калы-ма?! Ой-ей! Да чтоб сожгло меня! Не давал калыма?! — потянул сквозняком шепоток.

— Нет, тетюм! Не украл! — улыбнулся Мирон.— Апрасинью нельзя украсть. Она — ветер, не дается она в руки. Как от солнца луч нельзя украсть, как звезду со дна ручья,— с тихой потаенной радостью ответил сын.

— Как? Как без калыма? Без выкупа — как?! Порченая?! Или дикая она? Кого ты привел мне в дом, Мирон?! — не понимает Картин, как мог сын его нарушить древний закон.— Ты вызовешь месть ее рода! Нас, Картиных, осталось совсем мало, чтобы оберечь свой род от бесчестья!

— Я, наверное, уходил в Подземный мир. Я уже, наверное, подходил к своим предкам,— тихо проговорил Мирон.— Я видел уже твоего отца, тетюм! Апрасинья вернула меня к солнцу...

— Тогда ты должник ее вдвойне! — отрезал старик.— Она вернула тебя земле, а ты выкрал ее?! Ее род не простит нашему роду. Молодая кровь хлынула тебе в голову. Ты вызываешь ссору с людьми Тахы.

Когда был еще молод дед Максима, дотлевала, вспыхивая, вековая вражда между людьми Тахы, Конды и Ас — Великой Оби. Нападали люди сосьвинских земель на стойбища кондинцев, уводили женщин, воровали, умыкали их без выкупа, даже убивали. На Брусничной реке выкрали люди Тахы деда Максима Картина и обменяли у ненцев на оленью упряжку. Лишь на третий год юный охотник нашел дорогу домой... На тайных тропах подкарауливали кондинцы людей Сосьвы, что возвращались с богатой добычей, избивали, отнимали добычу, пушнину. И долго это шло, и долго старейшины родов Конды и Тахы гасили вражду — та уносила юношей, зрелых охотников, плодила сирот и вдов.

— Нет, отец, я спас ее, но пришлось уйти...

— Что она сделала у себя в стойбище? Зачем она должна была погибнуть? Почему она стала неугодной своему роду?

— Она побила шамана! — сурово ответил Мирон.— Больно так побила, что тот только две ночи прохворал, а на третье утро к нему пришли Черные Духи Смерти. Совсем он издох, ничего от него не осталось. Не шаман, а просто дохлый человек.

— О! Сим Пупий, на глазах Шайтана стали избивать шаманов! — воскликнул старый Картин. И остро взглянул на безмолвную женщину Журавлиный Крик.

3

По жесткому насту — чарыму упорно гнал Мирон раненого лося. И догнал. Зверь истекал кровью, хрипел, дышал надсадно, словно всхлипывал, выкатывая радужные, обезумевшие от боли глаза. Собаки остервенело рвали его клочкастые бока, потемневшее от пота брюхо, полузадушенно рычали их голодные пасти, забитые шерстью. Мирон, разгоряченный азартом погони, жадно глотал сухой морозный воздух и, пьянея от него, приблизился к сохатому на длину копья. Лось круто увернулся, разметал в искристую пыль голубоватый сугроб и, ослепший от близкой гибели, бросился на охотника. Выстрелил Мирон в упор и, падая, услышал отчетливо жесткое хлопанье крыльев — то поднималась стая косачей. Лось втоптал Мирона в снег — от удара копытом хрустнула ключица, сломанной веткой откинулась левая рука... К рассвету, в голубоватом свете луны, очнулся Мирон и полз к лосю до полуденных теней. Теряя сознание, проваливаясь в небытие, он вспорол брюхо зверя и выпустил внутренности. Они были еще теплы — лось долго умирал. Мирон грел скрюченные холодом руки, глотал, не жуя, куски остывающей печени и бросал брюшину изголодавшимся собакам. Он не помнит, как ползком собирал сушняк, выдирая его из-под снега. Не помнит, как высек искру, раздул трут и развел костер... Не помнит, как слабым криком гонял иссиня-черного бородатого ворона, что шумно садился рядом с его лицом и пристально смотрел в глаза. Трижды крикнул ворон, звонко, словно ударил в железо, но что предсказал он — Мирон не понял...

Очнулся он от горячего дыхания. К нему притронулось неожиданное погудывание огня и запах разгорающегося смолья. Мирон не понял, где он, почему навзничь опрокинут на оленьи шкуры. И отчего голый? Наверное,

только родился? Что это за изба с низким, прокопченным потолком? Потолок то опускался, грозя задавить его, то поднимался — тесно и больно, как в капкане. Из зыбкого полумрака к Мирону придвинулось светлое мерцающее лицо с бездонными глазами. Они расширялись, удлинялись, поднимались к вискам и вдруг заняли половину лица. В них задрожал красный, густой, как кровь, отблеск пламени, и глаза вспыхнули, ожили и задышали, зазывая в себя.

— Вор-Люльнэ?! — прошептал охотник, охваченный тревогой, внезапным лохматым страхом и бессилием.— Лесная Колдунья, Лешачиха?!

Загудел, завыл ветер в дымоходе и, ухнув, упал в очаг, разметав пламя. Заметалось оно, угрожающе выбросило дрожащие медно-красные языки. Женщина протянула к лицу Мирона длинную гибкую руку, и его охватил ужас — рука хищно извивалась, как налим, изгибалась от кончиков пальцев до плеча, и то были не пальцы, а когти, и пламенем вспыхивали они от огня.

— О-о-о! — застонал охотник и рванулся, но не смог оторвать тело от оленьей шкуры, не мог поднять руку и шевельнуть ногой.— Ай-аю... аю — больно-больно! — Но голова его не шевельнулась, словно ее прикололи острогой к полу избушки.— Щох! Щох! Да чтобы сожгло меня! У-у-ыы! Ёлноер! Да чтоб тебя подземный царь! — выругался Мирон, вложив в ругательство ярость, бессилие и страх перед той непонятностью, что поглощала его, перед странной молодой женщиной в одежде с оборванными рукавами, с разодранным подолом. Но крика не получилось, задохнулся крик, он прошептал только: — Кто ты?!

И женщина не услышала, она метнулась к огню, из разреза и рванья высветило, забронзовело тугое гладкое бедро, и Мирону показалось, что оно теплое, как живот важенки. Женщина бросала в пламя пучки багульника, черемуховую ветку, сухие, ломкие головки ромашек. Открыв ладонь, она сыпала в огонь какие-то зерна, и изба вдруг наполнилась запахом распускающейся, озеленевшей березы, пахнуло талым снегом, весенней водой, настоянной на опавших смородинных листьях и хвое. Прикосновение весны стало таким отчетливо ощутимым, что Мирон притаил сердце, задержал дыхание, и к нему донеслась, влилась в него потоком песня токующего глухаря, дохнуло и ударило в

грудь горячей любовной пляской таежного токовища.

— О! Торум вайлын! — шептал Мирон, погружаясь в полуявь, в полусон, проходя по грани небытия.— Видишь, Боже Небесный? Ты видишь, Торум,— пришла весна? Долго я лежал в снегу... Всю зиму лежал, как Лесной Мужик в берлоге. Я мало добыл пушнины, смотри, нахлынула новая весна и зверь приготовился к линьке... Весна...

— Много крови он потерял,— обратилась к огню женщина.— Оледенел... Холод в него проник до самого сердца. Помоги мне, Огонь! Спаси красивого юношу! Верни ему разум... Много дней и ночей он плутает в буреломах своих снов. Съедают сны его сердце. Ты слышишь меня, Огонь... Это я — Журавлиный Крик!

Приподнялось пламя, задрожало, потянулось гибким телом, едва не оторвалось от головешек-корней, раскинулось, прогудело басом и присело на корточки, утихло, улеглось и тихо-тихо зашептало, и шепот, шорох огня, рассекаемый хрустом угольков, нараспев повторяла женщина Журавлиный Крик.

— Сбрось смело одежды свои,— шептал Огонь.— Обнажи нетронутое тело, распусти волосы и телом своим, всей собой согрей юношу. Пусть бег твоей крови поторопит его остывающую кровь, пусть гул твоего сердца переполнит его сердце. Возьми его в себя, впусти его зиму в свои весны. В нем проснется любовь, а жажда ее неутолима...— гудел Огонь, и малиновые, оранжевые отсветы пробежали по стенам избушки. И желто, по-совиному вглядывалось в женщину ледяное оконце, процеживая лунный свет сквозь колдовской узор неземных цветов.

И на всю жизнь, на всю долгую жизнь в Мирона вошло и осталось пронзительное, неугасимое удивление перед женщиной, что горячим телом, гибкими сильными руками, обжигающим ртом защитила его, оборонила от смерти. То было и удивление, и восторг, и мгновенное озарение, и прикосновение к тайне, приближение к откровению. Она обнимала его нежно и плотно, обнимала волной от головы до пят — Мирон тонул в ней, тонул безмолвно, ликующий и прозревающий. Апрасинья не отдалась жадно и неутомимо, как женщина, оголодавшая по мужчине, она отдавала свое тело так, как мать отдает тугую грудь ребенку, она словно переливала себя в Мирона, переливала торжественно и истово, как при-

носят жертву Великим Духам, что хранят для Жизни Светлый День!

И Мирон выжил, поднялся в острой, ненасытной жажде жизни и любви. Вернулась к нему сила, он вызывал из себя силу, потому что рядом была его Апрасинья, его Журавлиный Крик. Над ним продымили, поднимались сугробами двадцать зим, и он, горячо захлебываясь от радости, благодарил Великого Торума и земного бога Шайтана, что одарили его встречей с Апрасиньей, ожидающей свою восемнадцатую весну.

— Одна я.— Медвежьим салом Апрасинья смазывала затягивающиеся раны на теле Мирона.— Одна, как остров посреди реки. Озером живу вдали от реки. А хотела и хочу быть рекой! Ой-ай-е! Хочу остаться рекой, но не той, что на животе выползает из болота, прокисает в трясине. Хочу,— торопливый шепот обжигал Мирона и поднимался до раскаленного крика.— Хочу остаться рекой, что в крутых берегах. Рекой, что проходит через людские стойбища, грузнея от рыбы. Река, Мирон, наверное, выходит туда, где сливаются земля и небо, ночь и солнце, туда, где все единое? Ответь, Мирон! — И глаза ее глубоки, страшно в них смотреть.

— А где отец, мать? Есть ли у тебя братья-сестры? Есть ли в роде твоем отец отца и мать матери? — ласково прикасался к ее обнаженному плечу Мирон. Апрасинья разрывала одежды на ленты и лоскуты, чтобы перетянуть раны охотника.

— Отец отца и мать матери ушли от солнца, когда я качалась в апу. От деда осталась долбленая лодка, от бабки — прожженный слезами платок. Мать моя брала сырка на самой быстрине. Упал в ее лодку ветер. Тяжело лодке стало, не удержалась лодка и упала набок. А мать взял к себе Водяной Зверь, проглотил ее Виткась — Обжора. Сестры и братья сгорели в черной хвори. Отец добрый был, жалел меня, зверей из дерева резал, словно вынимал из стволины. Замерз он в тайге — не смог дотащить себя до избы. Сильно замерз. Ноги совсем черные, как угли. Не мог он зверя добыть, сила из него утекла, как снег под солнцем. Уши свои обрезал — съел, наверное. А меня, маленькую, ростом в шесть зим, взял к себе в Тэли-Пауль, в Стойбище Зимы дальний дядька. Волчий Глаз зовут его. Шаман он. Великий шаман Волчий Глаз.

— У нас, людей Конды, нет шаманов,— сказал Мирон, раскуривая трубку.— Наверное, ушли, когда попы рубили и жгли наших богов. Есть у нас хранители капища, что служат земному богу — Шайтану. А чем он страшен, шаман? — засмеялся Мирон.— Пугает только... Старые всегда пугают молодых своей старостью, путаными тропами и слепыми снами.

— Волчий Глаз не пугает! — жестко отрезала Апрасинья.— Его слово — закон! Он не грозит. Просто он берет, что ему надо, и делает то, что хочет. Волчий Глаз — сила!

— Ты, милая женщина, и сейчас живешь у шамана? — настороженно спросил Мирон.— Кому мне принести выкуп за тебя? Кому принести калым? Стань моей женой, Апрасинья!

— Он не отдаст тебе. Нет! — резко обозначились, отяжелели ее скулы, светлое лицо потемнело, глаза сузились и сверкнули ножом, выдернутым из ножен.— Он просит за меня три пуда соболей и семь раз по семь белых жертвенных оленей. Но это не все,— густой голос Апрасиньи наливался гневом и тоской.— Волчий Глаз хочет, чтобы мужчина, что купит меня, поселился в его юрте. Волчий Глаз ищет не мужа мне, а работника себе! — крикнула Апрасинья.— Я нужна ему... Я!..

— Вольный охотник не станет работником,— ответил Мирон.— Пусть то будет хоть шаман, хоть князец, хоть русский поп или старшина. Ты должна совсем стать моей женщиной, Апрасинья. Стань матерью моих детей!

— Нет! — сурово отрезала женщина.— Ты говоришь легко, как вода на песке, потому что ослабел, как ребенок. У тебя бычье сердце, но в голове, как в горельнике, спутались корни. Волчий Глаз никогда не отпустит меня — я всей собой вижу живительные травы. Шаман научил меня узнавать губительные корни, готовить из злой травы отвары, что убивают плод и лишают человека памяти. Я знаю травы, от которых потухает рассудок и человек становится лютым, как голодный шатун или взбесившийся волк. Разве отпустит меня шаман, если мое зрение он превращает в меха, оленей, золото и власть? Он очень богатый и оттого лютый и жадный.

Впервые Мирон встретил женщину (да многих ли он видел за двадцать весен?), женщину, что знала о нем все, даже больше его самого, словно проникала в его

сны и нарождающиеся, но так и не родившиеся смутные мысли. И его охватило радостное изумление, тихое, затаенное ликование, и весь он был — она, словно Апрасинья никогда не покидала его, как не покидало дыхание. И он задыхался от нежности, и казалась она неиссякаемой, потому что ее рождала Апрасинья — Журавлиный Крик. И в нежности, в радости удивления Мирон утопил свои раны, свою слабость — и поднялся.

Потрескивали сухары в чувале, над пламенем вскипал котел с мясом, тепло в охотничьей юрте — вор-кял. Апрасинья, глядя Мирону в глаза, поведала о том, как после смерти отца и братьев их охотничьи угодья, их пай в реке забрал Волчий Глаз — ведь женщине нет пая ни в лесу, ни в реке, ни в жизни. Никого не пускает шаман в угодья, где много расплодилось зверя,— заповедное то место. А она, Журавлиный Крик,— охотник и в черные зимы луком и стрелой добывает соболя и белок больше, чем многие мужчины. Она ставит ловушки-слопцы и капканы, и никогда те не остаются пустыми. Шаман хрипло каркал вороном и рычал медведем, крался по ее следам. Он пугал ее, прячась за деревьями, хотел помутить ее разум, как Леший — Вор-Хум. Волчий Глаз хотел отвадить девушку от охоты, потому что мудр и умен и знает, что охота рождает ум и хитрость, делает из охотника человека дерзкого, отважного. Долго шаман шел за девушкой и, когда та присела отдохнуть, обернулся рысью. Забрался Волчий Глаз на кедр и кричал рысью над головой девушки. Она натянула тетиву, и острая стрела разодрала плечо шамана. Первый раз услышала испуганная Апрасинья, как человеческим голосом может орать свирепая рысь. С тех пор левая рука шамана маленько слабее правой...

— Ты как раз здесь, Мирон! — замерцали глаза Апрасиньи, и лицо ее осветилось и заструилось, как августовское небо.— Это то заповедное место! Это мой урман. В раскрытых ладонях я поднесла бы его тебе, если бы только смогла. Ты — все для меня, милый мужчина!

Мирон уходил на охоту вместе с Апрасиньей, и каждый день они возвращались с богатой добычей. Но вскоре им пришлось покинуть угодья, чтобы успеть продать пушнину,— к этому времени в стойбище Апрасиньи, в Тэли-Пауль, с закатной стороны прибывали купцы с товарами.

4

Волчий Глаз сразу понял, что Апрасинья привела в стойбище своего мужчину. Он увидел, как трепетна она и ласкова, как теплеет ее взгляд и звездно мерцает лицо, как мягко звучит ее голос. Перед шаманом была не дерзкая, чуть грубоватая, беззащитная в своей прямоте и откровенности девушка, а женщина, уверенная в любви и защите мужчины, она привела любимого, и понял шаман, что чужак, крупный и тяжелый от силы, с тонким лицом и просветленным взглядом, будет защищать Апрасинью до конца.

— Ты пришел за женщиной?..

Недаром его звали Волчий Глаз. Он впивался взглядом, как стрела, и не было силы у многих выдержать этот взгляд. Но Мирон не опустил глаз.

— Земли кондинских манси,— усмехнулся шаман,— издавна славились красотой своих женщин. Или они попортились, очервивели, как ягодники без дождя?

— Отдай мне Апрасинью — Журавлиный Крик! Отдай, великий шаман! — склонил голову Мирон.— Проси любой калым!

Шаману, наверное, нет еще сорока зим, широкие плечи обтягивает легкая меховая рубашка. Из распахнутого ворота поднимается мощная, как сосна, шея — силен шаман. Над широким, выпуклым, как валун, лбом, над прозрачными, как озерная вода, глазами вороньим крылом плотно нависли угольно-черные волосы, перехваченные широким золотым обручем с таинственными знаками. Едва-едва, горячим шепотом проступают на нем силуэты неведомых зверей и свирепых птиц с женскими лицами. Посреди обруча, над переносицей, кроваво светится густо-красный семигранный камень. Шаман красив и силен, словно корневище столетнего кедра, и силу ту по капле, наверное, отдавали ему и река, и небо, зверь и рыба.

— Ты не получишь эту женщину! — густым басом пророкотал шаман и улыбнулся.— Когда сука бегает по лесу, ищет кобелей в разгар охоты, хозяин убивает суку! Я не убью Журавлиный Крик! Она станет женщиной-дуплом, пастью без зубов, птицей без гнезда. О, Великие Духи! Апрасинья станет сосной без шишки, малинником без ягоды, озером без рыбы — и зверь, и птица, и человек обойдут ее пустую.

— Ты лучше убей ее! — крикнул Мирон.— Лучше убей... Как она станет жить потрошенной? Отдай мне ее, Волчий Глаз,— медведем поднялся и шагнул к шаману Мирон.— Работником твоим, собакой твоей стану, но не губи Журавлиный Крик!

— Хо-хо-хо-ха-хау! — загрохотал шаман, и крупное, мускулистое его тело заколыхалось, надулись витые жилы на мощной короткой шее, высверкнули крупные зубы.— Собакой моей станешь? Кто же меняет волчицу на трусливую собаку? Не верю тебе, чужак! Больно ты быстро согласился обернуться собакой... Через семь дней за Апрасиньей приедет Потепка. Его женой она станет,— сообщил Волчий Глаз.

Что мог сделать охотник в чужой далекой земле, что мог сделать Мирон в чужом стойбище, над которым, не засыпая, горел глаз волка?

«Украсть... увезти Апрасинью,— забилась и не отпустила неожиданная мысль.— Украсть и увезти ее в Евру...» Но захочет ли того Апрасинья? Пойдет ли она с ним в чужой род, в чужие земли? Ведь они могли уйти в Евру из заповедного урмана, из лесовней юрты,— не захотела того Апрасинья. Боялась гнева своих богов? Или она страшится всесильной власти шамана? Неужели он сломал ее так, что ей не подняться?

За соболей, за выдру и капканы добыл Мирон упряжку крупных быков — хоро, достал нарту и ременный аркан — пынзян. Он готовился не торопясь, незаметно и без суеты, равнодушно, словно отказался от женщины.

— Не отдает девку Волчий Глаз? — участливо спрашивали его старики.

— Нет у меня против него силы,— заставлял себя улыбаться Мирон и разводил руками.— Волчий Глаз — великий шаман, и я не могу нарушить закон.

Волчий Глаз слышал, что говорил Мирон, и обманулся его кажущейся потерянностью и бессилием. Два дня он еще зорко следил за ним, но видел лишь, что молодой охотник продает русским торговцам дорогую, богатую пушнину и спокойно, основательно собирается домой, в земли кондинских манси, где Волчьему Глазу довелось побывать в юности.

— Уходишь? — подошел шаман к охотнику.

— Ухожу,— спокойно ответил Мирон.

— Далек твой путь, охотник,— шаман зорко осмот-

рел упряжь, умело подтянул пряжку на ремне, подкинул в руке хорей.— Смени нарту. Возьми покрепче... Епишка! — крикнул шаман, подзывая невысокого манси в вытертой малице.— Отдай ему свою нарту, а эту возьми себе!

Чем-то понравился Мирон Волчьему Глазу, что-то привлекло шамана в молодом охотнике — может быть, то, что Мирон пустился в дальний путь один, не страшась опасностей, преодолевая свой страх. И не только добыча, не только богатая охота влекли охотника, нет! Шаман уловил, что Мирон из тех, кто хочет понять мир.

— Эта женщина не для тебя,— жестко резанул взглядом Волчий Глаз.— Забудь ее! Забудь! Это редкая женщина, как белый ворон в черной стае, как белый соболь. Ты видел когда-нибудь белого соболя? Ты видел когда-нибудь белого лося? Апрасинья — белый ворон, она белая лосиха! Она сама еще не догадывается, какая в ней зреет сила! Не-чело-ве-ческая сила,— горячо прошептал шаман, прикрывая глаза.— В ней слились дыхания земли и неба... и я, шаман по имени Волчий Глаз, освобожу эти силы и выпущу их, как небо выпускает из себя дикие ветры и молнии! Она станет великой шаманкой! — в каком-то исступлении крикнул Волчий Глаз.— Она не для тебя, охотник с Конды! Рядом с тобой, в твоей мелкой жизни, она потеряет свою редкость и останется просто женщиной, грязной женщиной. Ее пай в жизни — не в реке, не в охотничьем угодье, он в душе ее. Уходи, забудь Апрасинью. Не обижайся, Мирон,— как-то даже сочувственно посоветовал шаман.— Не судьба... А женщина забывается... Даже такая, как Журавлиный Крик!

— Пусть Небо продлит твои годы! — тихо ответил Мирон.— Через два дня я уйду, великий шаман.

Уже четвертый день, хоронясь по стойбищу, Мирон ищет Апрасинью — далеко запрятал ее Волчий Глаз. Нет, не от него, а по свадебному обычаю. Ни следа, ни звука не оставила Апрасинья, исчезла, как роса на солнце. Ночью Мирон зарывался в снег перед юртой шамана, вслушивался, но не мог услышать ничего, кроме монотонного, словно осенний дождь, бормотания. Шаман, не повышая голоса, не разрывая его криком, бормотал заклинания, будто протягивал серую, как зола, бесконечную нить, и не было на ней ни одного узелка. Мирона охватывала дремота, он широко раскрывал,

таращил глаза, но голос шамана все глубже и глубже проникал в него, и охотнику казалось, что он с головой погружается в болотную тяжелую жижу. Он отползал от юрты, притаившись, раскуривал трубку, и сонливость отступала. А днем он старался попасть на глаза всем людям стойбища, бродил озабоченный, занятый сборами в далекий путь.

На седьмой день на десяти упряжках в стойбище ворвался Потепка. За каждой нартой бежали на арканах белые, как сахар, лоснящиеся олени, в черных коронах ветвистых рогов.

— Здо-ро-во! — во все горло кричал Потепка, крепко жмуря вытекший левый глаз. Он показался Мирону мелким, суетливым и неуверенным в себе. Такой богатый и такой зыбкий, словно больной. Когда шаман положил тяжелую руку на плечо Потепке, тот пригнулся, сломался в коленях. Они скрылись в юрте шамана, а женщины бросились разгружать нарты, набитые свадебными подарками.

5

Вечером перед юртой шамана раскинули огромный, жаркий костер. Высоко поднимался в зимнее звездное небо огненный искрящийся хвост. Волчий Глаз решил задобрить Духов Зла и принести жертву Духам Добра. Вокруг костра на комлях, нартах, на сухарах расселись люди стойбища.

Из юрты в легонькой коротенькой рубашке из неплюя вышел шаман с гулким бубном и тяжелой, как палица, медвежьей лопаткой. Распущенные, обмазанные жиром волосы охватывал золотой обруч с мерцающим красным камнем. Над обручем поднимались остро отточенные оленьи рога, над которыми распахнулись, как в полете, огромные крылья ворона. Могучую шею шамана охватывало ожерелье из медвежьих и волчьих клыков.

Подвели белого хоро. Шаман отложил бубен и колотушку, схватил хоро за рога, выдернул нож и полоснул по горлу оленя. Кто-то ловко подставил под парящую, тугую струю широкую серебряную чашу, и, когда та наполнилась кровью до краев, шаман разжал ладонь, отпустил рога и олень рухнул на снег.

Голосом волка взвыл шаман, и люди вздрогнули, словно сюда, к костру, приблизилась волчья стая. Дале-

ко по долине, над темными засыпающими урманами прокатился густой до черноты вой, его подхватило эхо, но не угасло, а ударилось в крутые берега, отпрыгнуло, удвоилось и утроилось. А горло шамана набухло, расширилось, и вой, темный, как непроглядная ночь, проник в лесную чащу и вернулся уже не эхом — из урманов доверчиво ответила волчица. И тогда шаман сбросил рубаху, обнажил могучие плечи и бугристые руки, ударил в бубен и заухал филином, закричал совою, закаркал вороном, и черные крылья заметались над головой, и шаман вихрем помчался вокруг костра, приседая, подпрыгивая, раскидывая руки и распахивая их, как беркут под ветром. И вместе с шаманом подпрыгивало, приседало и распахивалось пламя. Оно дрожало, изгибалось, становилось то желтым, то оранжевым, то золотистым с синеватыми язычками, то пятнистым, как рысья шкурка. Они стали похожи — костер и шаман, неистово раскаленные. Раскрутившись волчком в тугом, упругом гудении бубна, шаман внезапно остановился. Пот струился по лицу, стекая по шее на плечи, на волосатую грудь. Шаман двумя руками поднял над собой чашу, отпил несколько крупных глотков и опрокинул чашу над огнем. Пламя зашипело, притихло и ярко вспыхнуло.

— Духи Земли и Неба приняли жертву! — крикнул шаман звонко и отчетливо.— Ведите сюда Журавлиный Крик!

Мирон, не отрываясь, придавив дыхание, смотрел на вход юрты. Откинулась дверь, и два старика с обнаженными, пожелтевшими, как мох, головами вывели закрытую черным платком Апрасинью.

— Откройте ее лицо! — приказал Волчий Глаз. Он вытянулся и дрожал, как тетива.— Она опозорила себя — открылась чужому мужчине! Я отдаю ее в жены Потепке! Отдаю за три пуда соболей и семь раз по семь белых священных оленей! Но Потепка будет три зимы жить в моей юрте. Так я сказал! — крикнул шаман и закаменел на месте. Огонь вспыхнул яростно и горячо, словно крикнул огонь: «Так ты сказал! Сказал ты так! Глядите все! Все глядите на Журавлиный Крик!»

Апрасинья сбросила платок и длинным, рысьим прыжком достигла шамана. Она рванула из его рук бубен, вырвала окованную серебром колотушку и швырнула бубен в пламя. Тяжелой колотушкой она ударила

шамана по голове. Это было настолько неожиданно, что Волчий Глаз, люди стойбища и Мирон на миг заледенели, будто торосы на пустынной реке. В крике раскрыл рот Волчий Глаз. Но крик умер, не родившись. Апрасинья не дала шаману очнуться. Со страшной звериной силой, ослепшая от ярости, не помня себя, она ударила шамана колотушкой в висок, чуть ниже золотистого обруча, что отблескивал неистово раскаленным камнем.

Волчий Глаз покачнулся, вороньи крылья хлопнули и закрыли лицо. Тонко и пронзительно, перепуганными чайками, закричали женщины. Мужчины вскочили на ноги, вырывая из ножен ножи, хватая топоры, бросились к Апрасинье. Сейчас они убьют ее. Мирон, рыча, раскидывая мужчин, наотмашь бил тяжелой, окованной в железо дубинкой, которую он выхватил из рук потерявшегося Потепки.

— О, Великое Небо! — кричали женщины.— О, Милый Шайтан! В них обоих вселились Злые Духи!

Шаман очнулся. Замотал головой, как сохатый в комариной туче, зарычал свирепо и жутко, и на людей дохнуло морозным, подземельным холодом. Раздувая ноздри, раскрыв окровавленный рот, шаман вырвал из ножен сверкающий жертвенный нож и шагнул к Апрасинье. Попятились все от нее, отхлынули, затихли, и в остановившемся времени, в мертвенной тишине медленно поднимался нож.

Захолодев, потеряв разум, рванулся Мирон к Волчьему Глазу, с маху опустил окованную дубинку Потепки на голову шамана. Хрустнули, как сучок, оленьи рога, и сломанно повисло воронье крыло.

— Муж ты мне, Мирон! — крикнула Апрасинья.— Ты мой мужчина!

Волчий Глаз выронил нож, и тот серебряной рыбкой воткнулся в снег, тускло отсвечивая тяжелой медной рукояткой. Шаман медленно потянулся к нему, но Мирон прыгнул и в прыжке с такой силой ударил его под ребра, что Волчий Глаз, раскинув руки, опрокинулся в гудящую сердцевину костра. Суковатой палкой, как рогатиной, Апрасинья прижала шамана к угольям.

— Хва-тай-те их, лю-ди-и! — шаман могучими руками вырвал рогатину и поднялся, словно возник из пламени.— Вяжите их! В огонь! — захрипел шаман и бросился в сугроб, пытаясь освободиться от дикой, пожи-

рающей его боли.— А-а! В огонь ее! Это не женщина, это Вор-Люльнэ — Лешачиха! В огонь пришельца! Он — оборотень! Духи примут эту жертву! — крикнул вороном шаман, и столько в нем было нечеловеческой силы, что он поднялся.— Бог Огня просит у меня человеческой крови!

Люди стойбища — старики, мужчины, юноши, женщины — в ужасе отхлынули от костра. Кто-то застыл с поднятой рукой, словно его внезапно облили холодной водой в каленый мороз, кто-то упал навзничь, закрыв лицо рукавами малицы — страшно взглянуть на шамана, что просит у богов принять человеческую жертву. Древние, как кедрач, старики рассказывали предания о том, что когда-то боги требовали человеческих жертв, требовали, чтобы спасти весь род, но это было так давно, что погрузилось во тьму и стерлось из памяти...

— Волчий Глаз, наверное, взбесился! — крикнула высокая, костистая старуха.— Светлый разум покинул его, ой-ай-е! Как он сумел уговорить Бога Огня принять человеческую плоть? Она — женщина нашего рода Чайки! — крикнула старуха.

— Бог Огня просит у меня человеческой крови! — поднял шаман окровавленное, обожженное лицо с горящим камнем к зеленым низким звездам, таким низким, что их могли бы, наверное, сорвать и бросить в сугробы раскачивающиеся, совсем голые вершины лиственниц.

— Апрасинья, беги! — Мирон схватил ее и, размахивая дубинкой, с жертвенным ножом в левой руке, развалил настежь толпу.

Одним духом, одним мгновением они оказались около упряжки Потепки. Мирон толкнул в нарты Апрасинью, бросил ей вожжи и кинул хорей, и только взмахнул дубинкой, как могучие быки, белоснежные и крутогрудые, рванулись с места. Но не успел Мирон прыгнуть в нарты — кто-то сзади метко кинул аркан, и петля захлестнула его плечи.

— Гони! Быстрее гони, Апрасинья... Беги, женщина моя! — кричал Мирон, а петля все туже затягивала плечи. И вот уже второй аркан взвился над головой Мирона — то дружки Потепки срывали с себя плетенные из оленьих жил пынзяны. Мирон упал на землю. Аркан ослаб, и он покатился под ноги бегущему к нему Потепке и, переворачиваясь с боку на бок, успел реза-

нуть острым, как пламя, ножом по тугим петлям. Они лопнули, скользнули, и Мирон вскочил на ноги. Апрасинья развернула упряжку и направила ее на костер. Захрипели белые быки, рванулись грудью на толпу, и та распахнулась.

— Ми-ро-он! — донесся к нему протяжный зов Апрасиньи, зов, переполненный отчаянием, любовью и болью.— Ми-ро-он, муж ты мой! Держись! Иду... иду к тебе! — звала Апрасинья, и Мирон, оттолкнувшись от земли, прыгнул в нарту.— Мирон... Мирон...— выдохнула Апрасинья.

Визжали, тоненько посвистывали полозья, хорхали, шумно дышали олени, снег комьями летел им в лицо, низко опустились позеленевшие от холода, колкие звезды. Мирон взял у Апрасиньи хорей и направил оленей к черному, густому ельнику.

— Там моя нарта! — крикнул он Апрасинье.

Олени Мирона грудились в лощине, в глубине ельника, у быстрого, незамерзающего ручейка. Четыре дня Мирон кормил их вяленой рыбой, переводил с места на место, разбрасывая ногами снег около моховых кочек. Они быстро запрягли быков и было тронулись в путь, но Апрасинья, вслушиваясь в далекий собачий лай, остановила Мирона:

— Проведи своих оленей через ручей вон к тому болоту,— махнула она рукой.— От болота сверни направо и по следу вернись сюда, а я вокруг ельника, встретимся здесь...— Апрасинья тронула свою упряжку, в крутые петли завязывая след. След в след, друг за другом упряжки обежали вокруг стойбища по неведомым тропам, что угадывала во тьме Апрасинья. Только на рассвете они тронулись в путь к той маленькой юрте, где Волчий Глаз потаенно от родственников и людей стойбища хранил пушнину. Это был не священный шайтанский амбар, куда запрещено подходить женщине, то был тайник, о котором Апрасинья узнала случайно, собирая неподалеку целебные травы.

— Мирон! Мы заберем ту пушнину, что шаман отбирал у бедных охотников! — жестко сказала Апрасинья.— Мы не будем, не станем ворами! Мы возьмем то, что никогда не принадлежало Волчьему Глазу.

И снова день за днем, то впереди, то сзади, то сбоку слыша приближающуюся погоню, они путали и гасили следы, петляли, возвращались на вчерашние, позавче-

рашние ночевки. Они оставляли непотухшими костры, создавая видимость того, что вот-вот покинули это место. Все делал Мирон, чтобы преследователи поняли, что они заблудились, ходят кругами, что вот-вот попадут в руки врагов. Кружа по урманам, пересекая ручьи и реки, Мирон и Апрасинья оказались позади погони, сами шли по следу Потепки и его людей. Опустилась с неба, упала на землю пурга, задымила, закурила поземка, загудела, раскачала сосны и обрушилась на ломкий пихтач. Потепка и брат шамана Сысойка разбили ночевку под крутым берегом реки, в заветрии. Мирон подкрался к самому костру и подслушал, о чем говорят преследователи.

— Я сдеру с него шкуру,— брызгал слюной Потепка, обгрызая оленью лопатку.— Он украл мою женщину. А я три зимы платил калым. Смерть ему, пришельцу с Евры! Как собаке, отрежу уши и украшу свой пояс.

Сысойка, выбивая мозг из кости, прорычал:

— Уши? Брат мой, великий шаман Волчий Глаз, жил только два дня. Пришелец расколол ему голову, как кедровый орех. Она у него стала как прошлогодняя клюква, мягкая и дырявая. Волчий Глаз сказал мне, что я издохну, если не сожгу Апрасинью на Священном Огне.

— Издох Волчий Глаз,— сообщил Мирон Апрасинье.

— Теперь шаманом станет он — Водяная Крыса, Сысойка! Но он не знает дороги в твои земли. Поворачивай назад, Мирон. Они долго станут кружить по этому урману.

...И вот они на Конде, в Евре, в доме старого Картина, среди братьев и сестер Мирона. В радости встречи, в умиротворенном покое родимой избы, в ожидании свадебного пира сквозила тревога: Водяная Крыса, шаман, потребует выкупа за Апрасинью, Журавлиный Крик, и крови за Волчий Глаз. Но сказал Максим Картин:

— Мы, люди Конды и люди Сосьвы, братья! Мы, Картины, никогда не станем разжигать огонь вражды и мести. У русских купцов мы обменяем меха на дорогие вещи, помиримся с родней Волчьего Глаза. Через семь ночей народится новая луна, и я жду людей на свадебный пир.

КАРТИНЫ

1

— Стань им матерью, Апрасинья.— В старом Картине постепенно вытаивала тревога и недоверие к чужих земель женщине, что властно овладела его сыном и покорила младших сынов и дочерей. Одни едва еще ходили, цепляясь за лавки и покачиваясь у стен, у других менялись незрелые, как молочный орешек, зубы, а мать их, Пекла, два года, как стыла в рубленом домике в немоте кедрача...— Стань им матерью, Апрасинья. Укрепи ты их.

Двухлетний Колян тянул к ней руки, распахивал платье и впивался зубами в налившуюся грудь. Кусался и орал Колян — так хотел он испить материнского молока. А те, что постарше, цеплялись за подол, за шелковую шаль, ковыляли за ней, переваливаясь, словно краснолапые гусенята за лебедицей, тянулись за ней, как бусинки, когда Апрасинья шла за водой на реку или в лес за сушняком. Спотыкаясь и падая, тащили ребятишки сухой валежник за прогнувшейся под тяжелой вязанкой Апрасиньей и, забегая вперед, высверкивая глазенками, хвастались:

— Гляди-ка, сюк! Гляди-ка, новая мать, какой... како-ой я сильный! Такую сушину я тащу в чувал! Наверное, большую уху можно сварить, сюкум, мать ты моя!

— Ты такой сильный, Ерошка,— отирая лоб, отвечала Апрасинья.— Ты такой сильный, что через две зимы лося, наверное, добудешь!

— Через две зимы?! — пораженно шептал Ерошка.— Слышите?! — синичкой чиликнул он.— Новая мать сказала, что я добуду лося,— и с легкостью взвалил на себя тоненькую стволину.

И сестры Мирона не давали отдохнуть Апрасинье — теребили ее, упрашивали:

— Ёкым, сестра! Какой положить узор на оторочку? Погляди — «утиное крыло» или «березовую ветку»? Ёкым, как украсить нагрудник «усами соболя»?

— Пусть она присядет и дошьет мне новую рубашку,— прогонял дочерей старый Картин.— Делай давай мне красивую рубаху — стану показывать ее гостям. Садись, Апрасинья.

Картин раскурил трубку с длинным черемуховым чубуком, окутался в дым, помедлил и протянул трубку женщине. Та глубоко, с наслаждением затянулась, притаила дыхание, глаза ее жарко блеснули. Еще два раза потянула из трубки Апрасинья. Ноздри ее задрожали, и она не торопясь, с явной неохотой отдала трубку свекру.

— По обычаю людей Конды — извечно так шло — мать сына моего, Мирона, должна взять тебя за руку и отвести к заверованным местам, к заверованным деревьям.— Старик склонил голову с побелевшими волосами.— Но нет уже моей старухи... Нет уже моей Пеклы, и некому тебя отвести к священным деревьям. Ай-е! Ай-е! Какая она была женщина!..— замотал головою Картин и замолк. Видно, шибко любил он свою женщину, Пеклу свою. Он был главным хранителем капища, а Пекла хранила его, Максима, но не для идолов — для солнца, тайги и реки.— Но это нужно сделать! — поднял голову старик.— Не станешь же ты долго сидеть в юрте. Люди скажут, что мы держим тебя на привязи и боимся показать.

Молчит Апрасинья — не может она выйти за селение до тех пор, пока не узнает всех запретных мест.

— Я сказал старухе Лозьвиной. Она завтра отведет тебя к заверованным деревьям. Ты, Апрасинья, должна запомнить их и осторожно обходить стороной те, что принадлежат мужчинам. А их много — то и голубая лиственница, и пятиголовая сосна, и двухтелый кедр. Вон заверованная береза. Смотри — ее ветви лежат на земле. Не может удержать их тяжести могучий ствол.

— Как это? Когда заверовали эти деревья? И почему? — Апрасинья крепко затянулась из трубки, что отложил ненадолго Максим.

— Давно то было, никто не помнит,— ответил старый Картин и склонился над кямкой — мордой. Собирался старик на дальнее озеро за карасями — нужна детям свежая уха.— Не помнят и боятся о том спрашивать!

— Почему боятся? — потребовала Апрасинья. Она спрашивает открыто, неожиданно, и Максим теряется, долго не находит ответа и грубо обрывает:

— Не лезь, куда не велено!

Да, женщина всегда любопытна, всегда пытается докопаться до донышка в тех вещах, которые, оглядываясь, поглубже прячут люди — будь то семейная жизнь

или жизнь селения. И ничего не было бы в том удивительного для Пеклы — от нее бы обо всем узнала Апрасинья. А теперь приходится ему, Максиму, наставлять молодую женщину. И порой было ему неуютно от того, что громко прикрикнул на Апрасинью. Чем она виновата, если не знает большого или малого запрета,— ведь она женщина других земель, в чем-то других обычаев, которых он, Максим, может, не принял бы? Она принимает Евру, потому что любит Мирона.

И только?

— Почему боятся спрашивать? — повторила Апрасинья, и взгляд ее из-под платка был тверд.— У нас в стойбище я спрашивала Волчий Глаз обо всем.

— А зачем то нужно? — спросил Максим Картин.

— Если у человека не попорчен разум, он должен знать, почему он поклоняется идолу,— голос Апрасиньи густой, широкий.— Живой человек...

— Замолчи! — строго оборвал ее Картин.— Молчи и запомни: закон — тайна! В тайне его — сила! А бессильных законов нет. Бессильный закон умирает. Помни: женщине нельзя подходить к шайтанскому амбару. Нельзя подходить к священному месту летнего речного запора! Женщина своим взглядом, своим дыханием может осквернить место запора. Я слышал от своего деда, как сожгли на костре женщину, что ступила ногой на мостки — лаву летнего запора. Сорвала тогда река запор и осталась Евра без рыбы. Голод и смерть пришли тогда в Евру. Вот что такое женщина!

— Молодая? — спросила Апрасинья.

— Что — молодая? — насторожился старик.

— Молодая та, которую сожгли? — голос Апрасиньи отяжелел и напрягся.

— Зиму только с мужем жила,— покосился на сноху Максим.— А летом сожгли...

— Вместе с сыном?! — протянула Апрасинья.

— Ты откуда знаешь? — поразился старик. Он вспомнил: дед ведь говорил, что женщина была брюхатая, носила под сердцем ребенка. Может быть, и сына, может, и великого охотника или старейшину...

— Муж ее трус! Грязная, вонючая росомаха! И мужчины ваши почему принимают такие законы? — недоумевала Апрасинья.— Как ты считаешь, отец, бросил бы меня Мирон в костер? Ответь — бросил бы?

Старик молчал.

— Нет! Не бросит! Хотя он и не давал калыма, хоть досталась ему даром! — гордо проговорила Апрасинья.

Многие древние запреты были и самому старику непонятны, темны, но он требовал, чтобы Апрасинья принимала их на веру. «Так надо! — говорил Картин.— Так было и будет!» И это звучало предостережением — лучше безропотно подчиниться, чем вызвать осуждение.

Нельзя женщине прикоснуться к шкуре медведя. Нельзя прикоснуться к охотничьему снаряжению мужчины, нельзя перешагнуть ни через одну из тех вещей, что искони принадлежат мужчине. Только вот почему? Почему мир разделен на мужскую власть и женскую неволю? Почему у женщины четыре души, а у мужчины — пять? Зачем мужчине пять душ, когда он един и литой, как лиственница?

— Отец, значит, я не могу перешагнуть через себя? — спросила как-то Апрасинья.

Старый Картин понял ее мысли, и, посмотрев на дочерей, что соскабливали мездру с лосиной шкуры, ответил:

— Через себя ты перешагни! Перешагни через себя, только останься женщиной. Не знаю твою прежнюю жизнь, но вижу — редкая ты женщина. Обострена ты на правду, и в том таится судьба твоя, и радость, и горе. Трудно женщине в нашей жизни, но втрое труднее женщине горячей, что открывается на правду. А правда спрятана так глубоко, что не хватает жизни дойти до нее,— грустно закончил старик.

Не хватит, конечно, не хватит одной жизни, и жизни ее детей, и жизни ее внуков, чтобы раскачать, вывернуть то дерево с нечеловеческими, чудовищными корнями, что выросло на груди женщины. Из какого семени поднялось это дерево с кровавой плотью? Как могло случиться, что женщина стала покорной и безмолвной? Ее продают-покупают, она — вещь мужа, свекра, зятя, безгласное существо, это она — продолжательница рода и хранительница его?! Женщине строго запрещается поедать, даже пробовать вареные лосиные, оленьи, бараньи головы, языки, сердца и глаза. Все это принадлежит мужчине — охотнику, хозяину! Но разве не те же запреты у людей Сосьвы-Тахы? В чем-то, может, и иные, но в главном — те же. И стань Апрасинья женой Потепки, ее повели бы к священным деревьям селения, повторяли бы слова запрета...

Охотники убивали лося, оленя, разделывали, а женщины варили мясо в большом котле — колташихе. Все — как бы ни были голодны — скрывали нетерпение, ждали, пока сварится мясо, чтобы над ним принести моление Шайтану. Сваренное, окутанное паром мясо ставили на стол в переднем углу. Под столом, в котелке или в глубокой миске, насыпали раскаленные крупные угли. На угли кидали мягкие ветви молодой пихты и можжевельника, а когда душистый смоляной дымок обнимался с паром, что поднимался над мясом, начиналось домашнее моление — пурлахтых. Шайтана — Пупия угощали горячим, истекающим кровью мясом, подносили ему рюмку вина и вежливо, неназойливо, но без покорности просили послать охотнику удачи, фарту, оберечь от опасностей и напастей в тайге. Горячо просили Шайтана о том, чтобы охотник не повстречал в урмане своего старшего брата — Лесного Мужика. Охотник может нечаянно убить его. И взять много греха на душу.

— Помни запреты! — завещал старый Картин.

Надолго Апрасинья запомнит те длинные вечера, когда в теплой юрте под вой налетающих весенних вьюг, голубых и белесых, собиралась вся семья, рассаживалась у огня и старый Картин неторопливо рассказывал что-то из долгой своей жизни, и были те истории мудры и полны смысла, как сказки, а сказки принимались как были, только изукрашенные в разноцветные сказочные узоры.

2

— Давно то было, скажу я вам. Давно, далеко то было, так далеко, что Птица Памяти, если и долетит туда, назад не вернется — ослабнет и навсегда потеряет перо. Разве может летать голая птица? — начинает Максим Картин древнее сказание. И сам становится древним. Нет, не окаменевшим в прожитых годах, а словно отлитым из памяти. Бронзовел его голос, движения рук приобретали плавность, ту четкую законченность, что принимает взмах орлиного крыла, и был он всем — и зверем, и птицей, всплеском ветра и шорохом, кружением опадающего листа и растекающимся туманом.

— Давно то было... Тогда Луна только что зарождалась из кедрового орешка, а Солнце забралось высоко на Седьмое Небо,— рассказывает о древних временах старый Картин.— Там оно ночевало в золотой юрте Ве-

ликого Торума, в медной лодке, которую покачивали звезды на волнах Нерестовой Реки. И кем оно было, то Солнце,— мужчиной или женщиной, неизвестно. Тогда мало было света и больше было тьмы. В небе не плавали лебеди-облака, а пролетали вороньи стаи туч, из них вырывались густо-синие ветры. Не будет же ветер зеленым, не станет он и голубым, если срывается с черной радуги? Из Тьмы выходил Страх, лютый и безглазый. Нападал он на людей, набрасывая аркан, притягивал к себе и по капельке выцеживал мужество из упорных сердец. Сломя голову, потеряв рассудок, бежали люди из теплой лесной чащи на открытые просторы рек и там, в долинах, над покойными плесами, разбивали стойбища, но и в долины скатывался Страх с глухих верховьев.

Страх наплодил, разбросал вокруг себя, словно мухомор, тысячу тысяч мелких и злых духов. Зло всегда мелко, говорят старейшины, не всегда видимо оно, рассеянное в мелочах, и как бы не таит опасности, не желает оно выказываться крупным, потому что иначе станет видимым. А то, что видимо, уже понимаемо и не вызывает страха. В те времена люди понимали язык трав и зверей, потому что дорожили их дружбой, а самые мудрые из манси хранили Тайны Понимания. Страх со своими слугами-духами пугал людей затаенной кровожадностью зверей, а зверю нашептывал о притворстве и коварстве человека. Он сеял зло раздора, чтобы выкрасть Великую Цельность Всего Живого и одному завладеть Тайнами Понимания. Разве Страх и Духи Зла, разве их праматерь Тьма могли согласиться с тем, что все живое родственно дружит между собой? Зло всегда питает себя и оттого торопится разрушить лад, красоту и согласие.

Больше всех живому вредил Комполэн — Дух Болотный. Путал он все в клубок, устраивал ловушки, засады, подслушивал и разглашал чужие тайны, заводил в гиблые места, расстилался тропой над трясиной и уходил вдруг под землю, навсегда уводя того, кто шел по ней. Долго манси не могли увидеть Болотного Духа — Комполэна, узреть его так, чтобы запомнить — каков же он есть, чтобы не спутать ни с кем другим. Долго не могли разгадать манси Комполэна — страшен Болотный Дух своей неуловимостью, злым волшебством своих превращений.

— Так кто же он? — нетерпеливо спросил младший из сыновей так же настойчиво и нетерпеливо, как и он, Максим, когда-то требовал у своего отца.

— Старейшие народа манси, преодолевая Страх, разгадали Комполэна! — с потаенной гордостью ответил Максим, но сразу понизил голос.— Они заглянули в Тайны Понимания. Ты спрашиваешь, кто же он? Запомни — то были тайные больные мысли человека. То были томительные, пугающие сны зверя. Комполэн появлялся там, где кончалась слепота зверя и начиналось прозрение, когда зверь захотел стать человеком или человек оборачивался зверем.

— Комполэн — не зверь, не человек,— говорили мудрые отцы народа манси.— Это сила Зла, и рождается он там, где человек отступает от правды, когда он тайно хочет служить Тьме. Он рождается там, где человек тайно прячет маленькую подлость.

Разгадав Комполэна, стали видеть его наяву. Комполэн, Дух Болотный,— полумужчина, полузверь. Наполовину в нем от зрячего человека, наполовину от леса, реки, камня и подземного мира. По грудь Комполэн — мужчина. На короткой мощной шее держится тяжелая, словно из камня, голова, бритая и темнокожая, но от макушки на плечи буйно падает жесткий, как лошадиный хвост, клок волос. Глаза его огромны, черны и неподвижны — не видно дна. Ноздри его раздуваются и дрожат, улавливая запахи, уши остры и напряженно прижаты к голове, а рот огромен — с острыми беспощадными зубами. От волосатой груди к ногам терялось человеческое туловище и возникало то, что было от дикого леса, реки, камня и подземного царства. Делилось оно на две половины, и правая — темно-красная. Дышала жаром та половина, как разгорающийся костер. Левая половина наливалась густой синевой, как замерзающая река. И все это — лед и пламя — струилось, переливалось, оставалось неуловимым, колдовским и чарующим. Пламенная, кипящая половина в багряных сполохах рождала мелких духов в мужском обличье, а посиневшая от холода, заледеневшая, еще не проснувшаяся, в зеленоватых отблесках половина рождала маленьких духов с женским лицом, женскими повадками. Но там, где обе половины, как две реки, сливались в цельность, в багрово-синей полосе закатов и восходов дышала звериная злоба и мерцала непостижимая Тайна, которой еще не

было в древних Тайнах Понимания. Одна нога у Комполэна лосиная, с расплющенным копытом, другая нога — лошадиная. И оттого Комполэн оставлял за собою сразу две тропы — то ли стадо лосей прошло, то ли табун коней проскакал. Страшен Комполэн и преданно служит Тьме и Страху, проникает насквозь в мысли людей и тягучие думы зверя.

Медведь наловил в реке тайменей, поел и принес семь рыбин охотнику Касюму: «Кушай, Касюм! Свежая сочная рыба!» Охотник Касюм принял рыбу, поблагодарил и вынес Медведю берестяной кузов — пайву малины. «Кушай, Япум! Наливайся жиром. Скоро тебе в лесовнюю юрту под снег ложиться». Поел Медведь малины, поломал рябины, сладкими и горькими корешками закусил, расчесал шерсть на загривке и собрался было прилечь на зиму, как подкрался к нему Комполэн. Обернулся Дух Болотный Лосем, разгреб копытами мох и протрубил над ухом Медведя: «Спать собрался, брат?» — «Да, пора!» — зевая, протянул Медведь. «И ты не боишься, брат?» — «А чего мне бояться? — удивился Медведь.— Холода, что ли, мне бояться? Шерсть густая, гляди! Под шерстью жира накопил. Юрта моя теплая. Мне, брат Лось, зеленые сны все снятся...» — «Ты охотника Касюма не боишься? — протрубил Лось.— Пока тебе сны зеленые снятся, он юрту твою разорит...» — «Он брат мне младший! — ответил Медведь.— Младший брат не пойдет злом на старшего. Мы одного народа!» — «А вот попомни меня,— раздул ноздри Лось-Комполэн.— Не подарили летом звери ни одной шкуры Касюму. Дохлое было лето... Замерзнет он зимой у костра в травяной одежде, без теплой шкуры и горячего мяса. Вспомнит он, что у тебя шкура теплая, и разденет он тебя до голенького!» — «Не узнаю тебя, Рогатый! — рассердился Медведь.— Иди-ка с глаз моих!»

Прилег Медведь в берлоге, голову на лапы положил — неудобно. С одного бока на другой повернулся — неудобно. Постель стелил мягкую, а она жестко вздыбилась торчком — не уснуть. Вошла и присела на глаза тетушка Сонница, ветер запел колыбельную, раскачал сосны, и сосны запели, и лес тихо-тихо подпевал, стряхивая снежинки. И медведь стал засыпать. Но только он погрузился в сон, как гром раздался над головой. Вскочил Медведь, выглянул из своей юрты — то дятел ударил по сухой лиственнице. Как в воду, вошел в сон

Медведь, но тут раздался тонкий-тонкий скрип, как у снега, когда его режут лыжи. «Что такое? — взревел Медведь.— Неужто охотник Касюм крадется?» Выглянул Медведь из юрты — две сухие елочки вершинами друг о дружку трутся и тоненько скрипят. «О Небо! — взмолился Медведь.— Да что это? Почему же я спать-то не могу?»

А Комполэн примчался к лесовней юрте охотника Касюма. Увидел — сидит охотник в травяной одежде и дрожит от холода. Обернулся Бурундуком Комполэн и тоненьким голоском спрашивает: «Хо-ло-дно-о те-бе, охотник Касюм?» — «Ничего,— стуча зубами, отвечает охотник.— Ничего, сейчас пожарче раскину огонь в чувале... Заходи, грейся!» — «А где твоя зимняя шуба? — пискнул Бурундучок.— Нету? Или потерял?» — «Так получилось,— улыбается охотник и подбрасывает смолье в чувал.— Не было у братьев лишней шубы... Уху поедим, чаю с ягодой попьем — согреемся!» — «А у Медведя, старшего твоего брата, есть лишняя шуба,— просвистел Бурундучок.— Видел я, как он на себя вторую шубу натягивал»,— тихонько скрипнул зубами Бурундучишко. «Ежели бы она была, то он поделился бы со мной,— ответил охотник.— Он ведь мне тайменей ловил, понял? Он добрый, мой старший брат. С кедра шишки мне сбивал, корешки сладкие показал. В гости ко мне приходил, сказки мне рассказывал...» — «Да это он юрту твою смотрел,— закрутился вокруг охотника Бурундук.— Ему в твоей юрте чувал понравился. Говорил мне Медведь: «Приходи в гости... вот я скоро выгоню охотника из юрты. На огне стану кедровые орешки жарить».— «Пусть приходит,— бодро говорит охотник.— Места у огня всем хватит!» — «А Медведь мне говорит,— продолжает Бурундучок-Комполэн,— говорит: «Все елкушал в тайге, все пробовал на клык, только вот не знаю, какой на вкус охотник. В темную ночь приду и съем»,— чуть не плачет Бурундучок. «Всего, что ли?» — удивился и растерялся охотник. «Нет,— зарыдал зверек,— сначала с ног до головы, потом с головы до ног».— «О Небо! — воскликнул охотник.— Почему сердит на меня старший брат, может, чем-то обидел нечаянно? Пойду попрошу у него прощения».— «Иди, иди! — закружился Бурундучок-Комполэн.— Только собак с собой возьми, острый нож да стрелы...» — «Кто же в гости с ножом ходит?» — удивился охотник, обувая

лыжи. «А вдруг на тропе злые духи? — ответил Комполэн.— Вдруг не пустят тебя к брату Медведю. Возьми-возьми, охотник, острый нож да стрелы».— «Ну ладно! — согласился охотник.— Зимой много в урмане злых духов».

Страшным ветром впереди охотника помчался Комполэн. Перед юртой Медведя остановился, надавил плечом на громадную сосну и опрокинул ее на жилище Медведя. В ужасе вскочил Медведь, ум его запутался во сне — ничего не понимает. Еще одна, еще другая сосна упали на медвежью юрту, сорвали крышу, и ударил Медведя в грудь ледяной ветер. «Ай-е! Астюх! — воскликнул Медведь.— Неужто младший брат Касюм мою юрту ломает? Неужто шубу он пришел снять с меня в такой лютый мороз?» Выглянул Медведь из юрты, и не узнал он мир: темно, звезд не видно, и луны нет, снега-сугробы по грудь. Мороз визжит, и ветер воет. Первый раз в жизни вылез Медведь в зиму из зеленых снов. «Правду, голимую правду Лось говорил,— поразился Медведь.— Охотник юрту разорил, сейчас начнет раздевать меня до голенького. Но я тебе не дамся!» — И вылез Медведь из берлоги и притаился за дремучей елью, сам такой же дремучий и взъерошенный. «О-о-го-о-о! Бра-а-ат мой ста-р-р-ший! — услышал Медведь сквозь ветер голос охотника.— И-ду-у!» — «У-у-у»,— подхватила пурга. «Иди! — прохрипел Медведь.— Иди, я тебя встречу».— И прыгнул Медведь на охотника, сбил с ног младшего брата и раскрыл горячую пасть. «Правду Бурундук мне говорил. Съесть меня захотел старший брат. С головы начнет»,— испугался охотник и ударил ножом в косматую грудь Медведя. «Ай-ю! Ай-ю! Больно... больно мне,— тяжко простонал Медведь.— Зачем ты, охотник, с меня последнюю шубу снимаешь?» — зарыдал Медведь и, зализывая рану, слепо помчался в непроглядную ночь. Всю зиму бродил-шатался в урмане Медведь. Как заяц, обгладывал кору, из-под снега добывал ягоду, отнимал у бурундуков орешки, растерзал трех лосей, и сам чуть не был растерзан волчьей стаей. Чуть не издох от голода и холода. А охотник всю зиму просидел у очага-чувала — поломал ему ноги Медведь.

Рассорил братьев, Медведя и охотника Касюма, Болотный дух — Комполэн. Не спящий зимою Медведь-шатун ищет человека, чтобы отомстить за разрушенную юрту, а охотник, убив Медведя, устраивает Медвежий

праздник, просит прощения у старшего брата за то, что низвел его.

— Навек, навечно рассорил,— проговорила Апрасинья.— Но все равно бы это случилось...

— Почему? — недовольно крикнул Максим Картин.— Они были братья... Что ты об этом знаешь, глупая женщина?

— А то,— отрезала Апрасинья,— пусть брат, но он — зверь, Лесной Мужик. А охотник — человек. Зверь живет по-звериному, а человек всегда хочет жить по-человечески.

— Замолчи! — крикнул старый Картин.— Мудрые люди нашего рода говорят: «Придет время, наступит время, когда все вернется к своему изначалу: Медведь вновь будет братом, Кедр вновь будет братом, а Береза — сестрою». Оно наступит,— и старый Картин пророчески поднял руки и потряс кулаком,— время, когда каждый изгонит из себя Комполэна, не оставит ни пятнышка Тьмы!

— Да не станет того,— упрямо не согласилась Апрасинья.— Чем дальше, тем, поди, больше в людях станет человеческого.

— Закрой лицо! — приказал Максим Картин.

— Никто еще не ходил спиной вперед,— не унимался голос Апрасиньи из-под цветастого платка.— Зайцу — зайцево, а вот Медведю — медвежье. Не станет он моему Мирону братом, как никогда я не стану женой Лесного Мужика.

— Да замолчи ты, скверная женщина,— задрожал от гнева старик.— Почему боги дали тебе такой поганый язык? Разве можешь ты понять мудрость?

Мирон мягко положил тяжелую руку на плечо Апрасиньи:

— Молчи! — прошептал он.— Отец верит в то. Он хочет того! Молчи...

Люди долго не хотели уходить из сказки, наверное, оттого, что считают Добро и Красоту извечными, а Зло и Горе — не имеющими права на жизнь. Так размышляла Апрасинья, вслушиваясь в то, что говорил старый Картин. Но как же так, не может понять того Апрасинья, ведь ничего на этой земле не дается даром, ни добрые духи, ни злые духи ничего никогда не сделают для человека! Ничего! Умрет тот с голода, если не поставит сеть в реке, если не догонит сохатого, если не поднимет

на острогу медведя. Человек все делает сам, размышляет Апрасинья, если он научен делу или за него делают другие, если он слаб или хитер. Но никогда духи не принесут пищу в дом, никогда злые духи не отнимут еду у того, кто умеет и хочет добыть ее. Нет, решает Апрасинья, она все будет делать сама — сама будет любить и будет любимой, сама станет жалеть, и ее поймут в горе, сама захочет детей и нарожает их сколько захочет! Это так много значит — хотеть! А она всегда знает, чего она хочет! Если она захочет, то она сделает.

— Ты уж помолчи,— ласково уговаривает ее Мирон.— Его ведь дети слушают.

Дети, открыв глаза и души, слушали отца, слушали были и сказания мансийского леса, где причудливо, нерасторжимо сплетались вымысел и чудо, правда и волшебство. И Апрасинья, подбросив сушняку в чувал, прижалась к Мирону.

3

— Мы с Мироном собираемся на ярмарку в Пелым. Скоро рухнет зимник. Это последняя зимняя ярмарка. Пушнина у нас добрая, нужно подороже продать и купить табаку, чаю, муки и соли,— сказал старый Картин.

— И пороху! — добавила Апрасинья, сдирая кожу с громадного налима, почти готовую штанину. Добрая одежина Мирону для рыбалки.

— Да еще свинцу и капканов,— согласился старик.— Что тебе привезти с ярмарки? Бисер, бусы, серьги, белое сукно? Говори, Журавлиный Крик!

— Привези мне, тетюм, ружье! — который раз просит Апрасинья.— Хорошее ружье... доброе. Буду зверовать с Мироном.

— Да разве охота — дело женщины? — возмутился старый Картин.— Дело женщины — юрта, чувал, котел. Дело женщины — рожать сынов-охотников и немного девок для продолжения рода. Ты должна кормить, обувать, одевать мужа, брать из реки воду, а из сосняка — сушняк. Как же может женщина ходить на охоту, заниматься делом мужчины? — не однажды говорил он это Апрасинье, но та словно не хочет понять его.

— В нашем роду осталось мало мужчин. Женщины моего рода — охотники! — гордо ответила Апрасинья.— Женщины моего рода добывают много пушнины, про-

дают купцу и получают оружие. Они приносят в дом не только детей, но и мясо, лосиное мясо, отец мой, потому что им помогает добрая Лесная Женщина. Привези мне с ярмарки ружье! Я метко стреляю. И сделай мне лук и тупые стрелы для белки. Сделай, отец мой, острогу на тайменя!

— О, милый Шайтан! О, Великий Торум! — воскликнул Картин.— Что подумают о тебе женщины нашего стойбища? Они подумают, что ты не хочешь плодить, подумают, что ты не женщина вовсе!

— Так может подумать только глупая женщина! — презрительно фыркнула Апрасинья.— Дай мне еще глотнуть из трубки!

— Ответь мне, что мы станем делать с оленями? — спросил старик.— Я никогда не держал оленей, только коней. Не знаю, что делать с оленями?

— Оставь эту заботу мне, отец! — смиренно попросила Апрасинья.

— Может быть, отдадим их в стадо Кентиных? Они давно держат оленей, знают их жизнь.

— У нас всего три быка и две важенки,— ответила Апрасинья.— Важенки весной принесут детенышей. Пусть важенки выкармливают детенышей, а на быках... а на быках мы с Мироном уйдем в урман.

— Забудь ты про охоту! Наши обычаи запрещают женщине добывать зверя!

— Сколько в сети ячеек, столько запретов для женщин,— тихо проворчала Апрасинья.— В свои законы вы заходите, как глупые караси в морду-кямку. Зачем такие законы, что ломают дух и заставляют мужчину ползать на животе? Зачем такие законы, что делают женщину хуже собаки? Та хоть свадьбу играет, когда хочет...

Часто говорила она так, и каждый раз в старого Картина вселялась тревога. Он хранил законы и подчинял им себя потому, что им подчиняются все. Подчиняются? Или безропотно соглашаются? Или просто глухи к ним, относятся привычно и равнодушно, как привыкают к одежде? Но люди вырастают из одежды, она изнашивается, становится тряпьем. Когда Великий Торум создавал Землю, когда он создавал Небо, то у Неба были свои законы, у Земли — свои, а Подземному Царству Торум не мог дать земных законов — там властвуют Злые Черные Духи. А Человек? Он стоит между небом и землей,

он порождение земной стихии и стихии неба, и законы людские — вовсе не те, что законы зверя. Старики, мудрые и светлые, как луна, умели разделять обычаи и заветы — вот эти законы древние, а вот эти еще древнее, а вот те такие уж древние, что никто не помнит, откуда и как они появились. Но, наверное, до тех древних законов были совсем древние, но они забыты, а может быть, не забыты, а изжиты, просто пропали в трухе, как гнилые пни. Гнилушка светит в темноте, но не греет, не может греть, только кого-то подманивает, кого-то пугает.

— Я хранитель капища,— сурово сказал старый Картин.— И забудь про охоту! Разве ты можешь прикоснуться к медвежьей шкуре? Разве ты можешь прикоснуться к священному соболю и снять с него шкуру?

— Все законы придумали мужчины! — ответила Апрасинья.— И драные жизнью слепые старики.

— Да! — гордо поднял голову Картин.— Их придумали мужчины. Их придумали старики, что узрели жизнь изнутри, чтобы уберечь свой род!

— Они придумали законы от своей глупости и лени,— огрызнулась Апрасинья.— Медведица одна выкармливает своих детенышей. Медведь все лето гуляет один, да еще отнимает добычу у медведицы. И копалуха, и тетерка одни пестуют своих птенцов, а глухари прячутся в глухие урманы. Селезень, утка в разное время меняют перо. Женщина продолжает род! — отрезала Апрасинья.— Привези мне с ярмарки ружье, тетюм!

Женщина права, размышляет старый Картин, но она мало думает, она говорит то, что подсказывает ей сердце, а не разум. Но, слушая сердце, можно разрушить все: устоявшийся уклад, порядок старшинства и разумности. Большинство подчиняется законам, а если большинство, значит, нет изъяна, значит, все верно. Ведь не может же большинство быть глухим и глупым? Не может ошибаться весь род, не может ошибиться все стойбище, не может быть неправым весь народ на Конде. Но эта женщина не желает принимать все на веру, как положено, а пытается проникнуть в сердцевину. А может ли оказаться правым один-единственный человек? Нет, этого не может быть!

— Мирон! — твердо сказала Апрасинья.— Ты привезешь мне ружье! И нож! — и лицо ее замерцало звездным небом, и голубыми омутами высветлились глаза.

— Хорошо! — улыбаясь, ответил Мирон.— Я достану для тебя самое лучшее ружье, милая моя женщина! А ты подари мне сына-охотника!

— Он появится на свет с новой травой и цветами,— в улыбке заструилось лицо Апрасиньи.— Кем, как не сыном, я одарю тебя за любовь твою?!

Не заискивает ни перед кем Апрасинья, не заигрывает, но и не таится — говорит то, что думает, а думает она неожиданно и вызывает невольное уважение. И в то же время она раздражает старого Картина непреклонной, оголенной своей правдой. А может быть, это правда женщины, которую никогда не познать мужчине, та сокровенная тайна, в которую она никогда и никого не пускает?

Получила Апрасинья ружье, и лес снова распахнулся перед ней весенней охотой. Ни на день она не желала расстаться с мужем своим, Мироном.

— Усмири свою женщину, Мирон. Не то худо будет,— пригрозили евринцы.— А если наши бабы заразятся от нее?

Но Мирон только смеялся.

4

Род Картиных немногочисленный, но крепкий и дружный. Он, конечно, уступает роду Чейтметовых и роду Кентиных, даже Лозьвиных, с которыми Картины находятся в близком родстве, хотя и вовсе на них не похожи. Лозьвины ростом высокие, но гибкие, сухие и жилистые — сколько ни гни, все равно не сломаешь. И лицом Лозьвины тонкие и скуластые, и прослыли они среди евринцев родом молчунов: все в себе носили, горе и радость не расплескивали, но до поры до времени. Не стоило их дразнить: шутить и смеяться они над собой не позволяли. Тяжеловаты на доброту Лозьвины, но и сами пощады не просили.

Картины, коренастые, приземистые, широкие в плечах и груди, круглолицые, отличались от родичей и крупными, тяжелыми носами с заметной родовой горбинкой. Так их и звали: «Э, Сорнин Кётып, пыскась род», что значит — «род Золоторуких, шипящих носом». Но ни шипели Картины, а выкладывали прямо в глаза, горячо и дерзко, что думали,— не таили в себе, и оттого из их рода выбирали хранителей капища. Нет, то были

не шаманы, что вызывали и побеждали злых духов, ублажали добрых, в исступлении своем напускали порчу и изгоняли хворь. Хранители капища определяли время всеобщего моления и приношения жертвы земному богу Шайтану, выбирали место для моления, охраняли жертвенное место — святыню, толковали обычаи и древние запреты. Они охраняли, как могли, языческую, родниковую чистоту своей веры, а ее, как кедр, прожигали с комля пока еще тоненькие и неокрепшие языки пламени новой веры в Христа, принесенной русскими, но она, обкусывая и съедая высохшие ветки и неокрепшие побеги, не смогла добраться и прокусить сердцевину.

В роду Картиных хранится предание о том, как прадед Максима, дед его деда, малозубым мальчишкой был окрещен самолично неистовым Филофеем, десятым митрополитом Тобольским. О том же в Пелыме рассказывал Максиму седогривый горластый поп, и хотя не все Максим понял, но отдал три соболя за крохотный медный крестик.

— Ты — евринский вогул, Картин? — прогудел из густой расчесанной бороды пелымский священник в сверкающей парчовой ризе, в такой золотой малице, которую носит, наверное, Великий Торум.— Ты меня знаешь, туземец?

— Да,— ответил Максим.— Тебя я знаю.

— Кто я? — потребовал отец Павел.

— Ты главный русский шаман-батюшка,— захитрил Максим.— Самый, самый батюшка, поп-отец.

— Да! — обрадовался отец Павел и оглушительно, как леший, захохотал.— Но ты, Максим Картин, крещеный, приобщенный к вере вогул, есть самый поганый язычник, есть главный шайтанщик, оберегатель идолов. Так?

— Есть маленько,— ответил Максим.— Маленько Кристос, маленько свой бог. У манси пять душ — всем хватит.

— Но прадеда твоего окрестил верный слуга Христа, истовый сын церкви, незабвенный Филофей! Как могло так обернуться? — уже громом гремел отец Павел.— Как такое могло случиться, что внуки и дети самолично окрещенных Филофеем вновь утонут в скверне, в срамоте и дикости язычества? Боже великий и милосердный, вразуми!

Отец Павел, тыча пальцем в древние книги, непонят-

ные записи и бумаги, поведал Максиму о митрополите Филофее.

...Крепко, намертво засела в Филофее мысль прославить свое имя, окрестить всех сибирских инородцев, обратить остяков, вогулов, и татар, и мордву из язычества в веру православную. Пятьдесят два года Филофею, и не столько он крепок телом и здоровьем, как могуч негасимой верой. Добела раскален ею Филофей, просит он царя Петра позволить ему сурово наказывать иноверцев, что продолжают жить в темноте и скверности язычества, наказывать до смерти, до сожжения и обезглавливания. Не позволил того царь, попридержал чересчур ретивого церковника. «Ежели они все язычники, то головы им всем посечешь, а без головы даже иноверец жить не может и дорогого зверя добывать. Ты, Филофей, свирепость маленько укроти»,— так, наверное, охлаждал его царь.

«Ладно,— решил Филофей.— Пущай так на бумаге и останется. До бога высоко, а до царя далеко. Сам же потом спасибо скажет».

И вот что стало: девять митрополитов Тобольских, что были до Лещинского, не смогли окрестить столько, сколько один Филофей. Он не давал покоя и отдыха ни себе, ни людям своим, проникал в самые глухие места огромного края и крестил на месте всех, кто попадался. Выслеживал, ловил, хватал и крестил, как одержимый.

— «...Все кумиры бездушные сокрушиша, скверные капища и кумирницы разориша и сожгоша. Простережеся падеж и разорение сих даже до Березова»,— прочитал нараспев отец Павел.— Понял, вогул?

— Маленько,— ответил Максим.

...Летом 1712 года, как только прошел ледоход на Иртыше и открылась Обь, Филофей на просмоленном судне, распустив хоругви, спустился к березовским остякам. Два года спустя в волчью темь февральских метелей звериными тропами он приходит на Пелым и на Конду и крестит манси — вогулов. Летом Филофей — вновь в Березово, а в 1715 году раскаленный, неистовый митрополит опять пробирается на Конду, в самый центр язычества.

— Вот он где, языческий Вавилон, вот где древние мольбища, вот где скверные хранилища истуканов, идолищ поганых! — кипел гневом Филофей.— Вот оно, гнездовье шайтанов! Здесь ихний главный жрец, исчадие преисподней.

В селении Нахрачи, что поднималось на слиянии Конды и Юконды, Филофей посек и утопил идолов. Здесь были идолы, что почитались главными не только у вогулов, но и у остяков. Один «изсечен бе из древа, одеян одеждою зеленою, злообразное лицо белым железом обложено, на главе его черная лисица положена», у другого идола «с жести изваяна личина, мало что бяше подобие человека». А третий из дерева изваян «наподобие человече, сребрен, имеющ лице: сей действием сатаниным проглагола бездушный...».

Умоляли Филофея шайтанщики — хранители капищ, просили не трогать идолов, обещали запрятать их далеко от глаз и принять веру, но разорил капища неистовый митрополит.

Хотя самому крещению манси и не шибко противились: в этом нестрашном обряде было что-то интересное и чуточку забавное. На шею блестящий крестик наденут, лоб маслом или гусиным жиром помажут, даже щекотно, да ложку вина дадут, новое имя подарят — вчера был Паломей, а сегодня — Тимофей.

— Ну и что? — рассуждали старики.— Совсем не страшно новую веру принимать. Мы своим богам тоже кровью губы мажем и жиром все лицо и голову мажем. Ему хорошо, и нам нетрудно. По-другому окликает тебя? Пусть, если ему нравится. А имя про запас — тоже неплохо. Пусть зовет меня по-своему. Только я уж позабыл, как он меня назвал.

— Приняв истинную веру, вы сохраните душу! — кричал в толпу Филофей.

— Это хорошо! — кивали манси.— Что он там толкует, ничего не понимаем.

— Кто забудет бога, тому гореть в вечном огне! — кричал Филофей.— В смоле кипеть во веки веков. Ого-нь!

— Огонь — это хорошо! — кивали манси.— Богов своих не забудем, как можно!

И против церкви не возражали — «добрая изба, теплая, светлая юрта, пускай себе стоит, нам не мешает». Все вроде бы ладно, но уносили и далеко прятали манси своих богов... А неистовый Филофей все не мог успокоиться, отправлялся в новые и новые походы. К 1720 году он окрестил около тридцати тысяч язычников и татар. Уже семидесятилетний, постаревший, но по-прежнему раскаленный, за год до смерти Филофей спустился к Обдорску, где остяки напали на свиту неугомонного митро-

полита и едва не отправили его на тот свет. Филофей метался, но только он уходил, как вновь появлялись идолы. Язычество было живуче, ибо корнями уходило в глубины древней земли, уходило в детские сны еще не пробудившегося народа.

— Более века, как нет Филофея. Заложил он камни великой веры, но глотает их трясина безверия и языческой лютости,— грустно протянул отец Павел.— Однако ты помни, двоеверец Максим, сокрушит церковь мощь идолищ твоих. Помни!

Да, Максим помнит, что при отце еще много людей приходило на ежегодный праздник жертвоприношения Шайтану. А потом, перед его женитьбой на Пекле, в Евру нагрянула стая бородатых попов, исступленных монахов с горящими глазами, и рыскали они, искали в потаенных местах идолов и находили деревянных божков. Сжигали попы даже мелких божков, которых находили в домашних шайтанских амбарах. Кто-то выдавал тайну запрятанного мансийского капища, кто-то собакой бежал впереди священников, вынюхивал след и приводил в потаенные места, обходя туго натянутые самострелы со смертоносной стрелой. Попы набрасывались на истуканов, разбивали их в щепки и сжигали на громадных кострах.

Но то было прежде. Теперь церковь уже не гонялась за каким-то замшелым, одичалым в одиночестве идолом. Она позволяла татарам молиться своему богу в мечетях, так стоит ли рыскать в поисках языческих капищ. Ну пусть пока не столь тверды в новой вере обращенные в христианство язычники, пусть даже тайком и поклоняются лесным божкам — время сделает свое дело и прозреют заблудшие...

Но не умирала в людях Конды древняя их вера, соединяющая живое начало с неживым — туман и росные травы, лунный свет и засыпающий ветер, крик совы и плач ребенка.

— Давно то было,— рассказывал старый Картин.— У Священного Кедра, что корнями своими рассекает черную и светлую скалу, вокруг негасимого Огня собрались мудрые старейшины рода манси. Могучий Огонь жадно и властно принял жертву: горячую кровь белого оленя, набухшее от силы сердце медведя, ночной глаз совы и легкое перо лебедя.

— Огонь принял жертву духам Добра и Света,— прошептали мудрые.

А Огонь распахнулся и прогудел:

— Слушайте! Слушайте, люди, Землю и Небо! Вслушайтесь в голос Ветра, Трав и Птиц! Слушайте, люди, себя в себе!

И мудрые из народа манси, каждый в себе, кто громко, а кто шепотом, услышали то, что хотели узнать у Неба, Земли, Звезд и Ветра. У подножия Кедра настоялась бездонная тишина, которая поглотила ненужные шорохи и шепоты, все раздробленное и мелкое, все, что рождают суета, склока, зависть. И услышал каждый, в каком урмане наплодился и вызрел зверь, в какой реке нагулялась рыба, какой бор наполнен птицей. Услышали мудрые, какие народы пройдут через земли манси, с кем вести торг-обмен, с кем крепить дружбу, а к кому повернуться огнем и яростной битвой.

Взметнулась косматая грива Огня, и только самые чуткие услышали невнятный, затухающий зов. И в зове том, диковатом, но томяще-родном огненным отпечатком проступил грохот конских копыт, крик перепела, что угасал в багровом закате.

И старейшие народа, те, кто одарен зрением и жаждой узнавания, своими сердцами увидели далекую и прекрасную землю. Она раскинулась под горячими, сухими ветрами, просторная, как небо, многолюдная, богатая, украшенная медными дворцами с золотыми крышами.

Максим Картин поднял лицо к полуденному солнцу, и рука его вытянулась к недостижимо далекому югу, откуда на тугих лебединых крыльях врывается в таежные урманы голубовато-зеленая весна.

— Там наше изначало. Там после сотворения мира раскинулась наша родимая земля. Так завещали мудрые и старейшие — мы лишь веточка неохватного дерева, мы лишь ручеек большого народа,— голос Картина окреп, зазвенел тетивой боевого лука.— Мы согрели своим дыханием тропы кондинских урманов, наша кровь слилась с кровью тех, кто здесь жил до нас. И эта земля,— он широко распахнул руки, словно охватывая и обнимая реки, озера и лесные дали,— давно стала нашей родиной. Давно стала, так давно, что об этом стали забывать самые мудрые. Даже у мудрых короткая память, она уходит из мира, как щука из рваной сети...

Долго молчал старый Картин, глядя на сидящих вокруг родичей и соседей. Потом сказал:

— Мы с Мироном уходим в твои земли, Апрасинья.

Мы должны помириться с людьми Сосьвы. Мы принесем им дары и выкуп, наладим с ними дружбу и торг, ведь все мы люди одного племени — мансь!

— Я пойду с тобой, Максим! — поднялся Сельян Лозьвин.— Я — друг твой и брат! Знаю тропы в земли Тахы.

— Ты пойдешь с нами, Ситка? — обратился Максим к Кентину.

— Да! — кивнул Ситка.— Пусть нас проводят молодые мужчины-охотники.

Трех горячих кобылиц и свирепого жеребца отобрал Максим в дар родне Волчьего Глаза. В сумы и крепкие мешки из лосиной кожи завернули дары, что раздобыли у купцов на ярмарке. То были серебряные чаши и кубки, медные чайники и котлы, длинные ножи с тонким, как жало, лезвием, железные иголки и дорогое ружье. Богатые дары собрал Максим Картин, не хотел показаться скупым и жадным — он шел к своим далеким братьям.

— Пусть Мирон и молодые охотники проводят нас до истоков Тапсуя, в верховья Конды,— решил Максим.— И ждут нас. И строят лодки. Мы вернемся и спустимся по Конде.

— Да станет легкой тропа твоя! — крикнули вслед старейшие.— Мы ждем вас здоровыми.

ЛЕШИЙ ВОР-ХУМ

1

Робко, как птенец, взмахивала крыльями весна. Снег в глубоких промоинах, ноздреватый и рыхлый, прятался в распадках, таился в сырых ельниках, а песчаные гривы, над которыми гулял теплый ветер, уже прогрелись под солнцем и глянцево отсвечивали тугими листьями брусничника.

Небольшой аргиш — караван ведет по едва приметным тропам старый Картин. Далеко еще до земли Тахы. Но приблизилось к Мирону детство. Вдыхая запахи талой воды, угадывает он урман, куда отец привел его на первую охоту.

...Рассказывал Максим Картин сыну, как словно остров среди рек и речушек, потаенно поднимался далеко-далеко от людей дремучий непроходимый урман, вековая конда-тайга. Не у каждой птицы хватит крыла, не у каж-

дого зверя — силы, чтобы добраться до тех кедров, меж корней которых в росной ледяной прозрачности ярко и неукротимо вскипают ключи-роднички. В урмане том, в бородатой угрюмости ельников, в сосняках-беломошниках, кедрачах-брусничниках, сторожко и мудро гнездится древняя птица глухарь, набирают силу и мощь сохатые, черной молнией проносятся драгоценные соболи, а в буреломах, косолапя, круша и раздирая малинники, сыто урчит медведь — Хозяин Леса.

— И этот урман...— Мирон завороженно, затаив дыхание вслушивается в подобревший голос отца. Максим лосиными жилами крепит охотничий лук, а сын не спускает глаз с ловких рук и неумело, торопясь повторяет то, что делает отец. Он торопится и портит.— ...И этот урман, горячий и светлый от обитающей в нем жизни, звонкий от птичьей песни, целиком принадлежал Лешему — Вор-Хуму.

Максим видит бусинки пота на выпуклом лбу десятилетнего сына, видит, с каким старанием и нетерпением мастерит тот первый свой лук, и тихо улыбается.

— Бабушка Текла давно пугает меня Вор-Хумом,— хочет пожаловаться Мирон, но едва уловимая усмешка проступает в глазах отца, и сын осекается,— Вор-Хум, кто он?

— Вор-Хум? Вор-Хум — Выскорь. Он — когда вывернутый пень с живыми корнями, а когда черная птица с железным клювом.— Отец туго натягивает тетиву.— Просто он — оборотень...— Гулко, как крик-зов сохатого, гудит тетива.

— Тетюм! — потянулся к отцу Мирон.— Ты подарил мне охотничий лук. Ты сделал мне меткие стрелы. Ты хотел, наверное, подарить мне верный нож?! — и столько надежды, светлой, как рассвет над рекой, слышится в голосе сына.

— Да, сын! — ответил отец.— Я хочу, чтоб ты стал фартовым охотником, как все мужчины нашего рода. Но ты сам должен готовить свое оружие. Охотник все делает сам: стрелу, капкан, нож.

— Но я долго не стану им! — выпаливает Мирон.— Мать Пекла не пускает меня в урман. Отец, она говорит, что я прожил всего десять зим, а в урмане мой разум замутит Вор-Хум. Так она говорит, отец! А я — манси! Он — кто? — загораются светлым огоньком глаза мальчика.— Он — кто, Вор-Хум? Зверь он?

— Нет, он не зверь,—отвечает отец, и нож поблескивает в руке, и тонкая стружка сбегает с легкой стрелы.

— Птица он? — не унимается мальчик, что готовится стать добычливым охотником.— Я хочу знать его! Ты видел его, тетюм? Мутил он твой разум, отец?

— Когда я был таким же, как ты, то видел,— говорит отец и задумывается, словно ненадолго уходит в далекие свои годы. Сидит напротив Мирона, в тяжелых руках острый нож и орлиное перо, и будто нет его, покрылся туманом.— Глаз ребенка, как росинка, весь из солнца. А потом глаза мутнеют — в них поселяются заботы. Когда увидишь много горя, много смерти, то глаза уже не разглядят Вор-Хума.

— Но ты его видел, когда был таким, как я? — настойчиво требует сын.— Я тоже хочу увидеть его!

— Маленьким я был тогда, с волчонка,— отец раскуривает трубку и кладет руку на плечо сына.— Лес набросился на Евру, как аркан, захватил капканом. Лес, сынок, извечно живой, он ходит по земле, как волна по озеру, и не удержат его пожар, ветролом. Со стрелой, с ножом бегал я мальчиком в глухой урман, и обжигал меня горячий след зверя... Однажды я крался за соболем и настиг у дуплистого кедра...— неторопливо рассказывает отец. И походит то на сказку.

...Стрела, не долетев до соболя, проскользнула мимо, словно обогнула его. И вторая стрела, и третья. И увидел маленький охотник, что то не соболь. На широких лапах кедра упруго покачивался Вор-Хум.

— Скушно! Ску-шно мне! — вздохнул Вор-Хум. И от вздоха его хрупко ломаются пихты.— О-о! Как скушно-о-о-то мне-е,— потянулся в зевоте Вор-Хум. И дрожь охватывает его тело, он зыбко вздрагивает своей лохматой шкурой. Шерсть на Вор-Хуме висит клочьями, как на росомахе, драная такая, красно-бурая, желто-зеленая, словно осеннее болото. Из шерсти перья сизые торчат, будто каленых стрел наконечники, и карасиная чешуя тускло светит.

— Что за чудо в перьях? — изумленно прошептал охотник, и голова его наполнилась густым, плотным гулом, а в глазах словно туман.— Страшно... Астюх! — Дрожь пошла по телу.

Даже в безветренный, примолкший день шерсть на Вор-Хуме не то чтобы дыбится, а раскидывается вихрем, как вода на перекатах. Морда у Лешего непонятно какая:

то она зверски звериная то нечеловечески человечья. И увидел охотник, что миг назад она была рыбьей, с круглым безгубым ртом...

— Деды говорят,— продолжает отец, отстругивая ножом древко копья,— деды говорят, что морда Вор-Хума меняется, как пламя костра, как река под ветром, как болото под туманом, но лишь когда он того захочет. И скажу тебе, мой сын: чтобы его все помнили и знали, он не меняет глаза. Всегда остаются глаза — красными мухоморами в белых снежинках смотрят они в мир, когда Вор-Хум сыт и добр, и пронзительно горят зеленым огнем, когда Вор-Хум свирепеет. А добр ли он или бездушно свиреп, думать даже не следует. Он просто Леший. Такой он. Вор-Хум его зовут.

— Вор-Хум его зовут,— эхом отзывается Мирон и ближе придвигается к отцу.

— Вор-Хум ведь тоже Лес,— улыбается отец.— Лес — огромный отец его. Ну, такой он мальчишка у Леса, как ты у меня.

— Тетюм! — прижимается мальчик к плечу отца.— Но он все время разный, а я — один! Я все время сам себе свой. Я только во сне летаю, и во сне ко мне...

Мирон снимает с плеча руку отца и вытягивается настороженной тетивой.

— Ко мне во снах, тетюм, приходят...— шепчет он горячо и стыдливо, словно о чем-то запретном и недостойном будущего фартового охотника,— ко мне приходят звери-горы. Звери-горы! На горбатых спинах растет сосна, и шерсть на спине как осенняя осока. Голова, как камень-валун, облизана водой и ветром, и в голове той, отец, маленькие мышиные глаза. У зверя-горы — мышиные глазки?! — пораженно приседает Мирон.— Впереди, отец, где у тебя нос, он несет длинную руку. Рукою той он срывает ветки и траву, рукою той, отец, он вырывает дерево... и в рот свой маленький кладет... Сколько нужно ему, зверю-горе, деревьев? Скажи, отец? Вор-Хум ли он?

— Нет! — Поднимается с валежины отец, стряхивает с себя тонкую, словно пена, стружку.— Нет, сынок! Ты живешь в селении. Среди дедов и бабок, около женщин ты живешь. Они пугают тебя, поют сказки о Вор-Хуме, о Лешем с красными глазами. Наверное, кончилась твоя жизнь среди старух и щенков. Завтра, Мирон, мы уйдем в тот урман.— И мальчик потянулся всем телом своим горностаевым, изогнулся и затаил дыхание.

— В тот урман! Заветный урман?!

В ту ночь мальчику снились цветные, словно радуга, сны... На широкой кедровой лапе покачивался Вор-Хум, размахивая лохматыми ладонями, и, зевая, поскуливал:

— О, скуч-но-о мне! Скучно!.. Но почему? — задумался вдруг Леший и не заметил, как обернулся вначале кедром, а затем тугой шишкой на ветке. Прилетела птица кедровка, ударила клювом по шишке и уронила на землю орешек. И тогда только очнулся Вор-Хум.— Почему скучно-то мне, а? Потому, что я самый сильный! Самый-самый я хитрый! Самый, наверное, я умный! — решил Вор-Хум.— В кого хочу, в того и обернусь!

Целыми днями бродит по своему угодью Вор-Хум, запутывает в клубки ниточки звериных троп, завязывает их в узлы, обрушивает в ручьи вековые сосны — отпугивает зверя от водопоя. Схватил медвежонка и посадил в кишащий муравейник.

— Гры-зи-и его! Рви-и его! — приказала Мать Муравьиха, а Вор-Хум лишь всхохотал дико, как упавший в гром камень, когда медвежонок зарыдал от боли.

То у бобров плотину разрушит или хатки перенесет на другую речку — шлепают по воде хвостами бобры, как веслами, никак не найдут дома своего. То лисят хвостами свяжет, то оленей-бородачей рогами скрестит, спутает, а то ради забавы превратится в дупло и тоненько посвистывает, подманивает к себе рябчиху. Та доверчиво положит туда теплое яичко, и вдруг — нет дупла.

— Где ты? Где же ты? — потерянно мечется рябчиха, а яичко молчит, совсем немое оно, говорить еще не научилось...

— Что ты делаешь? — крикнул мальчик и проснулся в юрте на теплой медвежьей шкуре, в серебристой лунной полосе, легкой, как дыхание младшей сестренки, что уткнулась ему в плечо. Мальчик встал и тихо прокрался к двери. Скрипнула дверь, как сухара-сухостоина в горельнике, скрипнула тоненько и распахнулась. Совиным немигающим глазом сияла луна, и словно качалась она в голубоватых волнах над посеребренным чернью березняком. Голубые полосы дымно колыхались, и, колыхаясь, искрились опушенные инеем ветки.

И мальчик застыл, нет, не окаменел, а напрягся, как настороженный шорох, во все лицо распахнулись глаза. И хлынул в них зыбкий свет ночи. Там, в глубинах неба, неуловимо возникали и двигались тугие, неслышные по-

токи, и менялись они: голубовато-зеленые вливались в золотисто-лунные, тонули в них и вырывались уже пепельно-дымными. Тихо-тихо, как мерцание далекого костра, шорохом упавшего пера возникла снежинка, вторая... Нет, они не падали, они выплывали, и плыли, покачиваясь, невесомые, из глубин неба, и вспыхивали голубовато, и искристо покалывали, то вдруг теплели в золотистом медлительном потоке. Но громкая, оглушительная до звона тишина покоилась лишь там, в недоступности неба. Она окольцевала луну, околдовала звезды, и те не мигали, а плыли рыбьей стаей, не шевеля плавниками. И Мирона заворожило, оглушило беззвучное, но томительно-осязаемое движение, которому не было конца и забыто начало, потрясла вечная, неразгаданная тайна неба.

Оно оживало в нем.

Оно смотрело в него.

Оно говорило с ним, но он еще не понял голоса, не понял неземного языка.

Это было его небо, небо его земли, но оно было намного больше его земли, больше людей его народа. И вдруг Мирон почувствовал, как загудела земля, и звук тот был словно гудение богатырской стрелы, пущенной из тугого лука. Земля куда-то невидимо гудяще летела! Куда? Куда она летит, земля, с урманами, с озерами и реками, с кедровником и осиянными луной березами, с разгорающимся костром в сосняке-беломошнике. Тугой, словно предмолниевый, ветер обтекал землю. И Мирон увидел, услышал, как оживала лесная чаща, как небо говорило с землей. На земле умирало лето, но без мольбы, без воплей и судороги, а в теплой прощальной улыбке. Оно замирало огрузневшим от листвы и хвои, от плода и семени, как-то умиротворенно-покойно, окутанное в брусничное покрывало мхов, в голубичной косынке лесных полян, в ожерелье лебединых стай.

— Я умираю не навсегда,— донесся к мальчику голос.— Я только сбрасываю праздничное платье и ухожу корнями поглубже... Мне нужно отдохнуть... отдохнуть от глухариных токовищ, от птичьих свадеб и звериного гона... Отдохнуть немного от грузного гнезда, от переполненных нор и логовищ.

Замерцало небо, шевельнулось и опоясало себя необозримой молочной рекой, что просторно текла среди островов созвездий. И в том мерцании, в потоках неба, в ше-

поте земли мальчик уловил неразборчивые слова, внезапно вспыхивающую мысль, даже не мысль, а ее мучительное нарождение, что-то смутное, дикое, яростное и жестокое, томительное и желанное, трепетное и ломкое. Сквозь мальчика, сквозь его душу острым сквозняком проносилось чье-то просыпающееся сознание, чья-то мольба и чья-то всепожирающая ярость. Его охватил темный страх, страх от того, что он стоит на пределе узнавания — перед тайной. Он боялся шагнуть в нее, не было у него ног и не стало рук...

Тревожно защелкала поголубевшая белка, с прозрачным звоном осыпался иней с огромной сосны, и донеслось или угадалось злобное, сквозь зубы, шипение — то промахнулась куница. А белка торопливо цокала, ругалась, выговаривала, сердито постукивала лапками по чешуйчатой ветке. Глухариный выводок сонно шевельнулся — чутко вслушалась копалуха во вкрадчивое, завораживающее скольжение соболя. Зеленым огнем полыхнули глаза нёхыс — соболя, вскрикнула сова, и тоненько пропищала мышь. Половодье лунного света затопило оголенный березняк, и вдруг из глубины ельника появилось лохматое, длиннорукое существо и, не касаясь земли плоскими, как плавники, лапами, подплыло к кедру, поднялось к вершине, как дым из чувала. Оно обернулось, и Мирон увидел, как с усмешкой красным огнем полыхнули глаза-мухоморы.

— Ты — есть?! — радостно колыхнулся мальчик.— Ты— есть! Я вижу тебя! Это так хорошо, что ты есть!— прошептал он и потянулся к Вор-Хуму.— Ты — тайна мансийского леса... Хочешь, я стану дружить с тобой? Хочешь?

Горячим пламенем полыхнули глаза Вор-Хума, вспыхнули, но не разгорелись, затлели и медленно погасли. Словно из-под пепла проступил травяно-желтый цвет, мигнул и яростно разгорелся зеленый огонь. А может, то показалось?

— Ты...— не успел обернуться мальчик. Рука отца легла на его плечи так неожиданно, что Мирон вздрогнул.

— Я тоже любил купаться в луне,— густым сонным голосом сказал отец.— Но сестра солнца холодна и лжива — она ледяным когтем режет ночь, то смотрит рысьим глазом. От луны всегда непонятные тени. И мутны сны.

В ту ночь уже не смог уснуть Мирон таким, каким он

засыпал раньше. Сон убегал от него на длинных, косых, как дождь, ногах. В мальчика непрошено, само собою, вошло ощущение безбрежности, необъятности земли, неба и леса. И рядом в душе прорастали смятение, и испуг, и сладкая томительность, и горечь бессилия, и желание понять все сразу. Пугает всегда неведомое, неувиденное, то, что неуловимо. А он теперь узнал, он увидел, что в лесу сам по себе живет Вор-Хум, и узрел сердцем, что тот одинок, но уже никогда не придет к людям. Леший — эта тайна леса. Прирученный, кем он станет? Наверное, он потеряет все то, что делает его Вор-Хумом? Может быть, Вор-Хум не идет к людям оттого, что боится? Боится, что люди сотворят из него чучело, как подсадную утку, и завладеют лесом.

— Нет, пусть он живет таким, какой есть! — решил мальчик, и пришло успокоение. Он потянулся и, как камень, упал в сон.

2

В тот день они с отцом ушли в урман. В солнечный листопадный полдень у омута Черемуховой реки отец отыскал свежий лосиный след. Матерый сохатый шел по урману медленно, припадая на заднюю левую ногу.

— Крепкий зверь,— сообщил отец, разглядывая след.— Медведь его маленько ободрал.— И он прикоснулся к можжевельнику, обагренному лосиной кровью.

Бежали они день, и бежали они ночь и к утру настигли лесного великана. Рухнул сохатый, рядом со стрелой отца, под левой лопаткой лося, покачивалась стрела Мирона в легком ястребином оперении.

— Однако, ты его, сын, добыл! — Мирон уловил в голосе отца зависть и гордость.— Видишь, твоя стрела пронзила сердце зверя, а моя лишь догоняла твою. Возьми,— отец выдернул неглубоко погрузившуюся стрелу и протянул сыну,— окрась ее кровью и береги, это Стрела Первого Зверя, Первой Добычи!

— Надо раздеть его! — по-взрослому сказал мальчик-охотник и вынул нож.

— Твое сердце и твоя голова! Запомни, только охотник поедает сердце и голову добычи.— Отец вскрыл брюхо и достал дымящуюся парную печень.— На! Макни в кровь.

Он — охотник! Его, Мирона, стрела поразила могу-

чего зверя! У него острый глаз и крепкая рука! Он, Мирон,— охотник племени мансь.

— Принеси жертву Духам Охоты! — повелел отец.— Пусть не оскудеет тайга, не покинет тебя фарт — удача!

Пригоршней зачерпнул Мирон загустевшую кровь и вылил в огонь. Бросил в пламя кусок сердца и клок шерсти — огонь распахнулся и прогудел добро и густо.

— Духи Охоты приняли жертву,— тихо сказал отец.— Закрепи жертву своим родовым знаком — тамгой,— и отец протянул Мирону остро заточенный топор.

— Я видел, как ты ставил тамгу...— опустил голову мальчик.— Но я не умею...

— Смотри! — отец подошел к лиственнице, взмахнув топором, сделал легкий гладкий затес. Он повернулся к Мирону спиной, и сын не мог увидеть, что проступает из теплой тверди лиственницы.— Смотри! — приказал отец.

На затесе обозначился легкий, едва уловимый силуэт лосиной ноги. Короткие, точные прикосновения топора не причиняли боли дереву, хотя проступило немного сока и смолы. Нога утолщалась, посредине выпирала коленом и заканчивалась внизу острым расщепленным копытом. Над рисунком ноги, слева, отец высек знак — две перекрещивающиеся линии с перекладинкой наверху, что прикрывала крестовину, как шапка. Справа — две прямые затески, слева внизу тоже две, только они лежали поперек ствола, а верхние — вдоль, а справа еще одна косая заметина.

— Теперь каждый охотник поймет: Картин с сыном, с двумя собаками, по первому снегу, по черной тропе завалил лося,— сказал отец, отбрасывая топор.

О! Как прекрасно время под рукой отца! Оно останется в нем навсегда, и не только в памяти — останется частью души.

Отец, увидев след куницы, неторопливо рассматривал его, прицокивал удивленно языком и, подзывая сына, разводил руками.

— Сын, погляди,— просил совета отец.— Что-то не пойму — то ли соболь такой прошел, то ли куница-желтодушка.

Остро ощупывал Мирон след, принюхивался, оглядывался по сторонам и солидно отвечал:

— Куница прошла, тетюм!

— Наверно, куница! — соглашался отец.— Куда она

ушла? — задумчиво, словно советуясь, обращался он к Мирону.

И снова взгляд мальчика остро ощупывал след, бежал впереди следа и как бы печатался в нем самом.

— В сосняк, вон на ту гриву, скользнула,— обретал уверенность Мирон.— Там нынче белка пасется.

Отец теплел, молча улыбался про себя и шел впереди сына, а тот торопился за ним, и подводил его отец к зверю так, что ни зверь, ни птица не могли услышать и увидеть их. Без окрика, покойно, без длинных слов открывал ему отец потаенную жизнь зверя и трав, птицы и рыбы. В тайге нельзя кричать, нельзя оскорблять ее криком. Они были одним, вот что открылось Мирону — вода, травы, деревья, птицы, звери и рыбы. Одним! Ель, сосна, кедр нарождали орех, на орех слетались птицы — много птицы, на орех сбегались белки и бурундучки — много зверька, за белкой идет соболь, куница и кидус. Чем больше ореха, чем больше шишки, тем больше птицы и больше зверя. Нет шишки — лес немой, лес глухой, лес холодный. Свалишь дерево — кого-то ты оставишь без пищи и крова, оголишь землю, а голая земля что человек без судьбы. Отец все умеет, все знает, все видит и слышит, и Мирон с удивлением замечал, что отец в урмане стал совсем другим — какой бывает река в глубоком месте. Он укрупнился, раздался в плечах и в то же время стал тоньше, как натянутая струна, он то шорох, то шепот, то сливается невидимо с деревом, и он уже дерево, то крадется волком по следу лося, то сам он вдруг — лось, что бьется с волком.

А ночью у жарко дышащей нодьи, на мягкой пихтовой постели, отец вслушивается в затихающие голоса, угадывает птицу и зверька или всплеск рыбы. Лес открывался перед мальчиком, приближался к нему, но все больше и больше оборачивался священным. Священными оказались не только кедр и береза, священными были и сосна, и пихта, и лиственница, осина и черемуха. Дерево встречало человека и провожало в неземной мир. Оно встречало рождение человека в мань-кяле — маленьком доме, берестяная люлька — апа покачивала его, пока он ползал и был слабее птенца, оно спасало его юртой — избой из вековых лиственниц, оно берегло его в охотничьей лесовней юрте — вор-кял. И дерево провожало его, когда угасала жизнь. Деревья — друзья, деревья — пища, деревья — красота, де-

ревья — вчера и сегодня, деревья — завтра, много зим наперед.

Жаром дышит нодья, тепло и сухо под пологом, мягко раскинулся пихтовый стланик. Отец раскуривает трубку, мальчик смотрит в огонь, собаки потягиваются и, зевая, укладываются с другой стороны костра и дремлют, чутко вздрагивая телом и поводя ушами.

— Отец! — тихо позвал Мирон.— Мы много дней лесуем в урмане. Много добыли белки, добыли соболя и колонка. И Вор-Хум не помешал нам... Я видел...— горячо и убежденно заговорил мальчик.— Я видел, отец, как он прятался в дупло. Почему он нам не помешал лесовать?

Круто вскипел чай в котелке, плеснул и пригасил огонь. Отец поправил нодью и ответил:

— Ты помнишь Черного Ворона, что всю ночь кружился над костром?

— Да, отец!

— Ты помнишь, как долго мы не могли выйти к речушке Люль-Я, к Плохой реке?

— Да, отец!

— Кто свалил на тебя сухостоину в распадке? Помнишь?

— Да, отец. Помню.

— Ты помнишь, как собаки убежали за кем-то и пропадали всю ночь?

— Помню. Я боялся, что они не вернутся.

— Ты стрелял в глухаря. Пронзил его стрелой, а тот улетел. Все это Вор-Хум.

— А почему у него красные глаза? Как огонь? И отчего у него зеленые глаза? И злые?

— Смотри в огонь и увидишь, если сможешь... Смотри, а я расскажу тебе.

...Целыми днями Вор-Хум забавляется: то ручьем обернется, утят на себе покачает, то болотом раскинется, поймает в топь лопоухого лосенка и держит до тех пор, пока его гнус в кровь не искусает.

— Комару тоже, поди, жить надо! — хохочет Вор-Хум, открывает волосатую пасть и не понимает, что игры его дракой оборачиваются, шутка — слезами, не знает он предела игре и шутке. Совсем дикий, потому что без родителей возрос. Увидит зайца, превратится в черную лису — сломя голову бежит по лесу заяц. Увидит глухаря — расстелется, раскинется перед ним ягод-

ником-брусничником, черничником или моховыми кочками в клюкве. Примется глухарь ягоду обирать, наглотается и захмелеет — падает грудью на кочки и хрипит:

— Худо... Тяж-ж-ко мне... Вор-Хум худо шутит...

Однажды увидел Вор-Хум Медведя — Хозяина Леса. Медведь уже три дня сидел потаенно в засаде на Сохатого, точно знал — здесь пройдет Лось на водопой. Неподвижной кочкой затаился Хозяин Леса, в горле у него пересохло, язык окаменел, в голове звенело. Бурундучок подбирал под кедром орешки и задумался: «Куда подальше спрятать, чтобы поближе взять?» И решил он запрятать орешки под кочку, скребанул коготками, еще раз царапнул, кочка шевельнулась и прохрипела:

— Ты меня с другого бока почеши, дружок! — Бурундучишка даже орешки рассыпал, глазенками захлопал — страшно-то ка-а-а-к!

— Чесани-ка, малыш! — прохрипел Медведь.

Услышала Медведя суетливая птица Кедровка, перепорхнула на высокую лиственницу и на весь лес застрекотала:

— Смот-ри-те! Гля-ди-те! Медведь-то кочкой затаился у валежины! Не ступайте на эту тропу — раздерет Медведь в клочки. Смот-ри-те! Так гля-ди-те!..— на разные голоса орала Кедровка.

— Ы-ы, у...у! Ёлноер, чтоб тебя подземный царь поглотил,— тихо прорычал Хозяин Леса.

А Вор-Хум, услышав Кедровку, обернулся Сохатым, подкрался сзади к Медведю, разогнался и ударил могучими рогами Хозяина Леса. Высоко подпрыгнул Медведь, шерсть на загривке встала дыбом. Жарко выдохнул он пересохшей пастью:

— Ай-ю... Ай-ю... Больно ведь кто-то дерется!

Медленно, тяжело обернулся Медведь и видит невиданное: выпучив налитые кровью глаза, раздувая ноздри, низко опустив рога, раскидывая копытами каменистую землю, могучий Сохатый изготовился для удара.

— Ты што? — прорычал Медведь.— Ты ш-тт-о... с ума сошел?! — рявкнул Медведь.— Это ты на кого рога поднимаешь? На Хозяина Леса ты поднимаешь?

— Я — Хозяин Леса! — проревел Вор-Хум голосом Сохатого, скребанул копытом.

Изумился Медведь, покрылся потом, никто еще не смел так разговаривать с Хозяином Леса, никто еще

не смел переступать запретную черту Таежного Закона. Это ведь чудеса какие-то: собрался, понимаешь, из засады голод утолить, Сохатого завалить, а тот, гляди, сам на него нападает, да еще дерется как больно! Да так ведь может вся жизнь перевернуться наизнанку.

И не успел Сохатый разогнаться — с ревом прыгнул на него Хозяин Тайги и схватил в обнимку когтистыми лапами. Не успел Вор-Хум кедром обернуться, как Медведь ему бока до костей ободрал.

— Щох-щох! О, как обожгло меня! — рванулся из когтей Вор-Хум, обернулся черным вороном и, высыпая из себя перья, с трудом приподнялся, словно заполз на раскидистую ель. Не полезет Медведь на елку — густо свисают ее тяжелые лапы.

— У-у-ы-ы...— взревел Медведь.— Так это ты, Вор-Хум?! Это ты, Леший, звериный народ тревожишь? Смотри у меня, лесной оборотень! — пригрозил Хозяин Тайги и, рассерженный, голодный и грозный, спустился к реке и долго-долго пил воду.

Отдышался, отлежался на еловых лапах Вор-Хум, шерсть причесал, побегал, покачался на деревьях и увидел вдруг: с березы в безветренный день зеленый, сочный лист почему-то обрывается.

— Что такое?! — удивился Вор-Хум и легким туманом подплыл к березе. И что он видит? Ай-е! Щох-щох! И видит он — под березой, раскинув руки и ноги, открыв лицо и распустив косы, спит женщина невиданной страхоты и дикости.

— Астюх! Дрожь пробежала по моему телу! — тихонько, словно туман, прошептал Вор-Хум.— За что же Великие Духи Земли так надругались над женщиной? — изумился Вор-Хум и не заметил, как обернулся желтогрудой куницей с глазами-мухоморами. Когда Вор-Хум случайно задумывался, то обязательно превращался в кого-то нечаянно.

Женщина сладко причмокивала во сне, словно лакомилась ягодой княженикой. Рот ее открыт и глубок, как пещера. Из ноздрей со свистом вырывается пар и дым и срывает лист упругий с молодой, такой гибкой березы. Женщина едва уловимо шевельнулась, стала выпуклой вся, неохватной и раскаленной, и через ее колыхнувшееся тело прогляделась трава, и яркая розовость разлилась у корней березы — то зацвел, распахнулся шиповник, дикая роза. И не успел Вор-Хум

дотянуться до цветка, как с кедра на него то ли мягко спрыгнула, то ли тягуче стекла золотистая, как пламя, горячая и свирепая Рысь.

— Во-ор-рр-Хху-умм,— изгибаясь и прижимаясь к шелковистым, нетронутым мхам, промурлыкала Рысь.— Ворр-Ху-ум, ты ждал меня? — И горячим языком облизнула усатую морду.— Ты долго ждал этой встречи?

— Это она! — вздрогнул Вор-Хум, и в его дремучее сердце, в нетронутое, в несогретое сердце вошла любовь. Что это такое — он не знал, но ему стало тесно и просторно, жутко и радостно, ему захотелось заплакать, хотя он и не знал, что такое слезы.— Кто ты? Откуда ты? — Из голубоватой дымки тумана на Рысь изумленно и восторженно смотрели глаза-мухоморы.

— Духи Подземного Царства послали меня в жены тебе, Вор-Хум! — зашелестела густая осока вокруг узкого, как глаз, болота.— Я стану верной женой, Вор-Хум,— в нежной истоме прошептала болотная кочка.

— Но кто ты сама? — прогремел Леший — Вор-Хум, завернувшись в обычную свою красно-бурую, желто-зеленую вздыбленную шкуру.— Ты — Женщина, Что Сбивает Дыханием Зеленый Лист? Ты — женщина с Открытым Для Всех и Каждому Лицом? Болотная Кочка или Золотистая Рысь? — гнулся и гудел лес под его криками, стонал урман, стонала тайга-конда. Недоверием, страданием, страхом, болью и любовью струился Вор-Хум в прозрачных реках, погружался в омуты и вырывался из них красноперым тайменем.

В белую пену разбивается Вор-Хум на перекатах, а за ним гонится Виткась — Пожиратель Всего Живого, Пожиратель Рек и Засоритель Озер. Гонится за Вор-Хумом Виткась — Пожиратель и Сокрушитель Берегов, прячет реки в омуты, разрывает их на перекатах, изгибает реки в лук и кольца, раздирает на старицы и протоки. Настигает Лешего Виткась, чтобы навсегда изгнать из вод Вор-Хума, чтобы отнять у него воды урмана, потому что Виткась молод, из молодых, только что рожденных Духов Земли, и он хочет захватить Мир, чтобы пожрать его. Все духи рождаются из Тьмы, набираются во Тьме силы и пытаются захватить весь Мир, но не затем, чтобы сделать его прекрасным и ясным, а лишь затем, чтобы править им.

— Ты стар, Вор-Хум! — кричит Виткась.— Ты из древних Духов, Вор-Хум! Ты можешь только пугать

зверей... Уходи! Не смей погружаться в реки и озера... Они мои... Мои-и!

Мутнели реки, валился лес, а Вор-Хум ничего не видит, он не слышит.

— Кто ты?! Ты — Женщина с Открытым Лицом, Золотистая Рысь или Жесткая Осока?! — кричит Вор-Хум, а на него тяжелой волной наваливается Виткась — молодой, еще не узнавший жизни, оттого свирепый и непримиримый Виткась.

— Не знаю,— прошептала грозовой дымной тучей Та, Что Должна Стать Женою.— Не знаю, Вор-Хум. На земле, в этом урмане, все непонятно и так сложно... И не знаю еще, Вор-Хум, кто я! Но рысью мне лучше, чем цветком, осокой легче, чем рябиной. Духи Подземного Царства учили меня тому, что на земле правит только сила. И я готовилась быть сильной. На земле нет места жалости, и я должна быть жестокой. На земле слабый должен подчиняться сильному — так учили меня Духи Подземного Царства. Они научили меня, когда-то слабую женщину, быть хитрой, страшной и беспощадной.

— На земле было все прекрасно, пока я оставался юным,— голос Вор-Хума слился с голосом гор, с голосами долин и ущелий, с воем волка и ревом рек.— А сейчас Виткась отобрал у меня реки, а Болотный Дух Комполэн — болота. Как же мне жить теперь? Я ведь только шумел, пугал, но не носил в себе зла. Когда из жизни изгоняют детские игры, то мир окоченевает в смертной и тягостной скуке порядка. Я это чувствую... О, как я это чувствую! Я, Вор-Хум, сам себе непонятность, но я знаю, что я часть души живого — летающего, ползающего, плавающего. Как же мне жить теперь?

— Драться! — резко ответила Та, Что Должна Стать Женою.— Драться до последнего дыхания. Только Сила, Зло и Боль заставляют подчиняться. И я помогу тебе! Я предназначена тебе властью и приговором Подземных Духов.

— Так она стала женою Лешего, Вор-Люльнэ — Лешачихой! — Отец поправил нодью, натянул полог, что отражал тепло к стволу кедра, под которым они спали.— Так она стала Вор-Люльнэ — Лесной Колдуньей. А безвредный раньше, веселый, озорной Вор-Хум попортился,— задумчиво сказал отец,— насовсем попор-

тился, как дохлая рыба в тухлой воде. Взбесился, шатуном стал, свирепым, загасил в себе сердце. И стал зеленоглазым, оволчился. Старики говорят: «Когда занимаешься черными делами, то всегда теряешь прекрасные глаза с чистыми огнями таежных костров!»

В темной чаще, окутанной голубоватым снегом, родился негромкий шорох. Хрустнул сучок, и скрипуче простонала старая, больная ель. Из-под ее древнего шатра, из вечной зелени на Мирона смотрели красные глаза-мухоморы.

— Хочешь, я стану дружить с тобой, Вор-Хум? — позвал его мальчик.

Вор-Хум приветливо поднял мохнатую лапу. Но может, то ель махнула тяжелой веткой? Струился лунный свет. Ветер спал. Старая ель дремала. А Леший следов не оставляет. Но разве детские сны покидают нас в зрелости? Ведь детство не было сном, и не все там было сказкой. Там были и чудеса, и прозрение, и холод смертельной опасности, и нечаянные потери, и слезы бессилия, и торжество нелегкой победы.

3

Мирон вернулся ненадолго в детство, потому что впереди, выбирая тропу в сплетении звериных троп, легко, как в те давние годы, шел отец. Максим Картин вел маленький аргиш через дремучий нетронутый урман, и Мирон угадывал разросшиеся кедры, под которыми они ночевали, отыскивал и находил те знаки, что они оставляли с отцом. Та юная, по-девичьи стройная лиственница, на которой отец высек знак Первой Добычи, вытянулась, осмуглела, налилась соком, и нужно было вытянуться и поднять руку, чтобы достать ту тамгу, что была раньше рядом с землей.

— О Милый Шайтан! — прошептал Мирон.— Я рос, и росла лиственница, я стал мужчиной и скоро стану отцом. А лиственница-женщина уже стала матерью — сколько на ней зреет шишек!

А Черемуховая речка? Вот она — Речка Первого Соболя, первого меткого выстрела и такой гордой улыбки отца... Тихо фыркали кони, позвякивали удилами, над излучинами и старицами реки тянулись к северу бесконечные птичьи стаи, неся в себе клики узнавания родимой земли. Над открытым простором озер, над березня-

ками распахивалась белая ночь, а плеск и бульканье ручьев сливались с томным бормотанием таежных токовищ. Над Кондой-рекой плыла белая ночь весеннего пробуждения.

Старшие — Картин, Лозьвин и Кентин — негромко переговаривались, вынимали из памяти полустертые тропы, где-то чутьем и догадкой вели караван, обходя топи и гиблые болота, а по вечерам, когда удлинялись тени и с закатной стороны тянул свежий ветер, у горячего костра не торопясь вспоминали молодость — удачную охоту, невиданный улов и дерзкие забавы. Они становились моложе, и Мирону казалось, что его отец, Максим Картин, никогда не станет дряхлым, выживающим из ума стариком. Старость — не бессилие силы, а угасающий дряблый разум, потухшее сердце.

И на всем пути сквозь дремоту урманов Мирона не покидала тревога: как отец откупится от людей Тахы, велика ли в них память о Волчьем Глазе? Примут ли они дары или потребуют жизни? За жизнь Великого Шамана — жизнь главного шайтанщика, главного хранителя капища? Можно ли их совместить, равноценны ли они? Максим Картин никогда не был жестоким, он никогда не мучил людей... А Волчий Глаз?.. Ведь он хотел превратить Апрасинью в пустое дупло... Перед ним сгибался народ Тахы... И Мирона пронзила боль за отца, непрошеное и неожиданное раскаяние за содеянное — какие же все-таки запутанные тропы у человеческой судьбы! Апрасинья спасла его, Мирона, он спас Журавлиный Крик и убил шамана, и неужели теперь отец должен взамен отдать свою жизнь за жизнь Мирона и Апрасиньи, за продолжение рода?..

— Отец, возьми меня с собой! — шагнул к Максиму Мирон.

— Ждите нас здесь! — приказал старый Картин сыну и другим молодым охотникам.— Ждите от рождения до полной луны. Здесь начинаются земли сосьвинских манси.

И старшие ушли, растаяли, как туман среди могучих сосен.

Молодые охотники разожгли костер и выставили караульным Мирона. Вслушивается он в настороженную лесную тишину. Лес никогда не спит. В своем теле под кедровыми, сосновыми, пихтовыми лапами он согревает птичий народ, окрыляет его, дарит звонкие песни. Лес

в дуплах своих, в норах, в складках одежды своей, в ладонях, в бороде и волосах хранит жизни звериного народа, хранит жизни бесчисленных рек, их прозрачную чистую радость, хранит озера, куда по ночам падают спелые звезды. У леса тысячи душ, тысячи дыханий, тысячи жизней, и все они сливаются в одну непокойную, неспящую, бесконечно бессмертную душу. И в этой душе — душа Мирона, и душа отца, и душа кедра, под которым они раскинули свой костер, и душа белки, что уронила шишку на Мирона, и он слышит, улавливает каждое движение этих душ.

Медленно, тягуче тянулись дни. Мирон спал урывками, далеко уходил навстречу отцу, но ни птица, ни рыскающий зверь, ни ветер не приносили вести об ушедших. Мирон бесконечно верил в мудрость отца, в его разум, но тревога не покидала молодого охотника. И наконец одну из светлых, теплых ночей прорезал леденящий душу волчий вой. В тягучую песню зверя вплелось нежное курлыканье журавля, а над ними словно высветлилась тонкая синичья песенка.

— Они! Идут! — вскочил с пихтовой подстилки Мирон.— Идут старейшины!

Криком орла, гортанным клекотом ответили молодые охотники волчьему вою, журавлиному крику и юркой синичьей песне.

— Люди Тахы — наши братья! — улыбается Максим, и Мирон увидел, угадал, как бесконечно устал отец, и в него хлынули нежность, и любовь, и горячая признательность мудрому родному человеку.— Люди Сосьвы приняли дары! Апрасинья принадлежит только тебе, Мирон! И она должна принести тебе сына, продолжить род.

МАТЕРЕЙ МАТЬ

1

В разгар жаркого лета, во времена сочных трав и медовых оглушительных запахов, Апрасинья принесла Мирону сына, и не было на земле счастливей молодого Картина. Пробежала осень, отпуржила зима, и народился второй сын, а за ним третий, четвертый. Еще четыре охотника появились в роду Картиных. Нарождались дочери, и Мирон радовался дочерям, хотя не давала община на них пая ни в реке, ни в лесу. Радовался до-

черям Мирон, потому что они повторяли мать, хотя и не во всем, сохраняя, однако, обличье, черточки лица, выражение губ, походку, голос.

Дочери — молодые речонки — рвались к освещенной солнцем просторной реке, а мать их Апрасинья год от года на глазах превращалась в широкую, покойную протоку-старицу, зарастающую осокой, черемухой, тальником. Каждого ребенка она носила с гордостью, как сокровище. Она распускалась и цвела, когда на свет появлялся слабый, бесконечно дорогой детеныш. Никто бы не поверил, какой была Апрасинья пятнадцать зим назад, год от года становилась она все суровее и матерее. Все реже и реже уходила она на охоту, да и то рядом с Еврой,— не охота, а баловство, но неотступно следила за каждым шагом сынов и дочерей. Подняла и вырастила Апрасинья охотников из пятерых младших братьев мужа, поднимались и ее семь сыновей, как семь звезд — медвежат Большой Медведицы, да три дочери. Она огрубела потому, что ее дом, юрта ее, были переполнены мужскими голосами, что орали, визжали, басили, наливались соком, силой и густели.

Поднимались сыновья, и Мирон уводил их в лес, по чернотропью показывал следы, и не всегда сыновья могли угадать их, понять — голоден ли, сыт ли зверь, почему покинула свое гнездо белка, почему и зачем здесь наследила росомаха. Мирон иной раз сердился на сыновей, они казались ему неповоротливыми, неразумными. Апрасинья успокаивала мужа и подбадривала сынов, объясняя след. Она по-своему готовила сынам охоту, выпестовывала крупных няксимвольских лаек. Она любила и понимала собак, ходила с ними без страха в глухие урманы и знала не только их язык, но разгадывала темные и верные собачьи души. Она никогда не задумывалась — откуда, когда, в какие времена пришла к человеку собака, кто ее деды и прадеды, какого она роду-племени, просто Апрасинья считала, что собака вечна, она сопровождает человека с самого сотворения мира. У собаки живые человеческие глаза, у нее есть имя, она откликается на него, как откликается любой из людей, хотя у дурных людей крепче имени — кличка. А то, что говорить не может и бегает на четырех лапах,— что ж, такой у нее обычай, зато лает — по голосу можно сразу узнать, кого лайка встретила на тропе.

Апрасинья еще девчонкой, в десять зим ростом,

далеко ушла в лес от стойбища. Шла-шла и потерялась, но не успела испугаться — нашла знакомую тропу. Воздух загустел, ветер стих, и налетела гроза. Небо раскололось, загремело и пролилось рекой. Спряталась Апрасинья под кедром, а под ним на теплой опавшей хвое распластался мокрый испуганный волчонок. Вылез, видно, из логова, пока матери не было, пошел гулять и потерялся. Рычал он, скалил зубы, когда девочка протянула к нему руки. Гром уже не гремел, он стонал, словно чудище, и огненные стрелы падали рядом, и волчонок, закрыв глаза, дрожа тельцем, уткнулся девочке в колени. Так они и сидели под кедром — то распахнув, то зажмурив крепко глаза. Девочка успокаивала волчонка тихим дрожащим голоском, а он жалобно поскуливал.

«Идем,— позвала она, когда дождь утих.— Идем со мной, Серый!» Серый открыл глаза, лизнул девочке руку и задышал доверчиво и спокойно. Они оба не понимали, два детеныша, не понимали, что перешагнули границу, которую очерчивал Страх. Апрасинья бежала по тропе, обгоняя ее, мчался вымокший, но счастливый волчонок. Не подумала, однако, Апрасинья, что у стойбища ее подстерегает опасность. Собаки бросились на волчонка, едва успела закрыть его своим телом девочка. На остервенелый, стоголосый лай прибежали мужики и палками разогнали собак. Волчий Глаз две недели лечил раны девочки, и две недели рядом с ней постанывал Серый — порвали собаки и его.

Вырос Серый в могучего волка и признавал только Апрасинью и веселую и ласковую суку Халю. Каждый год Халя приносила крупных свирепых щенят, которых шаман дарил нужным людям. Однажды шаман ударил Апрасинью. Серый, обнажив клыки, бросился на обидчика, и Волчий Глаз убил его.

Наверное, она долго не забудет шамана, наверное, долго он будет приходить в ее думы, тревожить, пугать и проклинать. Странно устроен мир: самый близкий по крови человек, Волчий Глаз, кормил ее, берег, холил, выращивал, как дорогую породистую собаку, с которой можно добыть не только дорогую пушнину, но и власть. Ведь Волчий Глаз создавал ее по образу своему, не по капризу, не по душе, а по холодному волчьему расчету. Создавал волчицей, по капле отцеживая из нее нежность, девичьи радости, ласку и томительное, неясное

пробуждение женщины. Человек самый близкий по крови хотел ее убить. А самым дорогим, самым близким стал Мирон, человек других земель, мужчина другого племени, и Апрасинья, осторожно прикасаясь к плечу мужа, обрывает дыхание — как же она могла жить без него, как могла дышать, думать, двигаться без него. А если бы он не пришел в их земли, а если бы его не истоптал лось, что тогда? Нет, это боги послали их друг другу. Боги помогли ей остаться женщиной, боги остановили те темные силы, что пытались превратить ее в волчицу.

Да, да — много раз да,— она счастлива. Счастлива так, что и не верится тому — разве можно быть такой счастливой? У нее дом — большая теплая юрта. На ней красивая одежда и дорогие украшения, много посуды и пищи, у нее семья — братья и сестры Мирона, у нее есть отец, мудрый Картин. Он — глава рода, он уважаемый хранитель капища, непререкаемый истолкователь древних законов и обычаев. Как это мудро, что Максим отдал за нее выкуп. Только... Так ли мудра его непоколебимая вера в богов? Разве боги всегда могут понять пожар человеческих страстей? Жизнь богов — прямая, как копье, чистая и недосягаемая, как молния. Боги все выше и выше приподнимают небо, они хотят освободить людей от горячих желаний, хотят покоя, простоты и порядка. Но никогда боги не смогут совладать с мелким рассыпанным злом, что ежедневно рождает Земля, рождает, не задумываясь, что есть Зло и Добро.

Нет, Апрасинья — дикая язычница, она не принимает ни богов, ни духов, не принимает никого, кроме Солнца, Ветра, Воды и Огня,— вот кому она поклоняется, вот кто правит миром.

Мирон потревожил ее, толкнул легонько в бок.

— У отца потухла трубка, принеси уголек.

Апрасинья склонилась перед Максимом. Тот протянул ей трубку и, довольный, несколько раз затянулся, причмокивая.

2

Ветер упал на земляную крышу лесовней юрты — вор-кял и тихо заворочался. Лохматый он нынче, совсем холодный, дохлый. Пытался ветер просочиться сквозь бересту и осиновую дранку, но обессилел и при-

таился. Подкрался ползком к дымоходу, набрался сил и, как живой, одевшись в холодное дыхание, протек в чувал и отбросил золу.

И ожил золотом ветер в угольях.

Максим Картин смотрит в угасающий день, а тот, затихая, побурел за узеньким оконцем из бычьего пузыря. Повернул Максим лицо к верховьям, где густо в синеве наливался клюквенный закат. Тихо сказал старик любимому внуку Тимпею:

— Завтра пойдем прощаться с лесом.

Тимпей не может понять, как дедушка Максим угадывает время? Но он угадывает всегда: после его прощания лес оголяется. Тимпей проснулся рано, будто подкинуло его на постели. То закричал громко «блям-блям», ударил, словно в ботало, черный ворон-бородач на толстой жерди, усевшись над чувалом. За окном настоянная синь вот-вот рухнет в рассвет. Дед уже готов, он в праздничной чистой одежде, в широком поясе с волчьими и медвежьими клыками.

— Кушай! — старик протянул Тимпею берестяной ватланчик с сурвякой. Нет ничего на свете вкуснее сурвяки, что готовит мать Апрасинья из рыбьей муки, брусники и рыбьего жира.— Кушай, и идем!

Разве можно заставить дедушку ждать? Тимпей проглотил сурвяку, а то, что оставалось, завернул в чистую тряпицу.

— Идем! — коротко приказал Максим.

В звонкости солнечного листопада льдистой чистотой пронзительно засинели озера. Журавлиные клинья щемящей тайной колыхнули высокое, недосягаемое небо. Оттуда, из прозрачных, голубовато-дымных полос, на охладевшую землю падает едва слышный клик.

Максим поднимает потемневшее лицо к небу, Великому Небу Торума, и глаза его наполняет тихая печаль.

— Евра... любовь моя! — шепчет старый Картин.

А журавли колыхающимся клином уходят на юг, к далекому и незнаемому, проходя сквозь падающие в горизонт негреющие лучи ослабевшего солнца. Весной и осенью великим кочевьем, неведомым касланием оживает мансийское небо. Оно оживает в крике и кликах, оно становится суматошным, по-детски шумным и матерински теплым.

Застыло, окоченело небо осени, низко припало к земле, словно хочет согреться в пламени леса. Только на

востоке, в холодной пустынной дали, неожиданно тепло и ярко отсвечивают золотистые глубины разводий, прорубленные солнцем среди пепельного, застывающего неба. Тихо ползут, расползаются туманы. Листья, дрожа, в пригоршнях своих держат дождины, и скатываются те с ветвей к теплому стволу березы по шершавой коре и тяжелеют в рубцах. И тогда под шорох ветра в огрузневших дождинах жемчужно мерцает грусть.

Грусть затаилась в покинутых, остывших гнездах, взъерошенных и опрокинутых ветром. Она выглянула из опустевшего дупла, мгновением метнулась по ветвям синеватым беличьим хвостом, качнула порванной паутиной, высветила потерянным гусиным пером и лениво сдвинула камень под медвежьей лапой. Она проникла вместе с дождем в притихшую землю, в мигание звезд, присела туманами и посвистывает в крыльях проносящихся стай. Опустел лес, оголился.

— Деревья входят в сон, как люди, сбрасывая одежды,— шепчет Максим.

Беспризорно блуждает ветер, разгуливает по гривам, вороша и сгибая березы. Бьет их вытер головами-верхушками по мокрой побуревшей земле.

— Это все осень делает нарочно,— говорит старик Тимпею.— Зима теперь войдет в оголенный лес, но не одна, а в метелях, в пурге, в зеленых глазах волка. Белым горностаем придет зима, загнав зверя в норы и дупла.

Зима войдет в перезвоне льдин, в визге мороза. Алой снегириной грудью поднимается зима над волчьим воем к сполохам северного сияния.

— Я научу тебя, Тимпей, услышать и понять лес. Хранит он в себе тайны прозрения, таинство рождения и горечь угасания. В нем столько чистоты и мудрости, что не хватит короткой человеческой жизни, чтобы вызнать грозную силу леса. Я научу тебя, Тимпей, здороваться и прощаться с тайгой.

— Лес — это сказка? — спрашивает маленький внук.— Почему, дед, я вдруг хочу стать деревом? Не просто деревом, а сосной? Почему я вдруг хочу обернуться соболем или бурундучком? Или мелкой пчелой, что выпивает цветок? Почему?

— Все это просто,— отвечает старик.— Просто оттого, что дарованная небом жизнь есть сказка. Жизнь сказочнее и волшебнее любой сказки, и не лес, а чело-

век владеет даром бессмертия памяти. Это память зовет тебя стать сосной, это память зовет тебя обернуться соболем.

Тихо качнул ветвями кедр, и к ногам Тимпея грузно упала крупная шишка.

— Возьми. Это он тебе,— сказал дед Максим.— В давние времена, куда обессиленно добирается Птица Памяти, травы и деревья отдавали людям плод, семя и соки. Звери приносили жир и мясо, реки — рыбу, и дарили звери людям лишние шубы и в худые годы делились последней шкуркой — ведь они были братьями и сестрами. Ведь они понимали друг друга и помогали сберечь живую жизнь. Самые старые манси слышали от прадедов, тем передали их прадеды, что в те времена Медведь был их старшим братом, Лось — средним, а Журавль и Лебедь — младшими. Чайки и Гагары были людям сестрами, а это значит, Тимпей, для кого-то матерью — сюк, бабушкой — сянк, и положили они начало роду людей Чайки, Гагары, Гуся или Лося.

— И Кедр был братом? — с надеждой спросил Тимпей.

— Да, Тимпей, и Береза была сестрой. Она была кому-то матерью, а кому-то стала мудрой бабушкой.

— И эти времена исчезли навсегда? — с горечью прошептал Тимпей.— Все это исчезло, как утренняя роса? Растаяло, как туман? Неужели все это никогда не вернется?

— Ну что ты,— тихо засмеялся старик.— Люди ненадолго уходят из жизни. Они возвращаются в нее лесами.

3

Солнце, раскинув огненные хвосты и раскаленные струящиеся гривы, обнаженное и вскипевшее, неудержимо мчалось во втягивающую его макушку Седьмого Неба, сжигая облака и ветры. Оно уже успело спалить ночь, и та, подбирая обгорелые крылья, умирала, задыхаясь в дымящих закатах, а утренние зори выныривали из вечерних, едва окропив себя росами. Уже не стало вечернего тумана — теплые, как уха, озера, и убаюканные мелями реки, и взбухающие болота парили все дни, и пар от них не клубился, а прозрачно и зыбко колыхался, искажая бесконечно привычные очертания плеса

и омута, смягчая, как бы размазывая резкую грубость берегового обрыва в ожерелье ласточкиных гнезд. Солнце перестало быть глазом, огненным озером, оно расплескалось и заняло половину неба и подожгло другую, а та, воспаленная, больная, не падала сиянием в небо, а, задыхаясь, исходила в безмолвной, судорожной зевоте.

На обмелевшей Евре, в тихом омутке, седые, как зима, старики обучали мальчишек нырять. Голые, как камешки, мальчишки, смуглые и литые, как сосновые шишки, прыгали с высокого обрыва и с бульканьем входили в воду. Старики готовили ныряльщиков для Священного Летнего Запора, что перекинулся с берега на берег, перегородив Евру. Это был единственный на весь Кондинский край запор-ловушка, куда скатывалась и собиралась нагулянная после икромета рыба. Старики разомлели, летнее солнце разогрело остывшую к старости кровь, и та туго толкала уставшее сердце. Мальчишечья звонкость, пронзительные крики и смех едва касались стариков — они уходили в свои годы, в свои реки, в свои громы и тишину. Но видели старики, как глубоко ныряет Максим Картин, как долго он бродит по галечнику дна и возвращается на теплую отмель с каким-то новым, только что народившимся удивлением.

— Отменный ныряльщик из него вылупляется,— решили старики.— Зорко он будет хранить Летний Запор.

Рослый, широкогрудый Улька Кентин все утро дразнил ребятишек, сталкивал их в реку и скалил зубы под редкими усиками. Он нырял и, выныривая, гоготал дурным голосом. А в полдень вынырнул из реки и погрузился вновь, но так быстро, словно кто-то сильный зубами потащил его ко дну. Всплыл на миг и, широко распахнув рот, коротко и пронзительно крикнул. Максим, вытянув перед собой руки, щучкой бросился к Ульке с обрыва и успел ухватить его за длинные волосы, когда Улька как-то сломанно и дрябло опускался на дно. Когда Ульку вытащили на берег, у него были выпучены глаза и бездыханное в гусиной коже тело.

Старик Лозьвин корявыми пальцами разомкнул Ульке рот и сильно дунул в ноздри. Улька не шевельнулся. Тогда Лозьвин перекинул Ульку на живот, крепко сжал ему ребра.

— Прыгни ему на спину! — приказал он Максиму.

Мальчик подпрыгнул на спине неподвижного Ульки

раза три, а на четвертый тот вздрогнул. Улька забился на песке, из ноздрей, из горла, пузырясь, рванулась вода. И вместе с водой хлынула кровь.

— Студит его река,— прохрипел старик Лозьвин.— Запретить ему входить в реку голым. Пускай он на берегу да в лодке живет.

— Да станет так! — кивнули старики, шевельнулись и не успели погрузиться в дремучие свои думы, как пронзительно, испуганной чайкой, крикнул Максим.

— Ы-ы-у, Ёлноер! — ругнулись старики и оглянулись недовольно — почему мальчишка вспугнул их неторопливые мудрые думы?

Из раскаленного до медного сияния душного сосняка то ли выползало, то ли выплывало к реке лохматое, скрипучее существо. Максим застыл: из колыхания горячего воздуха по ломкому, хрупкому, высохшему до треска ягелю к нему приближался непонятный, невиданный старик. А может быть, то Вор-Хум? Может быть, то Вор-Хум, непостижимый оборотень? Максим закрыл глаза, погрузился во тьму и медленно раскрыл их снова. Нет, старик не исчез, не развеялся, к нему торопились старейшины, путаясь в долгополых легких дошках. Они почтительно приближались к старику, опускались на колени и распластывались у его ног, вытянув вперед руки, раскрывая ладони. Страшен Максиму неведомый старик, угасли мальчишечьи голоса, притихла река, и синеватый дымок от костра бездыханно повис в воздухе. Старик виделся мальчику как опавший, сожженный морозами и солнцем лес, даже не лес, а его обнаженные на земле корни. Но он не гляделся умирающим, просто высох от древности, остались одни витые жилы. Голову старика покрывала высокая, остроконечная, как зимний чум, шапка из гладкой выдры. Темное, словно глина, лицо старика рассекали глубокие морщины, будто трещины на шершавой коре кедра, но из-под бровей, густых и жестких, как бурундучьи хвосты, высверкивали твердо — лезвием ножа — прозрачные глаза. В ушах старика с легким рассыпчатым звоном покачивались золотые серьги — страшные чешуйчатые звери, длиннохвостые, с распахнутыми пастями и свирепыми длинными когтями. Высохшую шею старика обвивали бусы из зеленого и синего камня, и, остро разбрасывая свет, вспыхивали бусины. В цепкой, как совиная лапа, руке старик держал железную палку, изукрашенную зверями и

птицами, и заканчивалась палка острым, как клюв, крючком.

— Встаньте! — неожиданно густым и глубоким голосом пророкотал старик, и Максим поразился той силе, что обитала в немощном на вид теле.— Встаньте, сыны мои!

Старейшины живо, словно омолодясь, вскочили на ноги, приблизились к старику и уважительно взяли его под локти.

— Здравствуй, долго живи, светлый, мудрый мужчина! — поклонился Лозьвин.— Долог твой путь, великий отец! Легка ли твоя тропа, Страж Конды?

Страж Конды медленно подошел к огромному кедру, под которым тлел костер, и опустился на гладкий, выпирающий из земли корень.

— Всегда легка тропа к добрым людям,— глухо пророкотал Страж Конды и принял из рук Лозьвина ватланчик с пысой — белой, легко пенящейся брагой.— Ты высок и гибок, сын мой. У тебя твердый глаз и чистое лицо. Ты, наверное, из рода Лозьвиных?

— Да, Страж Конды! — ответил старик Лозьвин.

— Я помню твоего отца еще мальчиком,— сказал Страж Конды и отвязал от пояса замшевый мешочек, кожаную кису, где хранились трубка и огниво. Он протянул кисет Лозьвину, тот вынул трубку и осторожно принялся набивать ее табаком. Максим приблизился вплотную к кедру, и чуткие ноздри его защекотал пряный, чуть дурманящий запах.— Помню твоего отца,— повторил Страж Конды.— Он вырастал отменным наездником. Он знал лошадиное слово, разговаривал с конем, и тот покорялся ему, как туча ветру. Как сейчас живет твой отец? — спросил Страж Конды и принял из рук Лозьвина раскуренную трубку.

— Мой отец уже шесть зим охотится с верхними людьми! — ответил старик Лозьвин.— Там,— он поднял руку вверх,— там, под теплыми ветрами, он пасет табуны белопенных коней, что скачут тугими ливнями под солнечной радугой.

Страж Конды несколько раз глубоко затянулся из трубки и передал ее старикам. Те, причмокивая, глотнули пряного дыма, и глаза у них заблестели.

— Ты идешь к нам в селение, Страж Конды? — тихо спросил его Лозьвин.— Вот твои лодки, вот наши руки. Мы перенесем тебя на тот берег.

— Пусть сюда придут старейшие всех родов,— прогудел Страж Конды, и тоненько прозвенели серьги-звери.— И зрелые мужчины пусть придут сюда!

Один из стариков бросился в лодку и оттолкнулся веслом, второй вынул из костра раскаленную головешку и сунул в груду плавника на берегу. Дым высоко столбом вкрутился в дрожащее от зноя небо.

Вот тогда-то старик, Страж Конды, заметил Максима и властно подозвал к себе.

— Ты не боишься водяного зверя, ты храбр! — сказал Страж Конды.— Я видел — ты плаваешь рыбой! Кто отец твой?

— Мой отец Картин,— прошептал Максим.

— Вот ты мне и нужен! — прогремел Страж Конды.— Иди сюда!

Точно связанный, спутанный по рукам и ногам, с гулко бьющимся сердцем, приближался Максим к Стражу Конды. Старик ощупал плечи и руки Максима, приложил волосатое ухо к груди мальчика, заглянул в уши и остался доволен.

— Уйдешь со мной! — повелел Страж Конды.

Слабеющей рукой долбит и остругивает Максим Картин острым топориком кедровую стволину, что мужчины пригнали с верховьев Евры. Семь дней и еще один день он разжигал на ней костры, и негромкий, но жаркий огонь с легким хрустом поедал кедровую мякоть, доставая сердцевину. Внуки помогали деду, следили за огнем, чтобы тот не прокусил борта огромной и крепкой лодки.

О! Какая то будет лодка! Почти как маленький дом, ни у кого в Евре не будет такой лодки!

Глядите, люди, глядите! Она сейчас дымит, как огромная трубка!

Глядите, люди, старый дед обнажил у лодки бока! Смотрите, как они розовеют, какие узоры показывает могучий кедр. Дед уже заострил у лодки нос, и она стала как щука.

Но знал старый Картин: не плавать ему на этой лодке, ибо явился в его сны Страж Конды и сказал: «Уйдешь со мной!..»

«Глядите, лю-ди-и! — пронесся крик над Еврой, над теплым песчаным берегом.— О, Великое Небо! Души

покинули старого Картина, поднялись над землей и одичало бродят».

О, Милый Шайтан! Рыдайте, люди, рыдайте, дети и женщины, рыдайте, звери и птицы, рыдай, земля, рыдайте, тучи,— в верхнее царство уходит хранитель капища Максим Картин.

На крутом берегу Евры в белой девичьей опояске берез поднимался могучий кедрач. Неохватные кедры просторно раскинули тяжелые кроны, словно держат на себе задремавшую тяжесть времени. Солнечный свет полосами, широкими лентами прорывался сквозь мохнатые лапы, и, падая под ноги кедров, рождал легкую, голубоватую дымку над хрупкой нетронутостью ягеля, и высвечивал упругие, жесткие ладони кустиков брусники. В просторной осветленности, в хвойной чистоте покоилось древнее мансийское кладбище. Десяток рядов — маленьких приземистых домиков. Самой длинной была улочка Чейтметовых. От нее неподалеку начинался ряд рода Картиных со своим поминальным костром.

Близкие родственники вырыли могилу — сыновьям и братьям закон не велит прикасаться к острым вещам, чтобы не поранить души умершего. Максима Картина хоронили в той лодке, что не успела прикоснуться к вольному простору реки. Рядом с ним положили копье, тугой лук и стрелы, боевую дубинку и нож — пригодятся они хранителю капища в долгом, опасном пути в верхнее царство. На деревянных блюдах положили еду и питье, хлеб и сушеную рыбу, вяленое мясо — не голодай. Положили одежду и обувь — не мерзни. Положили трубку и табак — да пусть легка будет твоя тропа! На пять лет твой род погрузится в траур — пять душ у мужчины, и помянут их каждую поминальным костром и пиром. Да пусть навечно хранит память о тебе Великое Небо!

4

В своем доме Апрасинья уже ни перед кем не закрывала лицо — старый Картин умер, одарив ее золотыми серьгами жены и обкуренной трубкой. С утра до позднего вечера она возилась с детьми, со щенками, которых выращивала от породистых няксимвольских и вогульских лаек, с телятами от трех коров — выпаивала их ухой, куда клала мелко рубленную сочную траву, возилась с оленятами и прижившимся лосенком. Во дворе ее

три лета жили два лебедя — лебедь и лебедица, высидели яйца, вывели лебедят.

К Апрасинье прибегали в полночь, поднимали с постели, умоляли в слезах помочь роженице или старухе, что уже три дня никак не может умереть. Она зажигала свою трубку, хрипло прокашливалась, забирала сухие травы, толченые до порошка или настоянные на белом вине или на березовом соке, на рябиновом или клюквенном отваре. Возле большой избы Мирон срубил маньюкял — небольшую избушку, стены и пол которой Апрасинья затянула выделанной мягкой и гладкой берестой,— то была избушка женщины, куда она уходила рожать, отдохнуть перед родами, побыть наедине в чистоте и радости материнства. Вся избушка была забита разными травами, от любой хвори — от припадков, острого живота, поноса, судороги, от икоты, от тоски, когда человек перестает любить жизнь, когда у него вдруг затухают глаза и он гниет на корню, как береза среди болота — стоит белеет береста, а внутри труха и гниль...

— Спаси! Спаси сына моего, Апрасинья! — падает на колени женщина и раздирает ногтями лицо, вырывая волосы.— Сгорает сын мой на глазах, глаза уже сварились, и весь он как уголек.

Апрасинья поднималась из теплой постели, укрывала детей и уходила в ночь. По дороге она коротко и деловито расспрашивала, что ел, что пил, где, по каким местам бродил мальчик. Она вслушивалась в дыхание больного, осматривала и долго что-то бормотала, напевая под нос, растирала тельце сильными пальцами, перебирая и ощупывая мышцы, жилки и туго наполненные вены.

Многих евринцев спасла Апрасинья, и звали ее теперь Матерью Матерей, матерью всех живущих в деревне. Матерей Мать властно забрала в свои руки всех женщин селения, все важные женские дела они обсуждали с Апрасиньей. Одних она усмиряла тихим мудрым словом, других поколачивала за неопрятность, лень и легкий, пустой язык. Как-то подвыпивший Кирька Кентин с туманной головой наткнулся на Апрасинью, но та даже не сдвинулась с места.

— По-че-му эта сучья дочь ходит с открытым лицом? — пошатнулся Кирька, тараща на Апрасинью красненькие мокрые глазки.— По-че-му она, как росомаха, гадит в моем доме?

Апрасинья лишь усмехнулась.

— Я — сучья дочь? — густым голосом спросила она.— То говорит мне пустое дупло?! У тебя сил не хватает на продолжение рода, и жену ты пустой держишь. И на меня ты вытягиваешь поганый язык?!

— По-че-му... за-чем ты научила мою жену огрызаться? — потребовал ответа Кирька.— Знаю, когда ухожу в урман, ты садишься к моему чувалу и учишь ее... Поче-му-у?

— Потому, что ты глупый и противный, как налим! — отрезала Апрасинья.— А ну, уйди с дороги!

Кирька не мог вынести такого и замахнулся. Матерей Мать ударила кулаком по его мокрому носу, по распущенным губам, и Кирька упал в грязную лужу, где плавал собачий помет. Громко смеялись мужчины, когда добирался к своему дому вонючий, весь перепачканный Кирька.

Когда Матерей Мать появлялась на улице, проходила по ней, окруженная голубоглазыми, крупными, как волки, собаками, мужчины выходили из юрт, торопились вынести уголек из чувала, чтобы Апрасинья раскурила свою трубку. Мимо кого-то она проходила, храня молчание, с окаменелым лицом, неприступная, замкнутая, и тот знал, что недавно совершил что-то недостойное, грубое и темное. А у кого-то она принимала уголек, мягко благодарила и уходила в свои лесные поляны, где вызревали целебные травы, где из-под корней, у вскипающих родников, вырывались к солнцу сладкие стебли. Матерей Мать выводила в лес своих детей, и лес переливался в них здоровьем и силой.

Высокая, плотная, широколицая, с крупным носом и глубокими глазами, Апрасинья не сгибалась с годами, хотя умирали ее дети — девочка утонула в реке, один из сынов сгорел в лесном пожаре, другой упал с высокого кедра и разбился о тугие, скрученные корни. Три дня криком исходил мальчонка, три дня старухи молились Шайтану, жгли костры, три дня ощупывала Апрасинья тельце сына, пытаясь найти то место, где спряталась губительная боль. Она перевязала каждую поломанную косточку, обернула в мягкую замшу, в отпаренную бересту и перетянула жилкой. Но, вслушиваясь в стоны и хрипы, в прерывистое, то вспыхивающее, то затухающее дыхание сына, Апрасинья отчетливо, как в прозрачной воде, увидела в груди сына разбитое, истекающее

кровью сердце. Как остановить сердце, как заставить его прыгать, словно птенец в гнезде,— это она могла. Но как собрать сердце, разбитое на куски, она не знала.

— Манси не дано прыгать по деревьям,— говорили старики.— Манси не белка. Манси не рябчик, чтобы порхать с ветки на ветку. Твой сын не жилец, оставь его.

Как она могла оставить умирающего сына? Не могла она смириться перед собственным бессилием и торопливо смешивала разные травы, которые наделялись таинственной и беспощадной силой. В отчаянии смешивала она те травы, что губят друг друга, если растут рядом, и по капельке добавляла в целительный яд травы яд зверя, струю соболя и бобра, и медвежью желчь, и желчь щуки — но ничего не помогло.

— О, Великий Торум! О, Светлый, Светлый День! Помоги сыну моему! — заклинала Апрасинья.— Помоги, прими мою жертву.— И Апрасинья полоснула ножом овечье горло.— Прими жертву и спаси моего сына!

Сын кричал. Великий Торум молчал. Высоко до Торума — не слышит.

— Сбереги его, Земля! Дайте ему силы, Реки и Озера! Отдайте ему немного своей силы, Могучие Ветры...

И Земля, и Реки, и Озера, и Могучие Ветры услышали зов Апрасиньи, убаюкали сына и забрали в себя, растворили в себе его боль, его страх и его жизнь.

И может быть, впервые смерть сына распахнула перед Апрасиньей бездонье ее незнания, бездну ее человеческого бессилия, беспомощности, приоткрыло ей беспощадное могущество Смерти. Даже самая исступленная вера в Добрых и Злых Духов, вера в небесных и земных богов не одолеет Смерть. А кто она, что она — Смерть? Конец ли это чего-то, кого-то или начало? Ведь сколько жизней, столько и смертей. Сколько весен, столько и зим...

— Но это так страшно, когда Смерть и Тьма забирают самое дорогое! — кричит Апрасинья.— Они уводят нав-сег-да! Навсег-да! Без воз-вра-та! В каком царстве сейчас обитает мой сын — в верхнем? В нижнем? Но ведь не рядом со мной... не ря-дом?!

Несправедливо... Смерть несправедлива. Она — Зло. Она — Тьма и Злоба. Она уводит самое дорогое и никогда не возвращает. Но всегда ли справедлива Жизнь? Ведь порой она сохраняет среди людей тех, кто должен

быть волком или росомахой. Значит, и Жизнь несправедлива? Тогда кто она? Кто она — Жизнь? Женщина? Земля или Небо? Может быть, Жизнь слепа, нарождая все подряд — летающего, ползающего, плавающего и бегающего? Нарождает, потому что иначе не может, она рождает Землей, Небом, Рекой и Лесом. Она рождает каждой веточкой, листком, плодом и зернышком, каждым сердцем и кровинкой. И народила от Земли до Неба, от Неба до Подземелья. И что же, рождая, она определила срок для дыхания, для последнего глотка, для первой любви и последнего смертного часа? Или это определяет Смерть? Если это определяет Смерть, то слепа ли она? Она не подходит ведь сразу к сильному, могучему, растущему. Смерть забирает слабых. Но разве слабый детеныш или ослабевшая мать менее дороги?!

— Наверное, Жизнь случайна в своей слепоте, бесконечна в горячей крови, а Смерть холодна и зряча,— размышляет Апрасинья.— Но кроме Жизни и Смерти в мире есть что-то еще, и оно стоит над ними. Судьба? Нет, не боги, нет, не духи. Что же такое? Кто это, что метит своей тамгой любого из живущих, кто это, что определяет последний час?

Мысли и думы Апрасиньи тягучи и темны, она заплуталась в них, как в непроходимом урмане, вокруг которого раскинулось топкое болото. Она кружила на одном месте, находила едва заметную тропку, но та приводила ее в такую чащобу, через которую нельзя пролезть. Она искала ответа, а к ней доносилось лишь эхо ее собственного голоса, и это изматывало ее. Она хотела прозреть, она торопилась раскрыть в себе внутреннее зрение, что озарит ее, и она приблизится к тайне Бытия, где сверкающая, слепящая солнцем Жизнь идет по земле с неотступной тенью Смерти. Зачем нужно Апрасинье это зрение, для чего нужно ей сокровенное зрение?

— Для детей,— отвечала она себе.— Для сынов и дочерей. Для манси земель Конды и Сосьвы. Все труднее и запутаннее жить. Но почему — непонятно.

5

Медлительно, как старость, тягуче протягивается зима. Льдистые ветры бьются в стены изб, повизгивает снег под полозьями нарт и саней, в непроглядных ночах

дико всхохатывают вьюги. Голубоватые, почти прозрачные звезды низко опустились к оголенным березам и затухли в кронах сосен, отбрасывая прозрачные, дымчатые тени. В полдень — багровое, воспаленное солнце и белое одиночество скрытой реки. Зимой река Евра кажется пустынной, и только по утрам, когда из морозного тумана выбирается солнце, по бесформенным глыбистым торосам зыбко пробегают ало-голубые блики, то высвечивая аспидно-черного ворона, что железным клювом терзает желтобрюхого окуня, то обливая клюквенным соком красногрудых снегирей. А в пасмурные, неясные дни из сумеречной расплывчатости долины тащило беспредельным одиночеством и тягостной скукой оцепенения. Обледенелые глубокие тропки, вихляя, ведут к прорубям, над которыми невесомо поднимается пар, а под паром плещет черная вода — густая, зловеще таинственная, как горло Водяного Зверя, что часто забирает мужчин маленькой Евры.

— Зима, наверное, не приходит,— посасывая трубку, Апрасинья скребком снимает мездру с соболиной шкурки.— Конечно, она не приходит, она просто прячется под землю, прячется глубоко, таится так же, как таится в нас старость.

Нет, она не старела, Апрасинья, только грузнела, как матерая медведица. И еще иногда ненадолго терялась бездонность ее взгляда, он затухал, как на ветру затухает колышущийся огонек. Иногда в шуме, в визге и смехе дня среди детей, что ползали по ее спине и хватали за ноги, держались за платье, раскрывали свои звонкие, ненасытные, зубастые рты, она вдруг застывала, словно останавливалась с разбега перед неодолимой стеной. Мир терял звуки, цвета и запахи, глохло все вокруг нее, и внутри пустело, как озеро среди камней, с которого только-только поднялась лебединая стая, обронив белоснежные перья. В нее проникала голодная тоска, и она погружалась в ее беззвучность, в немоту и не видела ничего перед собой. Ей было тесно, она была слишком громадной для Евры. Как будто было все — и Мирон, фартовый отважный охотник, заботливый, любящий, ласковый и добрый, и сыны, крепкие, как кедры, и дочери, и дом, куда не заглядывал голод и болезни, и пришло к ней уважение, и мудрость, и невидимая власть Матери Матерей, и проникновение, пусть в малые тайны бытия,— но чего-то ей все-таки не хватало. Но —

чего? Она почти угадывала, приближалась к разгадке, но вдруг глохла и слепла и уходила далеко от земли, от себя, от детей, от Евры.

Может быть, она сходила с ума, наверное, разум отступал от нее, и она погружалась в то непонятное, что длилось миг, а тянулось вечностью. И все искажалось, набегала волна на волну, опускалось до дна, поднимало ил и муть, дрожало, и сон нельзя было отделить от яви. То Вор-Хум, то Вор-Люльнэ принимались мутить разум Апрасиньи. Крепка она, но рушатся и крепкие берега, и проваливается земля, и падают на землю звезды, и бесится вдруг зверь, и тонет иногда рыба. И крепкий разум может замутиться, как луна в пепельных тучах.

Возле избы Мирона, высоко над землей, на трех срубленных соснах, его дед поставил священный шайтанский амбар. Там на расстеленной медвежьей шкуре покоились Акынь — идолы, родовые божки, что приносят счастье и удачу. После охоты Мирон и его братья приносили жертву Акынь на медном блюде, подносили божкам соболиную шкуру, кусочек сохатины, белую тряпочку или лосиные рога, и те короной поднимались над амбаром. На стенах шайтанского амбара, на рысьих и бобровых шкурах, висели священный лук и стрелы, жертвенные нагрудники, украшенные бисером, золотыми и серебряными пряжками. Под страхом смерти древние законы запрещали женщине дотрагиваться до священных стрел и кованых чаш.

«Иди... иди в шайтанский амбар,— услышала в себе тихий голос Апрасинья.— Иди... иди, милая женщина. Отнеси Акынь глухариные крылья. Иди, иди, Апрасинья, в шайтанский амбар. Примерь, примерь, Апрасинья, жертвенный нагрудник».

— Ай-е, да кто это? — вздрогнула Апрасинья и оглянулась. В избе никого — пусто. Старшие дети ушли в лес за хворостом, средние дети бегают по сугробам, малые дети спят.

Заглянула Апрасинья в чувал — тихо потрескивают дрова, покойно поднимается пламя.— Наверно, показалось.

Присела у огня Апрасинья, потянула к себе невыделанную шкурку, а внутри нее вновь раздается голос, но уже погромче:

«Иди... иди, Апрасинья, в шайтанский амбар. Там

таятся тайны. Там ты прозреешь, узнав знание мужчин... иди... иди»,— упорно толкает ее в спину голос.

Нехорошо стало Апрасинье, словно кто-то неведомый ей скрутил ее голос, вошел в нее, как угар, как отрава, как дурной глаз. Заарканил ее голос и потащил к двери. Ударилась о стенку Апрасинья, сбросила с себя дрему и дрожащей рукой закрыла дверь на запор. О, Белый Светлый День! Щох-Щох! Да что такое? А голос все громче и настойчивее зазывает ее в амбар. И не помнит она, как распахнула дверь, как шагнула за порог, как тело ее билось, словно распоротая рыбина, когда по глубокому снегу ползла она к священному амбару.

С высокой лиственницы увидел ее черный, смоляной Глухарь и, раскинув красные брови, крикнул громко:

— Остановись, неразумная женщина! Ты ползешь к своей гибели!

С трудом, опустошенная и потрясенная, вернулась в избу Апрасинья. А на другой день, когда в чувале весело потрескивал сушняк, Апрасинья вновь услышала в себе ласковый шорох-шепот:

«Добрая ты, хорошая ты женщина. Ласковая ты мать, Апрасинья. Верная ты жена. С нетерпением ты ждешь из урмана мужа своего Мирона. Баранины ему свежей наварила, ой, да как вкусно пахнет! И голову баранью варишь — нет ничего на свете вкусней бараньей головы»,— и кто-то сочно причмокнул, да так вкусно, с наслаждением причмокнул, что у Апрасиньи рот наполнился слюной и засосало в животе, так ей захотелось утолить голод.

— Ай-е! Ай-е! Щох-щох! — в бреду, в колыхающем тумане Апрасинья по-настоящему испугалась.— Да как так? Не бросала я в котел баранью голову, не бросала. Ты видишь, боже небесный?! — оглянулась — опять никого нет, заглянула в чувал — в круто кипящей колташихе варится баранья голова. Бьется голова о стенки котла, выпучила на нее мутные, немигающие глаза, шевелит тонкими губами, раздувая ноздри.— Астюх! Ай-е! Торум вайлын — ты видишь, боже небесный! — вскрикнула Апрасинья.— Я же не бросала в колташиху баранью голову!

«Съешь... ешь, Апрасинья, голову,— настойчиво и твердо повелевает голос, и нарастает он в ней, наливается, будто выпивает ее кровь и раскачивает сердце.— Ешь, ешь».

И легко ей вдруг стало, легко и тревожно, поднималась она, словно птица в полете.

«Ешь, ешь баранью голову!» — твердит голос, дятлом бьет в висок, шипит в чувале угольком, гудит из дымохода — переполнил ее тот колдовской голос.

Страх тугими путами стянул тело Апрасиньи. Медленными кругами двигается она по избе, а круги сужаются, сужаются и подталкивают к очагу, где в колташихе выпученным глазом смотрит баранья голова.

«Ешь!» — приказал голос, острый, как нож Мирона.

Схватила Апрасинья голову, поставила в берестяное блюдо, разделала ножом и жадно бросилась поедать ее, да так жадно, словно все у нее изголодалось — пальцы, глаза и рот. И зубы словно стыли и дрожали от голода, рвали мясо и жилки. Но только она проглотила бараний язык, как загудел огонь и застонала земля, изба задрожала, крыша приподнялась, как лодка на водоверти, и с грохотом опустилась. Дверь в избу со стоном тягуче заскрипела, и послышался противный до тошноты голос:

«Ай-еее-ай-е, Апрасинья! Одна ты ешь, почему? Отчего ты меня не зовешь?»

— Если пришел, садись за стол! — не отрываясь от бараньей головы, ответила Апрасинья. Повернулась она к двери и никого не увидела. Только что был день, а теперь в распахнутую дверь заглядывает ночь, а земля мелко-мелко дрожит, как озябшая в проруби женщина. И увидела Апрасинья на пороге избы сморщенного старика длиной с зайца. И это был он, Аньсих Сисьва Пялт — Старик Длиной с Зайца. Перешагнул он порог, сгорбленный, морщинистый, в клочкастой заячьей шубе, и медленно-медленно, ползуче достиг стола. И вот он уже прыгнул за стол, а уши еще на пороге. Потянул их старик с силой, приподнял и кинул на лавку. Апрасинья поднялась, перестала жевать.

— Астюх! Холодно мне! — воскликнула Апрасинья.— Что это за нечистый дух?!

А Старик Длиной с Зайца, что жил в болотной кочке, стряхнул с себя сухой, колючий мох и поднял на Апрасинью тяжелые, как клюква, глаза. Схватил длинными, когтистыми пальцами баранью голову и впился в нее острыми зубами. Верхняя губа у Старика разошлась, распахнулась надвое, как штанины,— одна потянулась к левому уху, другая подпрыгнула к правому.

Нет, не по-заячьи урчал Старик, когда разгрызал голову и глотал с костями. Словно в нее, в ее тело вгрызался Старик, словно ее кости раскалывал Аньсих Сисьва Пялт. Проглотил голову Старик, облизнулся и отер губы длинными ушами. Швырнул уши на лавку, а они тихонько шевелятся, будто что-то тайно рассказывают друг другу.

— А ну, Апрасинья, давай сюда колташиху! — грозно повелел Старик Длиной с Зайца.

Проглотил Старик мясо, что готовила она для мужа и сыновей, костей не оставил, и рыбу сушеную — урак проглотил, и полный берестяной кузов брусники в пасть раздвоенную, как штанины, опрокинул. Встал из-за стола, тряхнул ушами так, что с крыши снег осыпался, схватил с полки санквалтап — многострунный лебедь и заиграл. Запели струны перелетными птицами, речными струями и лесными травами запели струны лебедя. Музыка, как огонь, как обволакивающее тепло в замерзающего в сугробе, вошла в Апрасинью, закружилась голова, ноги сами понесли в пляс. О, как плясала Апрасинья! Как комарик перед дождем, как дождик над озером, как озеро перед речкой, как река на перекате. Плясала Апрасинья, распахнула руки, и кружилась она, кружилась, а Старик Длиной с Зайца прихлопывал ушами, да так громко, словно наотмашь плашмя бил веслом по гладкой засыпающей реке, и все играл, играл, и раскаленным углем разгорались его глаза — задумал он погубить Апрасинью. Поднялся он над столом клочкастый, в драной шкуре, что свисала с выпирающих ребер, видно было, как в те ребра крадучись бьется черное сердце. У Старика огнем вспыхнули глаза, он распахнул клыкастую пасть и протянул к Апрасинье кривые когти. Тьма охватила Апрасинью, упала она навзничь...

Долго, почти всю зиму, болела Апрасинья. Никто и сама она не знала, что это за хворь, отчего вдруг стирается и мутнеет разум, отчего вдруг изнутри поднимается зовущий голос, отчего человек вдруг не узнает себя.

И наверное, она бы угасла, истлела, если бы не Мирон. Всем существом своим от почуял беду, тайную, невидимую болезнь и, не расспрашивая ни о чем, увез Апрасинью в глухую охотничью избушку. Там он сам готовил пищу, сам разводил огонь, но каждое утро

усаживал Апрасинью на легкие нарты и возил по звериным тропам. Апрасинья оживала медленно, но, оживая, стала другою — покойной и медлительной.

— Я повторяю то, что повторяла, наверное, моя мать... Повторяю то, что должна повторить любая из женщин. Но ведь я чувствовала, я знала, что во мне зрело то, чего не было у других. Хожу по извечному кругу... Но он маленький этот круг — только Евра, маленький, как прорубь, как воробьиный глаз. Разве я чем-нибудь украсила жизнь, чем-то осветила ее, распахнула и вызнала тайну — ради чего мы живем? Почему мужчина считает злом то, что мы принимаем как благо? Что же все-таки Зло и Добро?

Но громко кричали дети, громко лаяли собаки, гулко гудел сосняк, и плескала река. Апрасинья возвращалась в Евру, в свою юрту, и отдавалась земным заботам, но догадывалась, что где-то недалеко, может, рядом с ней, но не на виду, таится горячая и страстная жизнь, полная смысла и значения.

РУССКИЕ ХОДОКИ, БЕГЛЫЕ САМОХОДЫ

1

Брал с собой Мирон Апрасинью на ярмарки. Она готовилась к ним заранее, сдерживая нетерпение и радость,— редкий мужчина брал свою жену в разноцветную, горячую круговерть ярмарки.

Нет, то были не торжки, то открывалась сказка. То было пиршество, распахнутость, необозримость и бездонность тайги и рек, дары земли и солнца, груды сказочных богатств других земель.

Просторно, лихо, хмельно и богато на площадях Верхотурья и Ирбита, Пелыма и Гарей раскидывались звонкоголосые, разноязыкие ярмарки. Из таежных урочищ, с верховьев Конды, Пелыма и Туры приезжали охотники-манси с длинными ножами у поясов. С обских песков, с Ваха, Казыма и Северной Сосьвы с невозмутимым спокойствием и достоинством являлись охотники и рыбаки ханты, татары с Иртыша и Приишимских степей, черноликие бухарцы из Тобольска, коми — зыряне и пермяки, вотяки, чуваши и мордва стекались на ярмарки, каждый в своей одежде и обычаях. Оленеводы, зверовики-соболятники, медвежатники, гуртовщики,

укротители диких коней, рудознатцы, кузнецы и золотых дел мастера, скорняки и гончары-скудельники, резчики по дереву и металлу раскидывали в рядах свой товар.

У евринца на ярмарке кружилась голова, колотилось сердце — все притягивало, тревожило и радостно пугало: и празднично гудящая, глазастая, языкастая, тысячерукая, локтистая толпа, что по-доброму оскаливала зубы и хитро прищуривала глаза, и звон колоколов, и ржание коней, и сотни густых запахов и нечетких металлических звуков, и буханье молотов о звонкую наковальню, и пронзительные крики офеней и коробейников.

Вот он, сладкий, хлебный ряд,— бог ты мой! пряники печатные, медовые, маковые да бублики, баранки и сушки, калачи и куличи, леденцы и сладости, пироги с рыбой — муксуном да нельмой, пироги с мясом, ягодой, грибами и тут же — сизые горы лука и чеснока, желтые горы репы и брюквы, морозной белизны капусты. А вот возы с салом говяжьим, а сало-то в бочках, кадушках, лагунах, ушатах, сало свиное да медвежье, сало баранье — в караваях, шарах, масло коровье — не масло, а спелые тебе луны глядятся из блюд и мисок. Купцы и торговцы сало, масло покупают-продают возами, а конопляное, ореховое — из кедра, льняное и подсолнечное — кадушками да бочками. Мед — невиданное, странное лакомство для тайги-конды, густой, тяжелый мед в кадках, в берестяных чуманах и туесах, в горшках, в деревянных ведрах. Сусла, квасы, хмельная, пенистая медовуха-брага, парящие пельмени, пышущие жаром гречневые блины, горячие шаньги — господи! чего только не раскинулось в рядах у кипящих ведерных самоваров! На разные голоса, разными языками зазывались на пиршество, обильную жратву и питие люди, и поглощались пирожки и кулебяки, расстегаи и колбасы. А рыбы-то... рыбы! Тяжелые пласты карасей отливают густой позолотой, груды желтоглазого окуня и язя, щука в поленнице, обская селедка-ряпушка да сосьвинская селедочка «тугун» — царская рыба в бочонках, нежная да сладкая. Со всех бескрайних краев свезли промысловики рыбу — с Северной Сосьвы, Иртыша, Тобола, Оби навезли осетров, да живьем, да семгу с Печоры, да омуля с Тазовской и Гыданской губ, нельму с обских песков, подводы с красной и черной икрой. А рядом — горы мехов, пышные, легкие, и казались они теплыми,

отдавали они блеском и чистотой. Связки белок, горностая, выдры, соболя, куницы и кидуса, шкуры медвежьи, росомашьи, лосиные и волчьи...

Апрасинья глядела во все глаза, слушала во все уши, чуть прикрыв лицо платком — ей вовсе не страшно, если русские да татарские мужики видят ее глаза и губы, пущай смотрят, ее не убавится. Но, слушая, не все понимала, видела — не во все верила. Попробовала мед — слад-ко-о! Взяла детям, а евринцы принялись ворчать на нее — только денежку испортила.

— Я брусники наемся, а Мирону малины запасла,— отрезала Апрасинья.— А дети наши никогда мед не лизали. И не лизнут, ежели евринец за полушку удавится.

— Эт-то я-то удавлюсь?! — поразился Илья Чейтметов.— Ну, Апраси-нья! — И купил, не торгуясь, самый пузатый и самый жаркий сияющий трехведерный самовар.

— А я бисеру накупила,— похвасталась Апрасинье жена Кентина и развернула тряпицу, где сверкал разноцветный бисер.

— Это здорово,— ласково ответила Апрасинья.— Когда-нибудь великий бог — Торум наградит тебя сынами, а сейчас учи девок своих узорам, а это моим сынам и мужу,— с затаенной гордостью сказала Апрасинья и вынула из кожаной сумки тонко высверкивающие, голубоватые, как льдинки, ножи.— Мирону моему подарок!

И когда женщины вокруг хватали ткани, зеркальца, иголки и ленты, Апрасинья покупала топоры, суровую нитку, дратву, свинец и порох.

— Как мужик! — щебетали щеголихи, протягивая серьгу через ухо.

Апрасинья с любопытством рассматривала русских попов с длинными волосами, даже заходила в сверкающую огнями церковь и слышала рев диакона, но ничего не поняла. Ее ослепило, ее оглушило, напугало, но не внушило трепета. В Пелыме ее больше поразила лавка с деревянными расписными ложками и сверкающей посудой, и два дня она мучилась без сна, пока не решила попросить Мирона купить ведерный самовар и огромное медное блюдо — не устояла ее душа перед такой невиданной роскошью. А то, что ей рассказывали о Христе дьячки, пономари, богомольцы, сознание не принимало, все скользило мимо, как талая вода в открытую реку.

В самой вере запретов-грехов было во много раз больше, чем в язычестве, и все какие-то мелкие грехи-грешочки, словно рыбья чешуя — меленькая, обильная и прилипчивая. Как — человек с ног до головы грешен? Почему он рождается из греха? Великое таинство нарождения, цветение и зачатие плода — греховно? Да пропади пропадом такие боги и их служки, если они проклинают человеческую и материнскую любовь.

— Грех,— фыркнула Апрасинья,— любить мужчину — грех... Любить-то грех? Любовь страшнее огня и сильнее воды. Она громче грома и тише тишины. Все живое выходит на любовь. На зов волка выходит волчица. Трубит лось, и среди диких скал бьется олень за свою важенку. Медвежьим ревом ревет любовь на медвежьих кровавых свадьбах. И она — грех?.. Нет, женщина все-таки крупнее и счастливее мужчины,— рассуждает Апрасинья.— Ей дано больше — не только счастливость любви, но и счастливость рождения ребенка. Женщина счастлива, и, значит, она — грешна?!

Не поняла, не приняла душою Апрасинья постные, обескровленные заповеди церковного бога, но почуяла в них холодную опасность. Дун-дун-дун, дон-дон-дон... дин-дин-дин...— в неустанном, монотонном, ежедневном проникновении эти заповеди, расплывчатые повеления словно истачивали костяк души... Бог даст, бог возьмет, бог спасет — он милосерден, он велик и всемогущ, он покарает и наградит царствием небесным... А что же сам человек?

— Нет,— отвергает Апрасинья.— Это вера людей, потерявших знание о себе. Вот сама — что я знаю? Знаю я охоту. Маленько знаю зверя, рыбу, птицу. Могу кого-то приручить для хозяйства. Знаю травы и могу, хоть не всегда, помочь человеку. Знаю оленя и его детеныша. Знаю сеть, куда и как ее забросить. Брось меня одну с детьми, без Мирона, найду огонь и выживу. Другого я ничего не знаю. Но знаю одно — как выжить! Сегодня, завтра и много дней вперед. А дальше не знаю... Наверное, не надо того знать, ибо, узнав, можно бросить жить сегодня...

И сама не зная почему, по какому-то внутреннему движению она жалела русских женщин, тонколиких, изможденных, в темных, вдовьих платках, в скорбности застывшего горя. Русские женщины приходили из Леушей, из Нахрачей, приходили они из Пелыма, за сотню

немереных верст. На узких спинах, на узких плечах, завернув потертые монетки в узелок тряпицы, шли они и тащили за плечами короба и узелки, мешки и мешочки с солью, с крупой и сахаром, порохом и дробью, чтобы обменять у фартовых охотников на сушеную рыбу — урак, на сушеное мясо. Не за пушниной шли эти женщины, не за прибылью, не за выгодой они шли — крупу меняли, и дробь, и чай, и муку. У них были тягучие слова, тягучие, словно стон, песни и сухие горячие глаза. А иных Апрасинья презирала — те торговались. Они бились за каждую полушку, хватали мужчин за шабурины и падали на колени. Они молили и заклинали своими богами: «Дай рыбы! Дай мяса!» А мужчины словно не понимали по-русски, хотя ездили на ярмарки. Мужчины знали по-русски, и уже многое знали — с кем торгуешь, перед тем не падай, не молчи вывернутым пнем. Купец — тот часто и не торговался, глядел в глаза добро и весело. Просто никто еще не знал, что он уже купил все на корню, оптом. Купил даже завтрашнюю, еще не добытую шкурку, купил жирующую на плесах рыбу.

...Менялась жизнь. В прежние времена манси почти не знали, что такое деньги. Держали в руках монетки, разглядывали двухголовую свирепую птицу. Пересыпали в ладонях монетки, на которых проступало чье-то лицо, и не понимали, какая же сила затаилась в звонких, как льдинки, металлических кружочках. То, что стояло за монетками, все время менялось: вчера за монетку можно было купить пуд соли, а сегодня лишь двадцать фунтов. Постоянной ценностью, постоянной мерой оставалась пушнина, и она гнала манси в неизведанные, заповедные урманы, и она приводила сюда русских купцов. Ох, как она была дорога при отце Максима! Но разве купцы платили охотнику полную цену? О, Великий Торум! Ты же видел, боже небесный, какие крохи, какую мелочь давал купец за драгоценную шкурку соболя, бобра и выдры! Почти вся пушнина, что добывали охотники-вогулы, шла в уплату ясака. Но ведь сколько шкурок обманом отбирали мелкие служивые люди. Тот «поклонный ясак» шел за пазуху сборщиков, дьячков, чиновников. Нет, конечно, не все они воры, но когда и половина людей ворье, жить страшно. О! Сколько уходило пушнины в жадные руки, утекало из казны.

А теперь на российских просторах все больше и боль-

ше нарастали сила и могущество рубля. Ясак можно было вносить или пушниной, или деньгами. И тяжел был тот налог, камнем падал он на плечи и многих валил с ног — по полтора рубля с каждой ясачной души. Зверя повыбили в ближайших урочищах, и тот пугливо прятался в труднодоступных урманах, охотники все дальше уходили из селений, а все лето без отдыха готовились к охоте — ставили охотничьи избушки — вор-кял, готовили слопцы, кулемки, западни; вьюком, а в основном-то на плечах затаскивали в глубину урманов продукты на зимний сезон. Целых сто пятьдесят копеек с каждой ясачной души! А в Тобольске — не в Пелыме и не в Самарово — пуд ржаной муки стоил одиннадцать с половиной копеек, пшеничной — двадцать две с половинкой, пуд говядины — сорок пять, а пуд сливочного масла — один рубль семьдесят копеек! Вот что такое ясак в сто пятьдесят копеек, а когда в семье восемь — десять душ, а кормилец один с двумя-тремя помощниками из старших сынов,— нет, не останется ни одного свободного дня, все проглотят тайга, лес и болото. И год от года тяжелел и грузнел ясак, все труднее платить его, все глубже погружается в долги манси, все крепче сети торговцев и купцов. Торговцы все чаще приходят в Евру, но у каждого разная цена за шкурку...

— Почему, зачем манси платят ясак Белому царю?! — не однажды спрашивала мужа Апрасинья.— Это жертва земному русскому богу? Почему?

— Потому что жадный он, ненасытный, как Виткась — Обжора,— отвечал Мирон.— Все готов пожрать, как Виткась — Пожиратель Берегов.

— Да резве может один человек пожрать столько?! — удивлялась Апрасинья.— Какая же пасть у него, какая утроба?! Тем, что он берет из тайги, из рек и озер, можно накормить многие народы.

— Не знаю, какая у него пасть,— устало ответил Мирон.— Вон идет Ондрэ-поляк. Спроси его, только, наверно, не скажет — царь ему руки-ноги ломал...

Привыкли уже все в Евре к беглому Ондрэ. Молчалив он, но знают люди: много он перенес и повидал.

— Ондрэ, скажи, за что мы платим ясак русскому царю? — недоумевает Апрасинья.— Почему год от года ясак все тяжелее? Почему у царя такая пасть, что пожирает всю тайгу и реки?

— То пасть не одного только царя,— ответил

Ондрэ.— Целая у него стая. И в этой стае не люди, а волки... Царь тебе юрту поставил, Мирон? — и усмехнулся Ондрэ, словно насторожил хитрую западню.

— Нет, юрту мне царь не ставил. Отец и дед ставили.

— Наверное, он тебе коней подарил? Наверное, он тебе ловушки и капканы по урману раскидал?

— Да, царь тебе капканы по урману раскидал? Наверное, царь тебе речку Евру в берега вложил, наполнил живой рыбой? — зашипела, как рысь, Апрасинья. Сразу поняла она и побежала по следу Ондрэ.

Молча смотрит на Апрасинью Мирон, не понять ему, чего хочет его женщина.

— Нет, Евра извечно живет в своих берегах,— отвечает Мирон.— О том знают все — не может человек сотворить реку!

— Царь народил тебе тайгу и наплодил в ней зверя? — загремел Ондрэ-поляк.— И земли Конды и Пелыма тоже сотворил царь? Он кормит, одевает, он лечит твоих детей?!

Молчит Мирон. Верно, зачем ему такой царь, которого он сроду не знал, не видел и не хотел знать и видеть. Зачем ему такой царь, если не он сотворил тайгу, не он наплодил зверя. Зачем ему царь, если есть Шайтан-Пупий, невидимый бог?

— Род царя и приближенных его старейшин не в два, не в три, а наверное, в семь раз больше, чем весь лесной народ манси,— задрожал, зажегся Ондрэ.— А род его главного шайтанщика, род церкви, семь раз по семь больше всех народов Пелыма, Конды, Сосьвы, Оби и Казыма. А слуги? А стража? О, пся крев! Разве хватит у народов сил платить ясак всей этой ненасытной стае? Царские верные слуги есть и среди русских, и среди татар, и среди поляков, и среди манси. И отнимают они не только пушнину, мясо и рыбу. Они избивают мужчин, они насилуют женщин и продают людей, как скот, а из рабства рождается только раб, смирный и дряблый, как снулая рыба.

Не единожды рождались и в Мироне такие мысли, но еще смутно, как тени на вечерней заре, и скользили мимо, не цеплялись кривым сучком — протекали те мысли сквозь него, как ручей в дырявую морду — кямку. Он, Мирон Картин,— черный ясачный человек. Навечно, навсегда, совсем? Ведь он свободен в тайге, в реке, на

озере? Ведь он свободен, когда говорит со своими богами и те выслушивают его, ведь он свободен среди евринцев. Да, свободен, пока нет царских слуг, пока не пришла пора платить ясак...

И, словно увидев его мысли, Апрасинья безжалостно и тяжело сказала:

— Ты, Мирон, для меня самый дорогой, самый родной человек, но ты лесной человек, ясачный вогул. Судьба твоя — работать и лесовать на Белого царя, который на весь твой народ смотрит, как ворон на падаль...

— А что же делать, Апрасинья? — помолчав, проговорил Мирон.— Что делать, пришлый Ондрэ? Ты должен знать ту власть, что держала тебя в железе, как дикого зверя.

— Наверное, и русские жили когда-то так,— ответил Ондрэ. Он было зажегся, а сейчас остывал, говорил тяжело, держась за сердце.— Наверное, многие из людей русских охотились в своих урманах, вскрывали землю и вынимали из нее плод. Но среди них незаметно появились те, кто захватил власть, вызнав тайну, как править народом. А чтобы править народом, нужно Высшее Знание. И оно, Знание, нужно для того, чтобы стать свободными, не покоряться насилию. Мирон, ваши дети должны узнать тайну знака грамоты. Апрасинья, ваши дети должны знать счет! Тогда они узнают, что находится в глубинах рек и земли, кто живет в дальних странах. В познании — радость и свобода! Вот что нужно делать — выходить к свету из темных урочищ!

2

Две зимы тому поселились в Евре два самохода — беглые люди. Откуда они бежали, не сказывали, махали рукой на восход солнца и, сцепив зубы, отвечали одно: «Каторга...» И показывали изрубцованные спины. На запястьях — отпечаток железных браслетов.

— За што тебя в железо одевали? — спросили старейшины, со всех сторон оглядев изодранного, опухшего от гнуса высокого самохода.— Пошто как волк на цепи сидел?

Беглый вытянул длинную, искусанную мокрецом шею, натужно сглотнул слюну, оглядел настороженную, не-

доверчивую толпу. Евринцы окружили самоходов молчаливой изгородью, дымили трубками. Русские мужики приходили в Евру каждое лето, но ватажкой, плотной кучкой, облавливали дальние озера и, заготовив рыбу, кедровый орех, а кто-то и добыв дегтя, спускались по Конде на широких неводниках, иногда ставя парус. Но эти двое не за рыбой, не за дегтем пришли — просят поселиться... Ушли с каторги, а каторга — о! Из волости начальники приезжали, грозили штаны снять и выпороть того, кто беглым кров дает. Да после того и лица не покажешь... А эти с каторги убегли, помощи просят, но кто знает, что они натворили?

— Пошто как волк на цепи сидел? — повторили старейшины.

— За людей! — ответил высокий самоход.— Людям хотел помочь, крестьянам. Без земли их оставили, ясаком задавили... Глаза хотел открыть, а меня в Сибирь. И его,— показал он на своего товарища.— И его за то же...

— За людей...— колыхнулся сход.— Ясаком задавили... Помочь хотели — и за то на цепь?

Долго шумел сход. Между мужчинами налимом скользил круглолицый Кирэн — самый богатый он в Евре — и без умолку сыпал словами:

— Стражники придут, да! Урядник прибежит, да! Пороть станут, да! Они кто нам? Нет, не пускать! Пускай в другую деревню идут.

— Больные, совсем хворые люди попросили помощи,— поднял голос Мирон.— Крова, огня, пищи... Люди Конды и Евры никому не отказывали. Нет у нас такого обычая! Так я сказал.

Селянский сбор после горячих споров позволил самоходам поселиться на самом дальнем краю Евры, выделил им пай в реке, указал место, где построить избу. То была неширокая поляна, что открывалась ладошкой среди корявого березняка, а рядом раскинулось моховое, пушистое болото. Из болота вытекало два негромких ручейка, но несли они в себе чистую, процеженную через ольху и черемуху воду. Вот там дали беглым место и сказали:

— Появятся стражники — в Евре залают собаки. Тогда идите в лес. Мы вас не знаем. Скажем — живут просто так! Как птички живут.

— Совсем птички! — меленько засмеялся **Кирэн,**

словно дробинками хлыстанул по листве.— Это такая птичка... шею тянет, оглядывается, как лебедь.

— За что же русский русского бьет? — потягивая трубку, спрашивала Апрасинья высокого, темноусого самохода.

Тот сухо замерцал темными, ночными глазами и ответил резко, словно ножом протянул по железу:

— Белый царь и русских бьет, и не русских — всех, кто ему опасен, кто наперекор... А я не русский. Поляк! Анджей! — И Апрасинья уловила в его голосе столько тоски, что ей стало не по себе.

Темноусый повертел головой, словно освобождался от ошейника, без улыбки глянул на бегающих по молодой траве ребятишек.

— По-ляк?! — выдохнула Апрасинья.— Онд-же-ей... Ондрэ... Как так, почему ты не русский? Морда у тебя вся русская,— удивлялась Апрасинья.— И волос длинный, как у попа.

— Пся крев! — плюнул Анджей и отвернулся, забормотал быстро, словно шипел.— Иезус Мария... Какой такой поп, я врач... доктор... ну, лекарь, понимаешь...

— Ле-карь? Ага. А сам весь драный, в коросте, совсем сдохнешь... Ну, а ты кто? Тоже, поди, не русский?— рассмеялась Апрасинья, разглядывая круглолицего, голубоглазого, чуть конопатого мужика с широченными плечами.

— Га! Га! — оскалил белые крупные зубы коренастый мужик.— Я з Украйны...— и чему-то своему засмеялся.— Мыкола я, Мыколка.

— Хохол он! — вставил Анджей и замерцал темными глазами.

— Кто он такой — хо-хол? — пыхнула трубкой Апрасинья. Она обошла вокруг Мыколки и неожиданно для всех ударила того ногою под зад. Мыколка не пошатнулся, лишь оскалился.— Вовсе справный мужик! — решительно заявила Апрасинья.— Зачнешь баб наших портить — убьем. Женись.

— Давай жену! — захохотал Мыколка.— Не пустую давай. Пущай сынов родит! Плотник я и столяр, настрогаю самоедиков.

— Строгай! — позволила Апрасинья.

Не знала Апрасинья, что такое каторга, хотя жила в ней много лет, но то была ее материнская, выбранная ей самой каторга. А что она, каторга, для мужчин?

Та каторга, о которой говорили как о великом непрощеном злодействе?

— Ты, Ондрэ, кого же убил? — спросила Апрасинья.— Шамана своего? Или чужого для тебя шамана? Скажи мне, а я отвечу всем женщинам Евры, что есть каторга!

— Га! — хохотнул неунывающий Мыколка.

Ондрэ курил кем-то поданную трубку, кашлял надсадно поломанной грудью и, хрипя, как запаленный конь, ответил:

— Каторга... Она не за убойство лишь. Она, как судьба, каждому за свое. Мне за понимание...— и надсадился, закачался, ломаясь вперед-назад в потоке кашля.— Ты, крупная вогульская женщина, жизнь нюхом чувствуешь?!

— Я, Апрасинья, Журавлиный Крик, чувствую, как пахнет падаль. Потому что я знаю, как цветут травы,— ответила Апрасинья.— Нюхом я чувствую все живое...

— Не нюхом, сердцем я жизнь узнал,— прохрипел Ондрэ.— Вызнал ее шаг за шагом,— и зашептал что-то по-своему, но так шептал, что Апрасинье стало страшно. Так она шептала, когда просила бога небесного и великого бога Шайтана спасти искалеченного сына.— Ты, мать Апрасинья, считаешь, что все живущее должно жить? Лишь потому жить, что движется, ест, пьет и говорит по-человечьи?

— А я — убил! — выкрикнул хохол Мыколка.— Пана своего убил. Дядьку вот его,— и через плечо пальцем показал на поляка.

— И вы — вместе?! — поразилась Апрасинья.— И на вас не обрушилось небо?! Он же бросил в Царство Тьмы родимую кровь твою? Он другого племени и должен отдать свою кровь за пролитую.

— Там,— махнул на запад Анджей,— там все другое... Жизнь там вывернута наизнанку.

— А здеся мы — побратимы! — засмеялся Мыколка. Он уже оттаял, успокоился, понял, что далеко ушел от цепей и кандалов. Не может ведь погоня добраться туда, куда сломя голову бежит, спасаясь, человек. Вот наберется он сил и уйдет. Уйдет в свои просторные степи, где полный ветер волнует ковыль на древних курганах.

— Давай мне бабу,— захохотал Мыколка и потянул к Апрасинье короткопалые сильные руки.

Дали Мыколке евринские мужики взаймы до лучшей поры три топора, дали два стареньких ножа, железную лопату и обломок русской косы. Запалил Мыколка костры на деляне своей и с Анджеем направил топоры, из косы сотворил строгальницу, из ножей долото и стамеску, а из лопаты — во все глаза смотрели манси — сработал лезвие для рубанка. Целыми днями крутился на деляне Мыколка, а покашливающий поляк таскал из леса охапки мягкого волокнистого мха. Из березы наделал Мыколка деревянных ложек, из кедра нарезал глубоких мисок, Анджей сходил к князьцу в Сатыгу и притащил две ручные пилы, какие-то скобы и разные краски. Евринские мужики одним махом свалили три десятка лиственниц, и Мыколка принялся рубить русскую избу.

...А в другую весеннюю раннюю пору, когда затухали пожары таежных токовищ и в логовах затеплилось потомство, на черной смоляной лодке поднялся в Евру непонятный, пугающий мужик. Страшенного, дивного роста, костистый и длиннорукий, в черных нечесаных волосах и спутанной бороде. На дне лодки, на тугих мешках и дерюгах, вытянувшись, сложив руки на груди, вверх лицом лежал легкий и светлый, как паутинка, старикашка с крупным носом и пронзительными глазами. Наверное, они прошли бы мимо Евры, если бы не натолкнулись на сваи и мостки прошлогоднего запора.

— Стой! — повелел старик.— Причаливай, Васек!

Васек гребанул громадным, как осетровый хвост, веслом, и лодка наполовину выбросилась на берег. Мужик поднял и бережно вынес старика на лужок, бросил на мелкую траву овчину и осторожно положил его.

— Укачала меня речонка,— слабым голосом протянул старик.— Раздуй огонь, Васек, чаю согрей!

Васек быстро набрал плавника, высек искру и повесил над огнем закопченный чайник, будто вовсе не глядя на берег, куда собралась половина Евры.

— Что за народы там шумят? — не поворачивая головы, спросил старик.

— Вогулы, тятенька! — пробасил Васек.— Любопытствуют.

— Не татаре? — усомнился старик.— И русским духом не пахнет.

— Нет, тятенька. Дух от них вогульский,— ответил

сын, вытащил из лодки два куля с зерном и усадил отца.— Пряник размочить, тятенька?

Старик похлебывал из глиняной кружки горячий чай, разглядывал евринцев.

— Бабы у них табак трубкой курят,— сообщил старик,— значит, купец сюды ходит. Гончарную поделку купец сюды не потащит, а кузне твоей, поди, навредил.

— Ништо,— махнул ручищей Васек.— Для кузнеца завсегда есть работа.

— Веди меня в поселенье,— тоненько крикнул старик, и Васек поднял его на крутой берег.

И евринцы увидели, как старичок спрыгнул на землю и, мелко перебирая ногами, побежал по Евре, а за ним валко вышагивал Васек. Они обошли селение, сопровождаемые толпой ребятишек; старик удовлетворенно крякнул, когда на берегу протоки, у кромки ельника, заметил глинистый обрыв. Ощупью, осторожно он потер глину, поплевал, снова потер, скатал ее в шарик и принялся вытягивать.

— Ну, как, тятенька? — Васек поднялся на взгорок и увидел бесчисленные блюдца озер, разделенные невысокими гривами.

— Остаемся! — порешил старик.— Идем к старшому.

— Понимаете по-русски? — обратился он к старейшинам.— Ага. По ремеслу я скудельник, Филей прозываюсь, а сынок... поклонись, Васенька... а сынок кузнец — ножи, топоры, подковы. И бондарь он! — старик поднял вверх палец.— Понимаешь?

— Понимаем,— ответили старейшины,— ножи, топоры, подковы понимаем. А тебя — нет!

— Меня? — завопил Филя.— Меня, скудельника, гончара, ты не понимаешь? Покажь, Васек! — И Васек из мешка вынул отменную глиняную посуду.

— Живите! — решили старейшины. — Глядеть будем.

На селянский сбор женщин никогда не пускали. Решение схода старейшины самолично передавали Матери Матерей, а Апрасинья, перебрав их по косточкам, дотошно проникнув в их подноготную, уже передавала женщинам, если те решения касались нового или старого запрета. Но и без старейшин Апрасинья знала все и еще чуть побольше о том, что говорилось и решалось на сходах, ибо там обычно верховодил Мирон.

А Мирон ничего не мог таить от Апрасиньи. Мирон понимал, что любой закон, любое решение, которое принимает сход, как-то неуловимо, но всегда бьет по женщине. Грузнеет ясак — женщина спит меньше, дорожает шкурка — женщина спит меньше, дорожают порох и капканы — женщина спит меньше.

«Наверное, настанет время,— размышляет Мирон,— когда она заснет и долго не примет мужчину. А мужчина станет ходить собакой от юрты к юрте. Будет он искать женщину, что высыпается на лебяжьей постели, как жена князька Сатыги. Ведь она даже, говорят, денежку дает, кто ее в лес за кусты утащит».

А Мать Матерей, огрузневшая от силы Апрасинья, женила Мыколку на мансийке Сафроновой, на молодой вдове, что три зимы назад потеряла своего охотника в урмане.

— Не заради тебя,— сказала Мать Матерей.— Заради ее.— Пущай родит светловолосых сынов, но пай им Евра даст. Помни!

— Га! — осклабился Мыколка.— Она родит, ежели ты коня мне дашь. Землю мне пахать да ржи с овсами сеять.

— Мирон,— осторожно прикоснулась Журавлиный Крик к плечу мужа,— он научит евринцев рубить крепкие русские избы.

Апрасинья дала Сафроновой своего старого доброго еще коня.

Старый Филя-скудельник с сыном Васькой Чернотой на берегу протоки поставили кузню. Поляк Анджей — Ондрэ Хотанг — лебедем его прозвали за то, что часто оглядывался, будто все ему погоня чудилась,— поставил избу у неглубокого, но быстрого ручья, что впадает в круглое, как блюдо, озеро. Хворый был Ондрэ Хотанг, кашлял надсадно, видели евринцы: никогда уж не уйти ему в свою землю. На кусках бересты, на гладко оструганных дощечках красками, что научила добывать Апрасинья, рисовал он глухой и задумчивый лес, полный тайны и неразгаданной силы. Но лес тот — Мирон подолгу смотрел в раскрашенную бересту — мертвяще цепенел и наполнялся лютой злобой, холодом и недоступностью. Ондрэ накладывал на доску краски, и между медовых стволов сосен появлялись оскаленные морды, мохнатые хари с вывернутыми губами, а Хотанг все пришептывал: «Пся крев... Царь-освободитель... Дал ты волю...

а землю дал?» И опять в лесу на кривых заросших тропах, что сторожат мухоморы, возникали крючконосые твари с перепончатыми крылами.

— Тьфу! Ы-ы-у-у... Ёлноер,— ругался Мирон.— Это не наш лес. Это душа чужого леса.

СВЯЩЕННОЕ МЕСТО ЛЕТНЕГО ЗАПОРА

1

День ото дня солнце теплело, желтело, округлялось, как яйцо, поднимало над собою небо. И небо уходило вверх, все выше и выше, распахивалось и становилось прозрачным — исходило оно светом. То был свет солнца, и луны, и невидимых уже звезд, и угасшего, истонченного снега, и ломкой ледяной корочки. То было пробуждение света, рождение его из тьмы, такое ожидаемое, как рождение ребенка, и всегда такое неожиданное, и казалось, что вот-вот ударит громовой раскат и захлестнет все великий разлив и плеск света. Солнце поднималось все выше, удлиняя фиолетовые тени, и торопило бег разбуженного сока, и сок вскипал, гудел в березах и рвался в затихшие, притаившиеся комочки почек, и те грузнели, набухали как-то добро и бесстрашно. По вечерам в сиреневых волнах заката хлестко плескал упругий ветер, но к рассветам он стихал, и солнце покойно выкатывалось на подернутую ожиданием волнистую равнину. На земляных крышах, около пней и валежин пробивались травинки, тоненько, как муравьиные усики. Окуталась в зеленую дымку лиственница — каждая веточка выпустила из себя мелкие, как пух, легонькие хвоинки. По вечерам, когда на миг замирал южный ветер, уже улавливалось тонкое, чуть пришепетывающее дыхание озеленевших почек, шепот ветвей и вздохи пробуждающегося леса. И вот уже река принялась оживать, лопнул лед и тоненькие позвенькивающие ручейки наполняли собой вымороженную пустоту русла, и то день ото дня, час от часу все приподнимало и приподнимало над собой холодную тяжесть льдин, подняло и раскололо. Льдина полезла на льдину, шурша и тупо ударяя, выныривали из тяжелых густых волн глыбы льда и, высветив синевой скола, погружались в стремительные струи. Ожила река и распахнулась.

— Пора! — решили мужчины, вслушиваясь в гудящую реку.— Пора готовиться к запору!

Ушла долгая, угарная зима. Отшумели метели, пурги... Пора, пора перегораживать реку, пора готовиться к летней ловле рыбы.

Кончилась долгая, дымная зима — тэли, нахлынула на землю туи — весна, наступил месяц июнь — Яйт Тустнэ Ёнкып — месяц летнего запора. О, какая это пора! О, какой это долгожданный праздник, какое это священное великое время — время рождения летнего запора!

Река Евра, опрокинув льдины в Конду, бросилась на берега, хлынула на тальники и займища. Играла она долго, плескалась и пенилась, передвигала мели и гудела на быстрине и словно проскальзывала в солнечное кольцо, обручаясь с берегами. Медленно она успокаивалась и вот вошла в берега — в темно-зеленое, сочное, живое обрамление, устало выгибаясь волной и дремотно прикасаясь к уснувшим прибрежным косам и галечному бичевнику, и уже покойно выблескивала, туго проносясь мимо кедрачей и приподнятых на мысах березняков. Выше Евры река круто изгибалась в упругую дугу, она словно переламывала себя. Стремнина ее погружалась в омут, уходила в глубину с гулом, шумно, тяжело плескала она волной, и вода, пенистая, скрученная в сотни струй, ходила в водоверти непокойными кругами. Путались те струи, как кудель, закручивались в глубокие воронки и набегали на низкий левый берег. Но не слабела река — волна напирала на волну и, уже усиленная, тугая, устремлялась к правому берегу. А тот поднимался над рекой в двадцать сажен, желтый, из отмытого крупнозернистого песка, простроченного сверкающими чешуйками слюды,— теплый, чистый берег. Река с разгону тупо и слепо ударяла в неподатливую крутизну и распадалась, расслаивалась и выметывалась крутыми, злыми брызгами и струями. А берег стоял неподвижно, незыблемо, вглядываясь в реку сотнями нор, где гнездились легкие серпокрылые береговушки. Не сокрушив берега, река стремительно отворачивала и, потемневшая, напряженная до предела, разрывая и раздвигая лес, уходила в кондинскую тайгу, нанизывала на холодный свой стержень озера и протоки, образуя Сатыгинский и Леушинский туманы. Вот здесь-то, у поворота реки, под крутой стеной правого берега из века

в век ставили летний запор, перегораживая и укрощая Евру.

Селянский сход обозначил время и назвал главным Мирона Картина, а в помощь поставил несколько стариков — Портю, Апоньку да Ситка. Огромную заботу взвалил сход на широкие плечи Мирона. Это настоящая мужская работа, она истинна и велика, потому что от нее зависит жизнь всего селения — будет ли она сытой и теплой или остервенело голодной, тяжкой.

Одних мужчин, крепких, тяжелых, сильных, и мальчиков-подростков, но еще не юношей Мирон отвел вверх по реке, гораздо выше места запора, на высокий обрывистый берег, который из года в год потихоньку сползал, был зыбким, как прокисшая сметана в деревянной миске. Из-под берега вырывались чистые родники, расшевеливая прозрачные, окатанные, как бусинки, песчинки. Влажный, отяжелевший песок здесь сочился, будто перезревшая морошка, и опадал, морщился, отслаивался отмороженной кожей. Подземные воды изнутри подтачивали берег, речные струи подгрызали скользящей волной по песчинке, и берег позапрошлый год рухнул, как пьяный. Сползая в реку, ощетиненный кустами, он потащил за собою гладкоствольный вековой сосняк. И берег ощерился, как старая челюсть,— стволины шатались, другие наклонялись под тяжестью кроны и обнажили тугие витые корни.

Из стволов мужчины вырубали гладкие прямые сваи в пять-шесть сажен длиною. Зазвенели топоры, вгрызаясь в теплую податливую мякоть сосны, зазвякали топоры, срезая осмоленную твердь сучка. Раздели мужчины сосновые стволины, ошкурили, заострили концы. А подростки подняли шум и гам, когда принялись выдирать корни из рыхлой, уже оттаявшей земли. Готовые сваи относили к месту запора, здесь уже полыхал костер под огромным котлом — колташихой. В кипящую воду мальчики бросали сосновые корни — их нужно размочить, выварить, расщепить надвое и хорошенько помять колотушками,— мятые сосновые корни пойдут на вязку.

Несколько мужчин острыми, как бритва, топорами из сухих лиственничных жердей кололи жалье — узкую длинную дранку. Легкими, едва уловимыми прикосновениями топора мужчины снимали зазубрины и заусеницы, спускали желтоватую стружку, и жалина гладко

отсвечивала. Пятисаженную дранку переплетали, туго стягивали мятыми упругими корнями в отдельные звенья. Переплетенные жалины, легкие, прочные и упругие, станут стеной летнего запора, но часть более узких звеньев пойдет на садки, куда будут отсаживать из морд — кямок живую рыбу, и будет она храниться там живьем до зимы.

— Все ли готово? — спрашивает Мирон, а старики — Портя, Апонька и Ситка вновь и вновь, который уже раз, осмотрели готовые сваи и звенья стены, осмотрели инструмент — тяжелые из лиственницы колотушки, деревянные молоты на длинной рукояти и крепкие дубины с узловатой, свилеватой макушкой. Осмотрели старики изготовленные жалины и груды мятых корней, осмотрели и просмоленные лодки и весла.

— Готово! — ответили старики.— Можно начинать.

Встали мужчины рядом, оправили одежды, сдвинулись плечо к плечу и, глядя в искрящуюся реку, молча, чуть шевеля губами, принесли моление земному богу Шайтану.

— О, Сим Пупий! Услышь нас, Милый Шайтан! Обрати к нам, честным людям, земное свое всемогущество! Ты можешь все, Милый Шайтан. Помоги нам поднять летний запор, помоги укротить реку. Стань нашим кормильцем!

Притихла река, плеснула волной, ласково легла у ног. С далекого озера поднялась большая чайка, пронеслась над рекой, сложив крылья, упала в гудящую струю и выдернула серебристую сорожку.

— Услышал нас Шайтан! Позволил ставить запор! — крикнул Мирон.— Начнем же, люди!

И мужчины, осветленные разумом древние старики в пожелтевших гривах, с длинными трубками, и фартовые, отважные охотники, и молодые горячие мужики, что отгуляли свадебный пир, и безусые юноши, что копили еще выкуп,— все в нетерпении, в долго сдерживаемом азарте бросились по своим местам, куда их поставили Мирон, Портя, Ситка и Апонька. Одни мужчины перебрались на левый берег, другие остались на правом, третьи взялись за дело с лодок, закрепив их накрепко, вогнав шесты в песчаное дно,— все принялись вбивать пятисаженные сваи.

Две сваи на левом и одна на правом берегу так и вошли в супесь, как в масло. Оно и понятно — трое

держат, трое бьют по комлевому концу деревянными молотами.

— И-ех! Иее-ех! У-у-ух! — выдыхают мужские груди.

— Трах, бух-трах! — наотмашь бьют по комлю Тимпей Лозьвин, Мишка Картин и Яшка Кентин.

— Ух-ух-ух! — отдается в воде.— Иах, иах!

Три лодки покачиваются на стремнине, и мужчины, высоко поднимая гладкую остроносую сваю, с силой вгоняют ее в зыбкое галечное дно. На полсажени поднимается бревно над водой — бей. И с двух лодок, что напротив, на сваю обрушились точные удары — «иах... иаях! ...у-ух!». Трудно, неудобно вгонять бревно с лодки, качает лодку, хотя нет волны, и удар хоть и точен, да жидковат, слаб удар, не размахнешься от души, как на берегу. Но не беда, эти сваи в реке на первый случай, первый стежок. На эти опорные столбы уже начинают укладывать отесанные бревна.

С трудом выгребая против течения, мужчины выбирают место для следующей опоры. Река противится, сносит лодки, раскидывает их, и гребцы, обливаясь потом, хрипло дыша, пытаются поставить их бортом. Вот уже две лодки заякорились, сбросив за борт остроугольный, ребристый камень, и вот к ним багром прицепилась третья лодка, но четвертая сорвалась, и ее понесло. Надавила река, пошатнулся Сандро, что стоял на носу с арканом в руках, взмахнул руками и перевернул лодку с тремя гребцами. Только шапки поплыли по реке. Вынырнул Сандро — глаза вразбег, из ноздрей вода, фыркает, как лось.

— Ты, Сандро, щуку, что ли, рогатую увидел? — смеются мужики на берегу.— Она тебе ничего не откусила маленько, Сандро?

— У-у-ы-ы-у! Асс-тю-ю-х! Ы-ы-у! — дрожит Сандро, размашисто гребет широкими рукавами. Отяжелела, намокла шабурина и тянет ко дну.— Во-о-да бо-оо-льно... колотная-я...я.

А июньская вода в Евре студеная, с конца мая забирает она в себя тоненькие, как ниточки, ручейки, что вытягиваются из-под притаившихся снежников, из-под нахмуренных, оплывших моховых кочек. А на дне реки вода и вовсе прорубная, солнце еще не согрело озера, еще не отогрело промерзшие насквозь берега.

— Во-оо-да бо-о-ль-но коло-т-тная,— колотится в ознобе Сандро.

— Беги в юрты... скорей беги, у бабушки Кирьи крепко пыса — брага гуляет,— смеются мужики.

— Крепко пыса гуляет?! — недоверчиво радуется Сандро.

— Гуляет, гуляет. Беги! — И Сандро быстро побежал, оставляя за собой мокрую полосу следа.

Несколько раз опрокидывала река мужчин в ледяную воду и, опрокинув, накрывала с головой, крутила в водоверти, тянула ко дну. Противилась река людям, негодующе вздымалась, словно знала давным-давно, что ее ровное, цельное тело перехватит деревянная опояска и люди вмешаются в просторность ее движения. И река набрасывалась на людей, напирала на столбы-опоры, расшатывала их, шершавым языком выскребывала крупную гальку.

Проплыл, покачиваясь на волнах, день, но река не осталась безлюдной, уставших мужчин сменили, а те, кто намахался от души колотушкой, заснули у нодьи. Родился второй день, и не уставая стучали топоры в рассветную, разгорающуюся зарю, и тяжело ухали деревянные кувалды — на столбы сверху настилаются бревна.

— Ну вот, скоро лава проляжет через всю речку,— деловито тормошится дед Портя, расставляя людей.

Вот это дело! Вот это красота! Положили лаву! Крепко стоит она — свежеоструженные мостки на опорах, соединила лава берега, приподнялась на локоть над поверхностью воды.

Ни одного мужчины уже не осталось в Евре — все на реке. Прадеды и деды, едва передвигая ноги, выбрасывая вперед коленки, ощупывают посошком тропу. За них держатся и, так же неуверенно, вразвалку ступая, тащатся внучата. Не могут деды выдержать, высидеть в юрте в такой день — да как это без них? Как они там, молодь зеленая, без них обойдутся? Опустела Евра — на запор пришли соседи из Вандырья, пришли и из Сам-Павыла. И Мыколка пришел, и Ондрэ Хотанг, и Васька-кузнец со старым Филей-скудельником — тоже постукивают топорами. Русские мужики из Леушей тут оказались, двое-трое княжих людей из Сатыги — всех затянула звонкогорлая, голосистая река, затянула, как праздничная пирушка.

И женщин не осталось в Евре, они уже несколько дней в лесу. Очищают лес вокруг селения, собирают

сушняк, опрокидывают навзничь сухостоины, подбирают сучья в березовой роще, ветки и лапник в сосняке, складывают валежины в кучи — много-много дней будет гореть огонь в шохрупе — коптильне. Сушняк подбирали весной, пока не поднялась густая трава, пока не поднялся и не окреп молодой подрост,— всколыхнется трава и оплетет всю сухару. И день ото дня боры светлели, становились просторными, чистыми, словно подметенными,— так хорошо и глубоко дышать в лесу. Безлошадные уже загодя вязанками носят сушняк и складывают около шохрупов, подбирают весь плавник, что притащила река с верховьев. Ну а те, у кого лошади,— иди вози подальше, не отбирай сушняк у безлошадного.

2

Уже третий день доносятся к женщинам голоса их мужей и старших сыновей, ветер приносит гулкий хохот и крепкую мужскую шутку, не скользкую и кислую, не обидную, а круто просмоленную, соленую шутку, и по-доброму улыбаются женщины — видать, хорошо, ловко идут дела у мужчин, но взглянуть нельзя. Великий то грех — нельзя женщине приближаться к месту летнего запора. Нельзя даже глядеть на него, на священное это место, нельзя поганить его своим взглядом.

А мужчины, перекинув лаву, не закрепили ее намертво, нет.

— Выгибай ее! — крикнул с берега Мирон.— Еще нужно покруче выгнуть!

И дед Портя забегал по берегу, размахивая потухшей трубкой, заволновался, заторопился, затормошил мужчин.

— Давайте, давай, мужики! Выгибайте лаву по течению! Еще выгибайте!.. Еще вперед три сваи... а потом уже ведите к берегу.

Запор стал выгибаться, как туго натянутый лук, раскинул он крылья, но нужно еще больше выгнуть его, и тогда перед ним, перед стенкой, просторно распахнется плесо — омут с гудящей, как тетива, быстриной. Прямой, как копье, стенке не выстоять, разобьет ее река, потому и выгнулась лава по течению, забили мужчины могучие сваи. Наступает главная работа — ставить стену. Звенья из гладких высушенных жалин — чтобы смо-

ляной дух не пугал, не тревожил рыбу — уже готовые лежат на берегу, переплетенные гибкими сосновыми корнями, с готовыми узлами и петлями.

— Начинай! — раздался крик, и мужчины, стащив одежды, в легких штанах, а кто и в рубахе, а кто и вовсе голяком бросились в студеную реку. Одни вплавь, бултыхаясь и вскрикивая вместе с теми, кто на мостках, крепят верхнюю часть звена к сваям, а другие, взобравшись на жалье, топят звенья, а те вырываются, выскальзывают, вылетают из реки, словно хариус за мухой. Река вскидывает легкую вязку, мужики скатываются с нее легко, как с ледяной горки. Вот одно звено вырвалось из рук, поднялось над рекой и шлепнулось по ту сторону лавы, а вокруг другой вода бурлит и плещется, как у топляка, но на него навалилось пятеро, да шестой подплыл, утопили, привязали к сваям аршина на полтора в глубину. Вода давит на звено, но оно уже стоит, уцепилось за дно, не совсем, правда, прочно, но уже не выплеснет, уже не выскочит.

За плавающими, барахтающимися мужчинами посматривают, снисходительно посмеиваясь, догола раздетые, но в накинутых шубах самые важные люди — ныряльщики. Это Мишка Молотков, Картин Мишка, брат Мирона, и Тимпей Лозьвин — плечистые, широкогрудые, сильные и смелые парни. Их давно, еще в малые года, приметили старики,— мальчишки ныряли в воде, как гоголи. Отцы одобрительно поощряли их, учили подолгу задерживать дыхание на глубине. Не каждый юноша, даже тот, кого и учили, даже тот, кого и готовили, может стать ныряльщиком — это ведь не игра, не забава, и требует она бесстрашия и смелости, отменного здоровья и силы. Там, на пятисаженной глубине, в стремительной студености течения, открыв глаза, ныряльщики плотно подгоняют стенку, туго-натуго, как только можно, привязывают решетку звена к сваям, затягивают корнями так, чтобы ни одно звено не оторвалось в неожиданный летний паводок. Оторвись хоть одно звено, считай вся работа пропала — ускользнет вся рыба в прореху, ускользнет, как молния, и эта щель станет бедой, голодом всей деревни. И ныряльщики, сцепив зубы, затягивают намертво низы стенки, укрепляют их тяжелыми, длинными полосами дерновин, прижимая их валунами, что устилают дно реки.

Сейчас они посмеиваются над мужиками, подшучи-

вают, но все стараются побольше сделать сверху, чтобы поменьше осталось там, у холодного ледяного дна.

А Яшка Кентин уже уловил готовность ныряльщиков. Уловил и быстро побежал в Евру. Яшка назначен следить за работой женщин, за тем, как они там крутятся, готовя праздник летнего запора. Он просто раздулся от важности, напустил на себя такую озабоченность, будто он здесь самый-самый главный. Яшка Кентин уже несколько раз туда-сюда бегал к запору, бегом, словно за ним гнались собаки, возвращался в деревушку и, отдышавшись и раскурив трубку, принимался подробно рассказывать женщинам, как поднимается запор.

— Как там Мишка? Как там Сандро? А что сейчас делает Апонька? Аю! Ай-ю! Ай-ю! — теребили женщины Яшку.— Здорово изогнули запор? О! Сим Пупий! Кирэн в воду пал? Ха-ха-хи! Поверху, как цветочек, плавал?! Щох-щох! Кирэн — цветочек? — хихикали женщины, и открылись лица: для них сейчас Яшка ровня. Не строит запор, не занялся мужским делом, а над ними — чего глядеть? Знают сами, как собрать стол для пира. Бабушка Кирья каждый год такие столы собирает, такие кушанья готовит, что разговору будет до нового праздника. Заранее готовятся к празднику, берегут вкусные вещи и у купцов, у торговцев загодя покупают белого вина, и хранится оно в надежном, недоступном месте. А вина надо подать мужчинам, что сейчас плещутся в реке, и даже тому дать, кто плавать не может, а по-нарошному прыгнул.

И вот снова ворвался Яшка к женщинам, что хлопотали у котлов, раздул ноздри, принюхался, но не остановился, а побежал в юрту, распахнул дверь и с порога закричал:

— Бабушка Кирья! Как тут у тебя гуляет пыса?

— Гуляет она,— недовольно махнула рукой бабушка Кирья.— В силу она вошла и гуляет себе на здоровье.

— Может, посмотрим? — деловито потребовал Яшка.— Как-никак знать надо!

— Чего смотреть? Чего там смотреть? — сердится бабушка Кирья.— Тебя сход постановил над женщинами для порядка глаз держать? Вот и держи! Не мешайся!

— По закону я должен смотреть! — заявил Яшка.

— Ну, ежели по закону — смотри! — не выдержала бабушка Кирья.

Яшка срывал разбухшие, плотные крышки с берестяных ватланов, лагунов и кедровых кадушек, жадно втягивал запахи и сладко причмокивал. В одних посудинах пыса бродила, пузырилась, в других ходила ходуном, тихо вздыхала.

— Не жидко?! — строго спрашивал Яшка.

— Брага ведь, не саламат,— начинает наливаться гневом бабушка Кирья.

— О, вкусно пахнет! — причмокивает Яшка и облизывается.— Однако, попробую. Выпью черпак, сам у себя узнаю, согреет ли она ныряльщиков?

— На! — не выдерживает бабушка Кирья и черпает полнехонький ватланчик пенистой браги.— На! И уходи!

— Ладно! За тебя, стало быть, я покоен! — Яшка забирает ватланчик и бежит к Аринэ, та готовит жаркую баню для ныряльщиков.

— Ну, женщина, хватает ли дров? — строго требует Яшка у Аринэ. Та только вышла из черной бани, дым выедает ей глаза, дерет горло, и кашель раздирает грудь.— Навязала веников?

— Да ты уже прибегал два раза,— удивляется женщина.

— Надо! — отвечает Яшка и отхлебывает из ватланчика.

Он, Яшка Кентин, конечно бы, посидел еще около вкусных котлов, у посудин с брагой, конечно бы, он посидел побольше, поболтал бы языком — он любит, когда его слушают. Работать он не мастер, неохота ему работать, но так хочется, чтобы люди его уважали да привечали, и оттого берется он за всяческие общественные дела, пусть пустые, никчемные, но Яшка не из таких, чтобы сделать все сразу же и с толком. Он начинает бродить и шуметь, как брага, плескаться словами, бегать бегом и падать, весь в поту и мыле, и всем рассказывать, какое важное дело он совершает.

— Бегу! — сообщает он кашляющей Аринэ и отходит бочком, потому что с Аринэ не разговоришься. Та взялась за веревку и собралась за дровами.

Когда Яшка прибежал к запору, людской шум на реке приутих. Поставили мужчины стену.

Стоит снова, как все эти сотни лет, перекинулся с берега на берег священный летний запор, круто и мощ-

но выгнулся и укротил реку. Не заковал намертво, а заарканил, стреножил своенравную, часто шалившую Евру, с которой нельзя спускать глаз,— может она взыграть, подняться на дыбы в косматых вихрях волн и раскидать запор. Сейчас она будто утомилась, немного поддалась неукротимому, жаркому напору людей, сдерживаемая стенкой, но, прорываясь через щели жалин, она пенилась и клубилась.

Ныряльщики сбросили с себя шубы, мужчины с лавы спустили на веревках камни и куски дерна. Тимпей Лозьвин, Мишка Картин и Мишка Молотков прыгнули в воду. Тихо стало на мостках, только дети, как воробьи, купались в теплом золотом песке, вызванивая тоненькими голосками.

— Ти-хо! Ти-хо! — цыкнул на них дед Портя.

Ребятишки притихли, уселись на берегу, как бельчата, и уставились в реку.

— Яшка,— шепотом позвал дед Портя,— ты почему принес половину ватланчика? Бегите, мужчины, в деревню, тащите сюда пысу.

Напряженно вглядываются мужчины в реку. Время сгустилось, стало вязким, и слышно каждому, как гулко у него бьется набухшее сердце — бум... бум... бум... Это здесь, под солнышком, под ветром, на тверди, на земле, так набухло сердце, а как у них там, у самого дна. Дед Портя набил трубку, раскурил, не отрываясь от реки. Помнит Портя, как иные ныряльщики и вовсе не возвращались, их потом выбрасывала река до бесконечности чужих, неузнаваемо страшных. А иные, тоже сильные, тоже избранные — жизнь сама ведь назначает каждого на его ремесло,— выбрасывались из реки, словно из огня, и без крика, распахнув рот, падали грудью на жесткий песок. Не успевали люди поднять их на руки — из горла, из ушей брызгала алая кровь.

Что-то долго нет ныряльщиков. Ни одного... И молчит река, пенится. Пронзительно резко крикнула чайка и выхватила из воды рыбешку. Портя вздрогнул — вот так и гибель вырывает из самой стремнины жизни еще не раскрытую судьбу.

«Нет! Нельзя о том думать! — испугался за свои мысли старый Портя.— Так думать — это только помогать злым силам».

— Люди! — крикнул старый Портя.— Станьте готовы!

Мужчины, переговариваясь шепотом, чтобы не привлечь водяного хозяина, стащили с себя рубашки. В костер подбросили сушняк, жарко полыхнуло пламя. Плеснула вода, и появилась гладкая голова, волосы закрывали глаза.

— Мишка Молотков! — выдохнул берег.

Громко плеснуло вновь, по плечи вырвалось плотное, бугристое тело.

— Ух-ай! Тимпей! — радостным смехом отозвался берег.

Мишка Молотков ухватился за лаву и стал вытягивать себя из воды, но мужчины, подбежав, выдернули его за руку и набросили шубу. Тимпей выскочил на мостки, быстро побежал к костру, и его укутали в тулуп. Яшка Кентин зачерпнул браги и не успел поднести, как рядом с берегом бесшумно, как гагара, выплыл Мишка Картин.

— О! Светлый Ясный День! — заликовали на берегу.— О, Милый Шайтан! Юноша поднялся со дна реки,— закричали мальчишки и с разбегу запрыгали через костер, разбрасывая пламя.

— Мишка Картин больше всех ходил по дну! Мишка Картин самый сильный! Мишка!.. Мишка! — металось над берегом, а Мишка Картин, завернутый в шубу, придвинулся к костру, принимая из рук Яшки полный черпак браги...

— Иех! Ай-ю! — причмокивает губами Яшка.— Вам бы, ребята, сейчас огненной воды! Огнем бы она вас охватила!

Мужчины окружили ныряльщиков, похлопывали по плечам, поправляли на них шубы, подбрасывали сушняк в костер, а ныряльщики с наслаждением пили свежий, настоянный на хвое воздух, и глаза их сияли, отражая солнце. Как прекрасен, как распахнут мир, как он волшебно расшит красками, как он солнечно пронизан тончайшими струями звуков!

Старый Портя, всмотревшись в ныряльщиков, не уловил в их голосах, жестах, в движениях лица и губ растерянности, тревоги — и успокоился.

— Ну как, Тимпей? Шибко река тащит?

— Шибко,— засмеялся Тимпей.— Легче пуха лебединого себе показался. Кидает наверх, как искру из костра.

— Искру? — подал голос Мишка Молотков.— Ур-рр-

бру... Щох-щох! Какой такой костер, вода вовсе ледяная. Руки стынут, и пальцы, как корни, топырит. Не хотят пальцы узлы затягивать.

— Не хотят пальцы узлы затягивать,— прошептал Яшка и снова зачерпнул бражки.— Выпей, Мишка, глядишь, пальцы запрыгают!

А старый Портя повернулся к Мишке Картину:

— Ты зачем, Мишка, так долго на дне сидел? Я думал, что тебя Виткась поглотил. Много еще работы?

— Совсем ничего осталось,— ответил Мишка Картин.— Еще два раза сходим, и готово!

Мужчины вновь опустили на веревках длинные, плотные, густо перепутанные корнями полосы дерновин, и трое юношей ушли в воду.

И снова притих берег, снова напряглась тревога, замерли дети, распахнув глаза, снова над гудением и плеском реки со свистом пронеслись ласточки. И вдруг в тишине громко застрекотала сорока, уселась на высокой сосне, задергала хвостом и дурашливо заорала. И к сорочиному полоумному крику потянулось жалобное баранье блеяние.

Вынырнул Мишка Молотков, махнул рукой, крикнул:

— Давай дерновину! — И погрузился.

Вынырнул Тимпей Лозьвин, выплюнул изо рта воду, судорожно проглотил воздух:

— Давай дерновину! — И, плеснув, ушел под воду.

— Готовьсь! — громко крикнул Мирон Картин. Что-то долго не выходит из воды брат его Мишка, не запутался ли он там в узлах и вязках.

Тяжелой рыбиной, изогнувшись, мощно выпрыгнул Мишка. Подгреб к лаве, к ногам Мирона и чуть сдавленным голосом попросил:

— Вот сюда, брат, опусти два тяжелых камня. И вязку мне давай!

Еще и еще погружались юноши и, чуть согревшись у костра, бросались в воду. И вот они ушли в последний раз. Это сегодня в последний... Ныряльщики теперь на все лето будут привязаны к запору; все время, пока стоит запор, будут они рядом, будут проверять, следить, смотреть за каждой щелью и латать эту щель, чтобы в нее не проскользнула ни одна рыбешка. В разгар лета это не так трудно — спадает вода в реке, прогревается, и в жаркий день ныряй себе сколько хочешь. Ныряль-

щики да старики, те, кого назначил сход, станут неусыпно день и ночь беречь запор, следить за ходом рыбы и здесь же обучать новых ныряльщиков. О, как они нужны Евре!

Мишка Молотков и Тимпей уже грелись у костра, им услужливо поднесли раскуренные трубки. И вот появился Мишка Картин.

— Все! — крикнул Мишка. — Все-е-е! — закричал Мишка Картин и запрыгал на песке, раскидывая руки, как поднимающийся с плеса орлан-рыболов.

И закричал, завопил, заплескался голосами берег, ожил, разгорелся в смехе, в тоненьких вскриках и посвисте мальчишек, в басистом раскатистом хохоте мужчин. Уткой крякали, гусем гоготали, ревели медведем и трубили лосем, рябком высвистывали и квохтали копалухой — во многих голосах ожил и заколыхался берег, крики донеслись в Евру, и бабушка Кирья выпрямилась.

— Женщины! Готовьте стол. Сейчас придут мужчины!

А мужчины хлопали друг друга по плечам, толкались, боролись в обнимку, и, падая, барахтались на теплом песке, и прыгали через костер, и плескали водой, словно только что поднялись с постели, словно не трудились они упорно несколько дней. Теперь осталась самая малость, и это сделают завтра, послезавтра, не торопясь, основательно и надежно опытнейшие рыбаки. В стене запора они поставят прочные, гибкие кямки — морды, на каждый пай по морде. Старейшие уже высчитали, сколько морд придется на пай — ведь чем круче запор, тем больше можно поставить ловушек — восемьдесят, сто или сто пятьдесят. Год от года менялся расчет паев — нарождались мальчики, умирали, погибали мужчины. Но точно никогда нельзя рассчитать: в запоре всегда оставалось больше десятка лишних морд — отсюда рыба пойдет в общий селянский садок.

Уже потом, глубокой осенью, когда рыба уйдет в сон, раскупорят селянский садок и добычу разделят между пайщиками, посчитают, сколько рыбы потянет пай, и разделят. Поэтому, когда будут ставить морды — кямки, из заготовленных лиственничных жалин сплетут плавучие садки, каждому пайщику свой, фамильный, или родовой, садок, если люди жили вместе и не делились на отдельные семьи. Плавучий садок достаточно

велик — две-три сажени в длину, сажень-полторы в ширину, а в глубину — сажень, ну а селянский, тот прочный — собирался из крепкого частокола, что вколачивался в дно реки. Придет время, придет август — Кул Вытнэ Ёнкып, месяц посадки рыбы в садки.

А сейчас только начало июня, только начало Яйт Тустнэ Ёнкып, месяца летнего запора.

О, Милый Шайтан, как ты распахнул перед нами великую глубину жаркого лета, время созревания, время кричащего гнезда, время горячего тела. Мы подняли запор, мы перегородили реку, пошли нам, Великий Торум, и ты, Милый Шайтан, сырка и стерлядь, язя и карася, сорогу и окуня, пошли хоть немного нельмы и муксуна, да и от налима-скользуна и щуки-зверя не откажемся, пусть косяки рыбы после икромета войдут в кямки, пусть сытым станет каждый живущий на твоей реке, наш Милый Шайтан!

3

Низко поклонился Мирон Картин ныряльщикам, низко, с достоинством поклонились смелым юношам дед Портя, дед Ситка и старик Апонька.

Низким поклоном ответили им Тимпей Лозьвин, Мишка Картин да Мишка Молотков.

Яшка Кентин вывел из кустов белого, расчесанного деревянными гребнями, словно принаряженного и умытого барана и передал короткий поводок Мирону. Баран матерый, с круглой, как у доброго телка, спиной, с широкими, туго закрученными рогами. Выпучив глаза, баран свысока, как бы презрительно, оглядел мужчин и в тупой сосредоточенности уставился на разбухшую, отяжелевшую у запора реку.

Мирон полоснул ножом по горлу, и парящая, горячая кровь, клокоча, брызнула в воду, в жертву хозяину реки, водяному. Капнула последняя тяжелая капля. Мирон отхватил клок шерсти и кинул в реку. Он отбросил барана, взял из рук Яшки черпак и несколько раз во все стороны плеснул пенную брагу. Пена от крови, пена от браги смешались с пеной реки — остались, пузырясь, на стенках запора.

Мужчины допили остатки браги, бросили в лодку жертвенного барана, в другую усадили закутанных ныряльщиков и быстро сплавили тех к раскаленной бане.

Оставшиеся мужчины тщательно загасили костер, очистили берег от стружек и щепок, собрали инструмент и, негромко переговариваясь, отправились домой; только сейчас все почувствовали усталость, сжигающую жажду и острый голод. И в каждом народилось и зажило ощущение исполненного, каждый ощущал себя нужным, надежным человеком, достойным уважения. Мужчины разошлись по избам, чтобы переодеться в праздничное. Сегодня за столом собирается вся Евра, сегодня Евра принимает гостей-соседей. Любой, кто приходит, кто проезжает через Евру — охотник ли, рыбак, русский ли, татарин ли, остяк ли или ненец-туземец,— любой садись пировать. Сегодня пир в честь Торума, в честь земного бога Шайтана, в честь Хозяина Реки и его Хозяйки!

А женщины сегодня — нарядные, в лучших платьях, в узорчатой обуви, в ярких цветастых платках, незнакомо-знакомые, румяные, быстрые и ловкие. Голоса их звонки и налиты лаской, смехом и добротой, и куда только подевался скрип, вскипающая слеза и нудная тягомотина жалобности — хороши сегодня женщины! Так щедры они — несут из кладовок, погребов и потайных мест всякую вкусную пищу — сушеную, вяленую, копченую, вареную, жареную. А зима была такая голодная, пустым стоял стол, голым. Видать, и Кирэн расщедрился, да и другие зажиточные не поскупились на общее дело! Сегодня стол общий, он раскинулся посреди Евры, он сегодня — Евра! По нему будут судить-рядить о Евре — что было, чего не было, чего лишь дали поглядеть, а что и в горло не попало. Здесь уж не жмись, здесь уж не таись — смотрит на тебя весь мир. Глядит на твою щедрость, на твою широту вся Конда! Всяким манси может быть, но жадным никогда не станет. Манси — гордый человек!

Громко подошли к столу ныряльщики в окружении юношей и молодых мужчин — сверкающие, чистые, словно только что рожденные, неловкие от смущения, от пристальных, украдкой брошенных девичьих взглядов. Громко их встретили евринцы — ждали, не торопились сесть за праздничный стол. А стол поднимался, как лодка, над мягкой зеленой поляной, поднимался под огромными кедрами, отсвечивая свежеструганными досками, тяжело нагруженный пищей, брагой и белым вином, словно обильная, щедрая жертва земным и небесным богам.

Сели мужчины за стол, и тотчас принесли в кипящем котле иссеченного на крупные куски барана и туеса с пенной брагой. От запаха мяса широко раздувались ноздри, рот наполнялся слюной, а у кого-то клацнули зубы. Но никто не прикоснулся к пище — на столе еще не было бараньей головы. Бабушка Кирья вынула голову из котла, осторожно опустила в берестяной чуман и поставила на стол. Совсем рядом на сочащуюся соком березовую доску насыпала она крупные раскаленные угли. Чуть подула в жаркую груду и осторожно положила на груду легкие веточки пихты. Как тонко и остро потянуло запахом хвои, запахом просыпающегося бора! Синеватый дымок приподнялся над угольями, поднялся, невесомо покачиваясь, такой прозрачный, что вмиг исчез — был ли? Поднялся дымок погуще, посинее, колыхнулся голубизной и потянулся к неуклюжему облачку пара, что окутало баранью голову. Нужно еще немного ждать, еще немного... вот... Почти белый и плотный дымок отдала пихта, и он смешался с паром и слился с ним и легонько прикрыл баранью морду, оскаленную в жертвенном крике. Сомкнулись пар и дым, слились стихии, и старая Кирья начала пурлахтых — моление Пупию — Шайтану. Ее лицо, высохшее, как кора, потемневшее от времени, иссеченное заботами, горем и короткой радостью, вдруг ожило. Приподнялись брови и грузные веки, и раскрылись глаза, наполнились, словно протоки, высохшие губы, и мягкий вялый подбородок отвердел и как бы обозначил все лицо. Оно стало проясняться, проступать, как бы выходить из зарослей морщин, далекое-далекое лицо. Оно ожило, утончилось, оно осветилось такой бесконечной надеждой, такой верой, что стало теплым. Угощала земная женщина Кирья земного бога Шайтана кусочком мяса, рыбьей спинкой, медвежьим салом, просила земная женщина земного бога Шайтана не ломать летнего запора, не раздувать дождями реку Евру до слепого безумия, до бешенства. Подносила земная женщина Кирья земному богу Шайтану полную рюмку белого вина, просила бога, чтобы тот пригнал нагулянную рыбу к запору. Просила женщина бога, чтобы тот не забывал людей, хоть немножко смотрел в их жизнь, а люди всегда носят бога в душе. Долго кланялась Кирья. И вот погасли угли, исчез смолистый дымок. Кирья взяла чуман с бараньей головой и поставила посреди стола.

— Сим Пупий принял жертву! — тихо сказал Мирон.

Мужчины выдернули из ножен острые ножи, каждый отрезал себе от головы по маленькому кусочку и запил брагой.

Начался праздничный пир. Пир мужчин. Женщины и дети собрались на своей поляне, за своим столом. У женщин своя пища и то, что останется от мужчин, и не должны они слышать то, о чем сейчас говорят мужчины. А те приняли белого вина, выпили сладкой царской водки, и тепло им стало, совсем горячо, и громкий смех раздался, и голоса стали звонче, и речи потекли свободнее, речи о Евре-реке, и о Конде-реке, и других реках, и о великой реке Ас. О сегодняшнем заговорили запоре, о том, как тонул Николка, как за волосы его тащил Тимпей, говорили о Мишке Картине, который дольше всех может сидеть на дне и ныряет совсем как Водяной Хозяин, маленько, правда, похуже, но тот ведь — Хо-зя-ин! И где ты так научился, Мишка? Наверное, это тебя научила Кулнэ — Женщина-Рыба? Никогда ты не видел ее, Мишка? Тело у нее серебряное, Мишка, литое тело у нее, грудь из пены, мягкая, неземная грудь. Всем хороша Баба-Рыба, только одно плохо, ноги-то срослись, и все, что между ног, потерялось! Как ты думаешь, Мишка-нырок, как ты считаешь, Мишка-гоголь? А Мишка раздувается от гордости — нету такого ныряльщика по всей Конде, нету! Вот брось камень — достану! Вот брось в реку нож — выну! А ежели денежку золотую брошу — вынешь? Нет, бросать не стану — все может щука-зверь проглотить. Нет, нонешний запор не тот, что допрежь ставили. Раньше-то и река вдвое шире была и глубже вдвое, а нынче — чего там — мель! Пущай ныряльщики в межень ее почистят. Чистили реку прошлый год? Чистили. Сколь коряг, сколь пней-выворотней вытащили? Уйму. Но мало все равно выгребли из реки. Так нельзя — манси из века в век чистили реки, освобождая их от коряг, от гнилых стволов и пней, ведь умрет речка, если ей вовремя не помочь. Рыба сдохнет — ладно, другая на другой год придет, а речонка издохнет, она уж не-ет — болотом станет, невозвратно уйдет. Вот, Мирон, ты много по лесу рыскаешь, много ты светлых, как слезина, речек встретил? Мало уже встретил? Нихья — Черемуховая речка — слеза? Слеза. А Журавлиное плесо? Муть. Во-от... священное плесо зарастает. А Халин-воль, Березовое плесо?

Кто его должен чистить? Его ты, ты, Яшка Кентин, должен чистить, Халин-воль, а ты только по деревне бегаешь, собакам спать не даешь! И бабы наши, женщины, совсем толстые стали, ленивые, совсем на ходу спят, перестали боры чистить. Раньше-то, раньше, когда мужчина крепко в руках женщину держал, то она столько из леса валежника носила, ой-ее, осветляла боры-беломошники, и ягода на мхах, как бусы на груди, лежала, одна к одной. А теперь... теперь какая ягода? Мелкая, кислая ягода.

Так было всегда — старики вспоминали прошлое, они возвращались в него, и оно, где-то полустертое, где-то выжженное и отпечатанное тамгой, наплывало на них таким неповторимо-прекрасным.

А молодым мужчинам и юношам уже не терпелось покинуть стол — их тянуло на широкую поляну под кедрами, где евринцы собирались на игрища. И они потихоньку уходили с пира, чтобы потом незаметно вернуться. На поляне юноши гоняли мяч из лиственничной губы, пускали стрелы из тугих луков, а девушки из-за кустов поглядывали — ведь сегодня были мужские игры. Мужчины, юноши и подростки расставили мишени, на высоких пнях поставили чучела уток, и силуэты зверей, и берестяные маски злых духов. На высоких жердях поднималось чучело Ялвала Ходячего с вороньим гнездом вместо головы, злобно ощерилась берестяная маска Комполэна — Болотного Духа, распахнул широкую пасть Виткась — Пожиратель Берегов, Виткась — Обжора, клочками пакли, истерзанной куделью свисал с ветки Вор-Хум, лесной оборотень. С пятнадцати, двадцати и тридцати саженей пускали стрелы мужчины, с двадцати саженей бросали в цель тяжелое копье и боевой топорик. Тупые стрелы с крупным, увесистым наконечником громко ударяли в бересту, оставляя вмятину. Подошли к поляне старики, за ними спотыкались правнуки, волоком тащили дедовские луки. Мишка Молотков натянул лук так, что лопнула тетива, взял другой, и тот лопнул.

— Сила в тебе звериная! — сказали старики.— Брось лук, ты лучше копье кинь.

Кинул Мишка Молотков копье. Далеко улетело, дальше всех, но не попало в натянутую лосиную шкуру.

— Хи-хи-хи! — брызнул из кустов девичий смех.

— Глаза у тебя нет! — осудили старики.

— И не надо! — ответил Молотков.— Я в кузне у Васька работаю. Меня русский кузнец хвалит.

— Дай-ка я! — подскочил Мишка Картин. Он сегодня победитель, он сегодня купается в почете, раздувается, как турухтан на токовище.— Вот — гляди! — И копье вонзилось в стволину, не задев лосиной головы. Только третье копье Мишки ударило в лосиный череп.

— Хи-хи-хи! — качнулись от девичьего смеха кусты.— Пока ты, Мишка, зверя заколешь, он убежит насовсем.

Стреляли из лука юноши — старики взревели от досады, кидали юноши копье — задрожали от гнева старики, боевой топор кидали — ужас охватил стариков.

— Ы-ы-у-ы! Ёлноер! — ругались старики.— Ты, Мирон Картин, возьмись-ка за парней. Совсем испортились, совсем ничего не могут. Ни зверя не добудут, ни селения не оборонят. Вдруг лихие люди нагрянут? Нагрянут лихие люди, а у парней рука дрожит.

— Хи-хи-хи! — задрожали кусты от девичьего смеха.

— Не дрожит рука! — крикнул Тимпей Лозьвин и вышел на поляну. Три-четыре лука осмотрел, три-четыре тетивы натянул, взял в руки пятый, тяжелый лук. Туго проныла стрела и впилась в глаз Комполэна, за ней вдогонку вторая, а третья впилась в оперение первой стрелы.

— О! О! — выдохнули кусты.

Резко и мощно метнул копье Тимпей, ударило копье в середину черепа, и тот треснул.

— О! О! Ай-е! О, Сим Пупий! — переплелись девичьи шепотки в ветвях кустов.— О, милый юноша Тимпей!

Три тяжелых ножа снял с пояса Тимпей. Как молния пролетел нож, серебряной рыбкой отблеснул другой, черным ястребом промелькнул третий нож. По самую рукоятку засели ножи в чучеле утки.

— Торум вайлын! Видишь, боже небесный, Тимпей — великий охотник! — одобрительно выдохнули старики.— Кинь топор, Тимпей!

На тридцать сажен кинул топор Тимпей. Сверкнул лезвием и наискось срубил сосенку, на которой громоздилась голова Ялвала Ходячего.

— Ты самый сильный, Тимпей! Ты самый желанный! — упруго поднялся звонкий девичий голос.

Старики недовольно оглянулись, а кусты, хлопнув ладошками листьев, плотно сомкнулись. Мягкий топо-

ток раздался, вспорхнули легкокрылые синицы, разбежалась девичья стайка. А Тимпея переполнила горячая радость — он узнал голос Вильян, голос самой дорогой женщины. Он сегодня найдет ее, он отыщет ее на месте девичьих игрищ, уведет сюда, под священный кедр и скажет о своей любви, о своей тоске и нетерпении. Тимпей сегодня попросит ее себе в жены, он не хочет брать ее силком. Нет, он будет просить ее.

А праздник продолжался. Гуляла по кругу посудина с брагой, и все были веселы и добры. И не опускалась темнота над пиром, над Еврой раскинулась белая ночь.

Но не нашел Тимпей любимую, убежала она с девушками в девичью рощу, где вокруг костров они водили хороводы. Только доносился к Тимпею ее голос, такой дорогой и чистый:

О, Евра, Золотые берега,
Серебристое дно.
Ты мать моя, Евра,
Лодка над тобой — моя сестра.

Голос высоко поднимался, распахивался над Еврой, и у Тимпея дрожало сердце.

Лодка моя, уткой лети,
К красному солнцу
Меня унеси.

Только на третий день, когда затухли праздничные костры, встретил Тимпей свою Вильян.

— Я охотник, Вильян! — сказал Тимпей.

— Знаю.

— На лыжах загоняю лося.

— Знаю, Тимпей.

— Ножом убиваю вуй-аньсих!

— Знаю, Тимпей!

— Я силен и здоров. В моем доме всегда будет мясо.

— Да. Пусть в твоем доме всегда будет мясо!

— В моем доме будет много детей, Вильян!

— Да пусть сохранят их боги,— ответила девушка.

— Стань матерью моих детей! — выдохнул Тимпей.— Стань хозяйкой моего дома!

— Я готова! — ответила Вильян.— Выкупай меня у отца моего. Приноси зимой выкуп.

— А сейчас? Почему не сейчас? — заторопился Тимпей.

— Лето...— тихо засмеялась Вильян.— Лето, Тимпей. Скоро наступит время тяжелой женской работы. Иди к отцу зимой, Тимпей.

— Ладно,— ответил Тимпей.— Зимой я выкуплю тебя, милая девушка!

4

Над песчаными отмелями, над ленивыми речушками, над густыми травами катится июньское солнце. Мужчины поставили в запоре кямки, разделили на паи, соорудили селянский садок, поставили фамильные плавучие садки. Большая вода сошла, обмелели многие речушки, только около запора река как бы обрюхатела, огрузнела река в омуте у запора, стала живой, чудовищно плотской от косяков рыбы, что густыми стаями подходили к запору. И этот омут, оживший, переливающийся, струящийся, день ото дня все больше грузнел и грузнел от рыбы, и та, пометавшись, побившись мордами о плетеную стену, выбрасывалась из реки и вдруг находила выход и устремлялась в кямку. Кямки быстро наполнялись живым, чистым серебром, и мужчины, довольные и сытые, вытряхивали рыбу в лодку и сплавляли вниз по реке к своим шохрупам — коптильням.

Как стрела из лука пролетело время июня, и над рекой, над теплыми кедрачами, колыхаясь в горячем мареве, поплыло время Кул Тослэн Ёнкып — время копчения рыбы, месяц июль, месяц изготовления урака. Жарко отсвечивали медно-красные сосны, по теплым стволам сочилась смола, отсвечивая медово и застывая по краям белой, ломкой корочкой. Глухие влажные тропы уводили в дремучие урманы, поросли они подорожником, лесные поляны покрылись ягодами, и те уже давно сбросили цвет, пахло земляникой. Сочно похрустывали под босой ногой изрезанные листья одуванчика, и руки от него покрывались горьким, клейким молоком. Весенние ранние ручейки, что выносили из ельника притаившийся снег, утончились до детской ручонки, и не могли уже пробираться среди мхов, и высохли, насорили мелкой галькой, оставив после себя пыльный след. А в тенистых, напоенных влагой низинах кучками, гнездами поднимались сочная кислица, заячья

трава, которую русские называли так чудно — «щавель», и эту заячью траву бросали в суп вместе с узкими перьями дикого лука. Древние старухи с утра уводили голопузых ребятишек на берег реки, где колыхался легкий ветерок, отгоняющий гнус, и в плетеные корзинки собирали кислицу — ее мочили на зиму для зеленого супа, собирали дикий лук-гусятник, и целыми днями детишки поедали кислые, сладкие и горькие травы, хрустели корешками, клубеньками, луковочками, и животы у них раздувались, а глазенки посверкивали на обожженных, припеченных солнцем мордочках.

Не уставая льется расплавленный жар солнца, раскаляя прибрежные пески, поджигая порыжевшие иголки. Побурели муравьи, и пожелтели пчелы и бабочки на желтых, медово-золотистых цветах. В ленивой истоме плавно кружили над рекой чайки, не кружили, а плавали, не шевеля крыльями, присаживались на отмели и, раскинув крылья, дремали, раскрывая клювы. Жаркий, знойный, душный месяц июль, месяц птичьих выводков и линьки. Мужчины отдыхают от охоты, лишь юноши промышляют на озерах и протоках, загоняя в ловушки, крапивные сети потерявших перо гусаков и селезней.

Мужчины сонно и сыто дремлют, два раза в день проверяют морды, а женщины уже не разгибают спину целыми сутками. Наступило время дымных шохрупов — коптилен. В полдень, когда солнце угнездится на самой макушке неба, на берегу собираются женщины, поджидая рыбаков. Река лениво наплывает теплой волной на берег, на их босые ноги, и женщины негромко переговариваются, чтобы не вспугнуть рыбу. Они подоткнули за пояс длинные юбки, входят в реку, ополаскивают лица. На берегу они сбросили с плеч берестяные кузова и деревянные совки. И вот сверху, оторвавшись от запора, показались лодки, и, хотя их несет течение, двигаются они медленно — полны лодки рыбы. Женщины и рады рыбе, но у них болит поясница, болят руки. Это пройдет после часа-другого работы.

Приткнулись лодки к берегу, мужчины вышли на берег и не торопясь, поджидая друг друга, поднялись к кедру, расселись в его тени и раскурили трубки. Так они будут сидеть до вечера, пока вновь не сходят на гребях к ловушкам. А женщины подходили к лодкам, деревянными совками нагружали еще живую рыбу в

кузова, поднимали на плечи и уносили к шохрупам. У многих коптилен в землю вросли старые лодки или глубокие долбленые колоды, их наполняли свежей речной водой и туда высыпали рыбу. Много раз спускались женщины к лодкам, много раз поднимали тяжелые кузова на крутой берег. Опустели лодки, женщины очистили днища и борта от чешуи, набросали свежей травы и зеленых веток. Только один Тимпей Лозьвин помогал матери и сестрам таскать рыбу, однако не в женском кузовке, а в большой, плетенной из тальника корзине. Отец Тимпея еще не стар, поломал его крепко медведь, ноги не держат, но руками нечеловечески сильный. Ползал он на коленях, с колен вырубал прочные, легкие и стремительные лодки-долбленки.

А женщины, перетаскав рыбу, торопились разделать ее. Разделать как можно скорее: жара — рыба мгновенно вспухает, тухнет, собаки даже не едят. Это же грех страшный — портить такую прекрасную, нежную и сочную рыбу, добытую на священном месте летнего запора, рыбу, посланную богами.

Женщины ближе пододвинули к себе отесанные березовые чурки, бревнышки, прикрыли колени мягкой берестой и взяли в руки нильсапы — костяные ножи для чистки рыбы. У каждой женщины свой нильсап — у кого длинный, с тяжелой ручкой, у кого короткий, с острым лезвием и зазубренный сверху. Из века в век матери передают своим дочерям искусство разделки рыбы; это только на первый взгляд кажется таким простым и легким, но за лето, за время копчения, женщины успевают разделать неподъемные груды рыбы, груды эти выше, чем большая изба. За лето по нескольку раз слезает кожа с ладоней, и они белеют, как рыбье брюхо, пальцы распухают и не гнутся от уколов рыбьих костей, а у неумеющих, так и не научившихся женщин руки кровоточат и нарывают. Тягучей болью наливается поясница от долгого сидения на корточках, болит усталая спина от живой тяжести рыбы, которую нужно перетаскать из лодки к шохрупам. Но любо-дорого смотреть, как умеет женщина готовить рыбу. Раз! — скупое неуловимое движение нильсапа, и снята чешуя. Два! — и чешуя, скользя, сползает с другой стороны, и рыбина чиста. Три! — и рыбина вспорота, четыре — кишки вынуты, пять — и готовая, порой еще живая рыба летит в чуман. В другой чуман бросают чешую, а в третий — кишки. Чешую

тщательно промоют, высушат, высыплют в посудину, а зимой из нее сварят вкусный студень. Кишками — а их так много — нагрузят колташиху, и пусть они потихоньку булькают на медленном шепчущем огне, из кишок вытопится вкусный жир. А его нужно много готовить на долгую зиму.

Готовую распластанную рыбу нанизывают на сухие таловые, ольховые, березовые жалины и на лиственничные и сосновые, но только не смоляные. Жалины длинные и узкие, как копья, больше метра, такая деревянная спица с ручкой в четверть аршина. Вот эти жалины с нанизанной рыбой и развешиваются в шохрупах, где по вечерам, когда спадает жара, разводится огонь. И за огнем нужно следить, и для каждой рыбы — сырка ли, язя ли, щокура ли, окуня — нужен свой огонь, свой жар, и нужен разный дым — белый, густой и плотный, влажный или легкий, невесомый, синевато-водянистый или горячий, чуть красноватый дым. И, развесив рыбу, раскинув костры — дымы, а дымы те бросаются в лицо, в рот, в горло, в глаза, выжимают слезы и кашель, раскинув костры, торопятся женщины в лес, в широкую пойму реки, где заранее приготовили вывороченный березовый пень, и собранную чагу, и березовые, пихтовые корни, и черемуховые кусты, и тальники, что вырвала из берега весенняя вода. И пихтовый, кедровый стланик, можжевельник, и багульник, и сухую ель — все несут женщины в коптильню, оттого у каждой хозяйки свой вкус — свой аромат, свои неповторимые запахи урака, хозяйка старается не только заготовить много урака, но и закоптить его так, чтобы он был вкусен. А каждая семья, любая семья — хоть Лозьвиных, хоть Картиных и Кентиных, не говоря о многолюдных Чейтметовых,— заготовляла урак не пудами, а возами. Понимать надо: сядут за стол пятнадцать душ — стариков, старух, мужчин, ребятишек, откроют пятнадцать ртов — и каждому на зуб положи. По одной рыбке, по одной урачине положи — полтора десятка, да на ужин положи полтора — это уже вязка. А сколько в зиме дней и какие это дни? Но если бы только для себя готовили урак и рыбий жир, если бы только для себя... Его обменивают на хлеб и на соль, на чай, на табак, на сахар. О, на что только не меняется урак, самая главная добыча, самая главная пища. И эта главная пища, что должна быть целиком отдана детям, старикам и мужьям, начи-

нает растекаться по торговцам, по перекупщикам, лавочникам, по богатым мужикам, растекаться, чтобы вернуться кусками сукна, плитками чая, кусками сахара и пачками пороха, иголками, топорами и ножами. И эти стертые, белые, как береста, руки, опухшие пальцы с сорванными, обломанными ногтями, и красные, изъеденные дымом глаза, и ноющая, неразгибающаяся поясница; все эти сверкающие, шуршащие плавниками тысячеротые, тысячепастные, пучеглазые груды рыбы — это уже не только груда пищи, это уже не только дар богов и Хозяина Рек,— это воля и характер мужчин, их сила и несгибаемое упорство, это великие слезы женщин, это преждевременная старость, сгорбленная спина, это великая, беспредельная, неодолимая работа во имя рожденных и еще не родившихся детей.

Медленно, в дымах шохрупов, в мелькании нильсапов плывет время урака, входя в зрелый и сочный, ягодно-рассыпчатый ореховый август, месяц Кул Вытнэ Ёнкып, месяц посадки рыбы в садки.

Шохрупы будут дымить до тех пор, пока стоит запор, но женщины по звонкому утреннику уже бегут в светлые боры, чтобы собрать ягоду. О, как расщедрились боги! Боги осыпали сосновые боры, кедрачи и болота сочной ягодой. Кружится у глухаря голова от винного брожения.

ПАГУЛЕВ — «БРАТ ВОГУЛОВ»

1

Кто он был такой, откуда родом, каких кровей — никто из евринцев не знал, не дано было того знать. Пагулев обитал в ста немереных верстах, в краю пелымских манси, в семи верстах от города Пелыма. По всей округе, в селах и городках, поставил Пагулев свои лавки и магазины, склады и амбары, держал своих людей — приказчиков, давал товар торговцам-коробейникам. Сам же торговал широко — закупал оптом, не мелочился, вывозил товары на многолюдные, громкие ярмарки.

Запомнили евринцы первый его наезд. Не ехал Пагулев, а летел над землей, в снежном облаке мчался на тройке вороных, гладких, как глухариное перо, коней. Словно черный огонь, распласталась тройка над сугробами...

Кони, кони вороные, сильные и горячие, свирепые, как соболи, лоснящиеся, черные, как сажа, как осенняя вода в молчаливом таежном омуте. Над расписной, как радуга, дугой коренника, бился, захлебывался в разбойничьей удали медногорлый бубенец, и вторили ему колокольчики, что украшали дуги пристяжных. Насторожились евринские собаки, шевельнулись, стриганули чуткими ушами, подняли морды, уловили запахи незнакомые, нездешние, тревожные и всполошились, взбрехнули, заклубились, кинулись стаей к реке, к повороту дороги.

А за собаками, за изрубцованными клочкастыми кобелями, за остроухими гибкими сучками, вздрагивающими от азарта, нетерпения и любопытства, косолапя, бочком, неумеючи побрехивая, обнажая редкие зубы, кубарем, через голову, мчались щенки. За щенками из юрт, полуземлянок, приземистых изб высыпали, как конопля, как орешки из кедровой шишки, босоногие, красноносые ребятишки — смуглые, темноглазые. Высыпали, зашмыгали носами, заплескали тоненьким смехом, залепетали березовой листвой, засвистали снегириной стайкой.

Степенно, посасывая трубки, вышли из юрт мужчины-охотники, вышли лунявые старики, заиндевевшие в своей старости.

Разрезают, разваливают Евру черные кони, и отражается тускло низкое солнце от их гладких и мокрых спин.

— Купец пожаловал. Наверное, в Евру пожаловал бога-атый... боль-шо-ой купец. Во-он какие у него кони... кони-звери!

— Тпру! Стой... стой, дьявол! — резко осадил тройку темнобородый, обугленный на морозе литой кучер. — Стой, ми-ла-ая!

Рассыпались в звоне бубенцы-колокольцы, всхрапнули кони, чуть присели задом, зверовато задрав оскаленные морды, и вкопанно застыли у ограды крепкой высокой избы первого евринского богатея Кирэна. Несколько раз встречался Кирэн в Пелыме с Пагулевым, и тот заметил ухватистого, расторопного и смекалистого вогула. Пригласил его в свой дом, угостил водочкой, дал немного товару — торгуй. И второй раз дал... и четвертый...

Плотный, круглолицый Кирэн, неподпоясанный, в

красной распахнутой рубахе, в драных носках, выпрыгнул из избы, скатился по обледенелой тропе и встретил купца у ограды, низко, чуть ли не до земли кланяясь.

— О! Торум Самт — на глазах у бога,— торопливо проглатывая слова, заговорил Кирэн.— Ай-е! Ай-е, Клистос ты восклес! Сторов!.. Ой, как сто-рово... Пакулев. О, Шайтан! Пасе олын сим ком — Здорово живи, милый мужчина! Стра-ствуй, прат! — выкрикнул Кирэн торопливо и страстно.

— Здорово! — пробасил из саней Пагулев.— Здравствуй, брат мой Кирэн!

— Ага-ага!— заликовал Кирэн, гордо оглядываясь на людей, что неторопливо собирались у ограды и заходили во двор.— Ага! Ты старший прат мой — Япум, я — Кирэн, млатсий твой прат! — заулыбался, засветился Кирэн, выдергивая из загородки жердины, открывая широкий въезд во двор.— Вот какой ты празник, Пакулев. Самый лучший, светлый день! Заходи в юрту-том!

Черный, заросший густым волосом, тяжелый, как медведь, кучер Ефим отбросил заснеженный верх санок, откинул медвежью полость и помог выбраться Пагулеву. Кирэн подскочил сбоку, подхватил купца под руку, и тот, грузно ступая, прошелся по двору, разминая затекшие ноги.

— Давай, прат, давай в юрту-том! — обогнув купца с другой стороны, налимом извивался Кирэн.— Мирон,— подскочил Кирэн к своему соседу.— Зови Апрасинью, Матерь нашу, пусть поможет встретить гостя, бо-га-того купца! Моя баба совсем паршивая.

Зашли в просторную избу. За купцом неотступно, как тень, следовал кучер, а за кучером молчаливой толпой — родственники и соседи Кирэна. В праздничной дорогой шали, посасывая трубку, во двор вошла Апрасинья, а за ней Филя-скудельник. Пригнулся у порога Пагулев — высок он, широк в плечах. Пригнулся и кучер, помог купцу сбросить тяжелый тулуп.

Никто не видывал такого меха, странный, невиданный зверь носил тот мех. Щупали, нюхали охотники, мяли пальцами шерстинки, шептались и пересмеивались.

— Ай-е! Что же это?

— Енот! — захохотал купец и подмигнул Кирэну.— Зверь такой редкостный — енот.

— Е-е-но-от?! — выдохнули пораженные охотники.— Е-ено-от... Шипко мех добрый... Ено-от — пальшой сверь? Как волк он? Как росомаха он? Кровь пьет али терево клотает?

— Енот-то? — рассмеялся Пагулев, разжимая узкие замерзшие губы.— Как собачка он, щенок с виду...

— Сопа-чка? — удивились манси,— совсем сопачка, а мех такой топрый носит? Ай-е! Щох-щох!

Хотел кучер Ефим шубу с купца снять — тепло в избе, огонь заиграл в чувале, только Пагулев не позволил, отстранил рукой. Остался купец в собольей шубе — нёхысъях, расстегнул у ворота литые серебряные пуговицы с двухголовой птицей. Наверно, глухарь та птица — шея длинная, башка здоровая, только когти злые. Купец в царской шубе прохаживался по избе, поколачивая нога об ногу, обутый в белые поярковые пимы. Пимы изукрашены причудливым узором, где в сплетении фиолетовых струй гребенчатый сине-зеленый дракон на коротких ногах разевал красную свирепую пасть. Собака Кирэна незаметно проскользнула в избу, увидела это чудовище. Обомлела собака, вздыбилась шерсть на загривке, злобно зарычала.

— Зазяб маленько,— потирая крупные, тяжелые ладони, протянул купец.— Ну-ка, подай, хозяин, посудину поболее. Ноги надобно погреть.

— Как ноки? Какие ноки креть, чуман совсем колотный! — недоверчиво поглядел на купца Кирэн.— Сопсем, как снек холотный...

— Тащи! — приказал купец.

Кирэн вышел в сенки, вынес заиндевевший чуман и поставил перед купцом. Кучер Ефим из саней вынул бочонок-лагун, распечатал его и вылил в чуман «царскую воду» — спирт. Не торопясь, молча подошел Ефим к своему хозяину, помог ему сбросить соболью шубу, усадил купца на лавку, присел, бережно стащил с ног пимы. Освободил купцу ноги от меховых носков.

— Из белки носки,— прошептали у двери.

— Да он — что? Разулся, теперь винку пить станет, а? Может, он штаны снимет, может, это обычай такой? Да разве можно столько белого вина... столько водки одному выпить? — шелестели манси у порога.— Тут на всех евринских мужиков хватит, о Великое Небо!

Пагулев слушал и все понимал, о чем завистливо

шептали евринские вогулы, покашливая и посапывая трубками. Осторожно, медленно опустил он левую ногу в чуман, потом опустил правую. Долго в загустевшем молчании сидел Пагулев, зорко и остро оглядывая мансийцев-вогулов, а те уже битком забили переднюю избу: пришли посмотреть на важного гостя, богача купца, который словно не замечал их, булькал и плескал ногами в спирте.

Сельян Кентин с удивлением, горячо дыша, зашептал на ухо Мирону:

— Однако, богатый. Ай-е! В таком добре ноги моет?! А в чем же он морду моет, Мирон?

Пагулев из кармана меховой телогрейки вынул белоснежный батистовый платок. Крепко, до хруста, обтер им ноги, встряхнул и бросил платок в чуман.

— Ефим,— позвал кучера купец.— Выплесни-ка помои на улицу.

У евринцев от спиртного духа кружилась голова, сжимало горло и рот наполнялся слюною. Ефим, приподняв чуман, пошел к двери, держа посудину в вытянутых руках. Он раздвинул плечом мужчин, саданул ногой по двери и вышел за порог. Тусклое солнце кралось над темным лесом, брусничной алостью подернулись сугробы, высверкивая синевато-колючими снежинками. На ограде снегириной стайкой повисли мальчишки, таращили глазенки и шмыгали мокрыми носами. Оглянулся Ефим, размахнулся было, но тут к крыльцу торопливо подскочил опоздавший Сандро Молотков.

— Хочешь? — властно предложил Ефим.— На, бери давай!

Сандро даже присел, не понял, что сует ему бородатый русский, молча принял в руки чуман. Наклонился Сандро, втянул в себя воздух, шибануло спиртным духом.

— Астюх! Да чтоб меня холодной водой облили! — выдохнул Сандро и побежал домой в свою берестяную юрту, в свой домишко-кялкеле. Скорее!.. Быстрее!.. Скорее, как бы не раздумал потерявший рассудок чернобородый.

Ефим вернулся в избу, когда купец натягивал на покрасневшие ноги беличьи носки и спрашивал Кирэна:

— Ну, как? Много нынче пушнины у ваших охотников?

— Есть маленько... Есть шкурка, прат Пакулев... Соболь есть — нёхыс, колонок, куниса есть... пелка.

— А много ли рыбы добыли?

— О! Рыпка есть маленько. Урак топрый... Есть рыпка, хватит и тебе, прат Пакулев. Урак есть, сало-жир есть.

— Завтра в полдень али вечером обоз мой из Пелыма подойдет,— сообщил купец, обувая пимы, и поднялся, головой доставая потолок.— Хлеба дам!

— Хлепа даст,— прошептали евринцы.

— Чай, сахар дам!

— Чай-сахар! О, это сторово!

Немало торговцев приезжало в Евру. Но то была купеческая мелкота либо чьи-то приказчики. Появлялся иногда и купец средней руки. Однако такого размашистого, богатого купца видели у себя евринцы впервые. Вот уж купец так купец!

— Соли дам... Порох-дробь. Железный товар есть — ножи, топоры, пилы, котлы медные, капканы. Дружить станем, торговать-менять будем. Не обманете меня?— хрипло засмеялся Пагулев.

— Не, не можно оммануть,— заторопились голоса из толпы.— Как так? Мы — чесный люди! Ты хлеп тавай, тапак тавай, совсем мох курим. Сахар маленько тавай репятишкам. Не омманем! Ты маленько белого вина тай!

— Поднеси-ка им по чарке, Ефим,— распорядился купец и вышел в другую, чистую половину избы.

2

А Сандро Молотков по узкой обледенелой тропинке торопился к своей старенькой юрте, вросшей в землю избенке, покрытой берестой и дранкой. Торопился и боялся расплескать дорогое белое вино, драгоценную огненную воду. Вот уж в мыслях не было, не думал не гадал, как в сказке, ни с того ни с сего такой подарок. А огненная вода колышется, живая она, плещется в чумане, и в ней, как на волне, тонкий прозрачный платок, как белая бабочка, что замочила крылья и никак не может подняться. Нету у нее сил, легкой бабочки, беспечной и глупой.

Попался на пути сосед, встретился дружок.

— Идем ко мне в гости! — криком кричит Сандро, ликует, словно голыми руками у себя в постели соболя поймал.

— Чего ты в руках так смирно держишь, Сандро? — спрашивают встречные.

— Белое вино смирно в руках держу! Идем в гости!

— Наверное, ты, Сандро, зачерпнул вино в мышином озере. Там вода заморная, горелая. Совсем тухлая. Шибко по носу бьет, издохнуть можно,— засмеялся сосед.

— Идем-идем! — заторопил Сандро.— Идем, я не жадный!

Зашли дружки в юрту, заглянули в чуман. Верно — полон чуман огненной воды! И белая тряпка поверху распласталась.

— А это-то почему? — спросили дружки, разглядывая платок.

— Так надо! — отрезал Сандро.— Наверно, моей бабе подарок! — Сандро пальцем, как крючком, подцепил платок, выжал его насухо над чуманом, так и эдак посмотрел на него и позвал жену. Аринэ кормила грудью младенца, долгожданного сына.

— Возьми, женщина, платок. Подарок тебе от русского купца.

Аринэ молча глядела на мужа, на дружков, что нетерпеливо ворочались в своих шубах, неловко двигались перед чувалом. Младенец тихо чмокал губами, а женщина ничего не понимала — откуда, зачем этот белый тонкий платок?

Сандро поставил на стол берестяной черпак, треснутые чашки, выщербленную по краю глиняную кружку, налил себе и дружкам огненной воды. И пошел черпак-черпачок вкруговую, как лебедь вокруг лебедицы. Крякали селезнем, шумно, со свистом выдыхали из себя воздух мужчины, сладостно причмокивали. Силком усадили за стол Аринэ, плеснули ей белого вина. Выпила Аринэ, жаром полыхнуло в груди, затуманилось в голове. Ушла она в свой угол к детям, потихоньку принялась покачивать апу — берестяную люльку, в которой спал малыш.

Мужчины стащили с себя шабуры. Глотнули еще огненной воды и запели. Сидят за столом, покачиваются и поют, только не сразу поймешь те песни. Один поет, как он соболя в урмане выслеживает, другой

поет, как он глубоко в омут ныряет, точно утка-гоголь, третий поет, как он острогой бьет щуку в озере. Щука не рыба, щука — это зубастый страшный зверь с холодной кровью, которого прокляли духи, прогнали из леса и заставили жить в реке. Конечно, щука не рыба, она зверь. Все знают, что она утят глотает, как сырка, чебака глотает, даже деток своих глотает. Здорово захмелели, бросились обниматься, хвастать друг перед другом, какой он фартовый охотник, какой он отменный рыбак. На шумную гульбу-застолье стали подходить евринцы. Лозьвины подошли и Кентины, кто-то из Качиных подошел, набились в юрту, как язь в кямку — морду. Кто-то сбегал к Кирэну, за шкурку красной лисы, за соболишку добыл еще белого вина, и вновь вспыхнуло затлевшее было застолье.

Не помнится, да как разберешь, кто из мужчин трубку принялся раскуривать, кто поджег тонкую лучину от жирника, понес через стол да пошатнулся и уронил горящую в чуман. Огненная вода вспыхнула. Как живое, задрожало голубое жадное пламя и, дрожа, неслышно заметалось по стенкам чумана, и береста вспучилась, закорчилась судорожно. Чуман вспух, выкинул дно и выплеснул пламя на стол. Со стола по березовым ножкам пламя потекло на пол, в угол, где грудой свалена была одежда, и кинулось на нее. А мужики, обнявшись за плечи, пели и удивленно смотрели, как пляшут, извиваясь, синеватые язычки. Уставились друг на друга, как караси, тыкали пальцем и тоненько смеялись — пламя отбрасывало на смугло-медные лица фиолетовые тени.

Сильно рассердился в ту пору Товт-Торум — Бог Огня. Ворвался Товт-Торум в юрту Сандро, раскинул сотни рук своих, распахнул сотни ненасытных пастей с острыми огненными зубами. И охватил все в избе. Жадный, ненасытный Бог Огня...

Внезапно от толчка проснулась Аринэ, а пламя уже кидалось от стены на потолок, с потолка падало на пол и хищно подбиралось к спящим детям.

Вскричала громко Аринэ:

— Щох-щох! Торум Вайлын! Ты видишь, боже небесный! За что ты покарал мой кров? Зачем ты, Товт-Торум, хочешь поглотить моих детей? Ай-е! Ай-ю! Люди, по-мо-гите! — взывала о помощи Аринэ.

А пьяные мужчины ничего не понимали — разум

отступил от них. Махали они, как полоумные, своими шабурами, толкались и шатались, рычали и рыгали. Прыгали они и падали — пытались со стены сбить пламя. А пламя все больше разгоралось и шире распахнулось, охватило уже небогатый скарб и пожитки. Аринэ вытолкнула старших девочек на улицу и швыряла им вслед дымящуюся одежонку, а сама бросилась в угол, схватила берестяную люльку — апу, выскочила из юрты и подвесила апу на старую березу, а у комля на шабурины усадила детей.

Плачут дети на каленом морозе — вырвали их из теплых ладошек сна. Выкатилась из-за черного урмана луна — спелая, ясная, холодная, заискрилась она, и голубоватый свет пролился на чистую нетронутость снегов. Из раскрытой юрты, из черного провала двери раздались крики и ругань, визг.

Заметалась Аринэ — побежала в юрту. Дым, чад, тошные запахи паленой шерсти, горелой кожи и рыбьих костей. Растерялась Аринэ — то ли скарб спасать, то ли мужчин выталкивать. А те шли на огонь, как на вздыбившегося медведя. Только муж ее Сандро совсем плох. Ровное место его не держит, опрокидывает на спину. Падает Сандро, закидывает ноги за голову.

— Ы-ы, Ёлноер,— рычат мужчины.— У-у, да чтоб тебя Подземный Царь....— а огонь наотмашь бьет пламенем по лицам, по глазам, яростно хватает за волосы и откидывает, а мужчины визжат и стонут от боли.

— Сандро... Сандро! — умоляет Аринэ, за плечи поднимает тяжелого мужа.— Поднимись, муж мой! Поднимись, вспомни о сыне своем, о дочерях вспомни. Золой станешь, холодным углем, не увидит тебя сын... Вставай!

Встал Сандро. Пошатался, но встал. Поднял его младенец-сын. Поддержали невидимые руки дочерей, пусть слабые, но верные. Кое-как вытолкнула Аринэ мужчин, пламя, словно рысь, яркое, пятнистое, прыгнуло им на плечи вдогонку, вырвалось из дверей и охватило крышу, впилось в жердины, ухнуло, зашептало что-то торопливо и невнятно беззубой ужасной пастью и принялось пересчитывать дранки и жевать бересту под ними.

— Огонь! — крикнул Мирон.— Горит Сандро! Хватайте, мужчины, топоры.

Чернущий, как глухарь, громадный, как лось, Ва-

сек-кузнец прыгнул в горящую юрту, вытащил плетеную корзину со скулящими щенками.

— Держи, батяня!

Сбежались евринцы к юрте Сандро, кто что схватил впопыхах — кто туесок, кто широкие камусные лыжи, кто деревянной лопатой принялся забрасывать снегом огонь. Но снег уже умяли, он отвердел, морозцем ночным его заковало, а до проруби далеко, да и крута к ней обледенелая тропа. Пламя под горстями снега шипело, проглатывало эти горсточки, и снег исчезал, поднимаясь светлым парком. А хохол Мыколка, скаля зубы, крушил топором юрту, Васек Чернота под тоненький голосок батяни своего Фили еще несколько раз нырял в пламя, вытаскивал какие-то вещицы. А потом на Ваське задымила рубаха.

И тогда Матерей Мать, Апрасинья, крикнула громко и властно:

— Бог Огня, Товт-Торум, просит материнского молока! Женщины!

Кормящие матери безмолвно опустились на колени, распахнули платья и в поднесенные посудины стали сцеживать молоко.

— Скорее! — кричит Матерей Мать.— Товт-Торум хочет испить материнского молока! Задобрите его жертвой, женщины!

— Йезус Мария! Пречистая дева! Какое дикарство...— бормочет Ондрэ Хотанг, раздирает чистую рубаху и перевязывает обожженную руку плачущей Аринэ.

Наверное, кормящих матерей было мало, а Бог Огня был рассержен, что не принесли вовремя жертву — не унялся. Съел юрту — глотал кусками черно-красной своей пастью.

— Нехай горить! — кричит Мыколка.— Дерьмо, а не юрта... Труха да гниль... Мы ему, мужики, ежели подмогнете, добрую избу поставим. Нехай горить — уголья для Васька.

Остался Сандро без юрты. Голым остался, как налим. Да и не видел он ничего, прилег на сухой валежине, у изгороди, запахнулся в шабурину и заснул без снов, словно камень.

Аринэ до утра березовой жердью разгребала раскаленные уголья, доставая котел, медную посуду и чайники...

3

Пагулев проснулся, как всегда, рано, только-только прорезалась над рекой заря. На столе пыхтел самовар. Ефим, наклонившись над колташихой, вынимал черпаком куски баранины.

— Стой! — остановил его Кирэн.— Вынимай серсе!

— Да ну тебя,— отмахнулся Ефим.— Да разве станет хозяин мой сердце жевать? — У нас этот бутор— потроха: сердце, легкие, требуха — на стряпню, на пироги идут. Понял? А ты — хозяину...

— Обычай такой,— засуетился Кирэн...— Закон... Серсе, колову баранью, да хоть чью, у нас мужик, охотник, хозяин, кусает. Обычай! — вскинул руки Кирэн.— Ба-бе ни-ни, польсой крех! Самый страс-сный крех! Тавай, таси из котла колову!

— Дикари,— пробормотал Пагулев, лежа на постели в другой половине избы. Но видно ему все и слышно через открытую дверь.— Дикари и есть. Отатарились наглухо, головы бараньи. В которого же бога они веруют? Илью-Пророка, Николу-Угодника поминают, Матерь Божию и Шайтана тут же. Шайтан — Сим Пупий — это есть ихний земной бог. Шайтан Пупий, а у татар Шайтан — черт. О господи! А больше все скверным языческим богам своим поклоняются. Тьфу! — Пагулев откинул енотовый тулуп, опустил ноги на ледяной пол, пошарил — нет ли носков или пимов.— А ежели без бога живут, то потерянный, стало быть, народишко. Эх, мелкота человеческая, сколько же ее по земле раскидано!

— Ефим! — громко позвал Пагулев.

— Иду, хозяин! — Ефим занес в комнату согретые у чувала носки и пимы.— Откушать зовут... Образ-то поставить? — усмехнулся в бороду Ефим.

Знал он, что хозяин его будет молиться хоть каменному, хоть деревянному идолу, стволине кедровой или чучелу звериному, ежели из такой мольбы, из идолища можно выжать копейку.

Пагулев остро, по-звериному чуял, что нужно сейчас скупить, что завтра, именно завтра, необходимо продать. Он чуял торговлю, биение ее сердца, держал в памяти все ее крохотные ниточки и узелки, как породистая лайка держит след драгоценного зверька, хотя тот и бежит по деревьям, хоронясь в дуплах. Он успе-

вал скупить у вогулов горы пушнины и выгодно, втридорога, продать толкающимся на ярмарке иноземным купцам. Знал Пагулев спрос, наверное, изучал его, как охотник — след в тайге, чутко вслушивался в дыхание торговли и, раскидывая свою сеть, улавливал, как она прогибается, колышется, когда в нее входила крупная рыбина.

В великое говение, перед пасхой, когда православный люд не прикасался к скоромному, не ел молочного и мясного, великим спросом пользовалась рыба. И Пагулев в лавки свои, в лавчонки, на базары забрасывал горы разной рыбы — от стерляди, нельмы и муксуна до слюнявого, колючего, как еж, ершика. В лавки Пагулева забегали мещанки и горожанки, кухарки и дородные купчихи, нагружали полные кошелки рыбой, и особенно охочи они до урака, копченой до прозрачности, высушенной до хрупкости рыбы, особо спрашивают урак, что готовился в мансийской деревушке Евре.

— Пагулев все могет!..— втайне завидуя, отводя глаза, говаривали купцы.— Могет так обмануть, что поначалу думаешь — облагодетельствовал тебя. Так обманывает, будто из беды тебя выручает. Он в великое говенье из ершишкина хвоста золото гонит. Вся рыбка у него не медная, не алтынная, а золотая.

Но Пагулев очень сложный, нераскусимый человек, глубоко он прячет свое ядро-сердцевину. Простым, доступным он только снаружи казался. С мужиками любого достатка запросто мог за один стол сесть, и вина с ними выпить, и коркой хлеба занюхать, и на охоту на медведя, на рыбалку с ними сходить, у костра всю ночь с мужиками прочухаться. Многое он узнавал у тех костров — у огня люди размякают, раскрываются, голыми руками их бери. Не боялся Пагулев проникать в самые глухие места, отрезанные от мира, бездорожные, узкотропные места, безлюдные, зловещие, где подстерегал лихой человек или просто отчаявшийся беглый, что прятался от людей, властей и закона. Обладал Пагулев силой звериной — и не ведал страха, оттого, может, и не верил он ни в бога, ни в черта, а лишь в себя, в удачу свою. Пять лет назад вытащил Пагулев из ледяного крошева реки вконец обессилевшего Ефима. Бежал Ефим с каторги, уходил в родимую Тамбовщину потаенными тропами, да вот погибал в реке — надломился жидкий лед. Бросился Пагулев в

реку — вытащил мужика, отхаживал месяц в зимовье.

— Век тебя не забуду! — поклялся Ефим, поднимаясь со шкур, громадный, костистый, страшной силы человечище.— Служить тебе стану!

— Служи! — позволил Пагулев.

Три года тому отбились Пагулев и Ефим от пятерых лихих людей, крепко покалечили, когда те захотели проверить купеческие карманы. Имя Пагулева обрастало легендами, и купец сам подогревал, а может, и сам распускал о себе слухи. Он наживался открыто, весело и дерзко, и не оттого только, что хотел набивать сундуки, а больше от азарта, главное же — он добивался власти, а власть ему давало золото. И обирая вогулов и остяков, татар и русских мужиков, он готовился к схваткам с самыми богатыми купцами, с тузами торговыми, готовился биться с ними насмерть.

— Откусай, хозяин! Прат ты мой!— низко поклонился Кирэн.

— Ну, садись, Кирэн,— предложил Пагулев, прихлопнув тяжелой квадратной ладонью по лавке напротив.— Прими чарочку. Вот и хорошо... Садись... Потихоньку, не торопясь сказывай, а я писать буду.

— Писать... ково... кута писать? — заелозил по лавке Кирэн.— Засем писать? Пять зим власть книку писал — ясак тапавили...

— Власти пусть пишут,— отрезал Пагулев.— Им души нужны для закона, для ясака. Мне души не нужны, а дело. Назови мне всех лошадных, безлошадных. Особо безлошадных назови, безоленных. Детей у кого сколько и сколько мальчишек, на девок-то пай не дают?

— Не-ет, на тевку нету пай,— ответил Кирэн.— Тевка — ворона, у ней трукая душа. Мальсишка — музык, ему пай дают...

— Так вот давай и начнем, благословясь,— перекрестился купец. Он достал из дорожного сундучка книгу в толстом переплете, развернул разлинованные страницы.— Грамоту мало-мало знаешь?

— Снаем, снаем,— закивал головой Кирэн и тоненько захихикал.— В Пелыме, в серкви тве зимы терсали, маленько писать усили. До ста ситать моку!

— Ну, до ста тебе считать не надо,— успокоил Кирэна Пагулев.— В книгу внесем всех евринских мужиков. Сорок дворов в Евре, сорок хозяев. Какой здеся самый большой, крепкий род?

— Польсой рот? — переспросил Кирэн.— Самый польсой рот — Чейтметовых. Хоросый, клепкий хосяин... Сынов девять,— растопырил пальцы Кирэн,— девять душ. Сам — десять, отес Афоний... Отинасать паев... Да у сынов мальсишки...

— Вот Картин Мирон... Пишем, Картин Мирон, сын Максимов,— вслух размышляет Пагулев, тщательно делая запись.— Знавал его отца — твердой веры человек. Только непонятно, кому поклонялся. А сам Мирон — шайтанщик, ну ладно, не буду... Что имеет Мирон? Кто с имя живет — две тетки, одна старуха еще — кладу в память. Семь, значит, сынов... Ну баба у Мирона — глаза насквозь. Ведьмачка али колдунья. Три коня, говоришь? Ага, четыре. Так, крепкий хозяин. Вон что — Матерей Мать? Ладно, пущай станет Бабкой Бабок, Бабой Ягой, не жалко. Восемь паев, а семья, как у утки, прожорливая семья — ртов много. Сыны,— задумался купец.— Их женить надо, выкуп каждому собирать-готовить. Значит, много будут Картины добывать. Много станут и продавать. Много купит тот, у кого сыны. Понял, Кирэн?

— Понял, понял,— закивал Кирэн, стало помаленьку доходить до него, зачем Пагулев завел такую бумагу.

— Насмерть биться хозяин станет, а пай свой в реке, в запоре никому не отдаст? — неожиданно спросил купец.

— Никому! — твердо ответил Кирэн.— Картин не оттаст. Истохнет — не оттаст!

— А вот Кентин Ляксей имеет, говоришь, четыре девки, жену да мать старуху. А пай один на восемь ртов — о-ди-ин!

— Один,— жалостливо выдохнул Кирэн.— Шибко худо зивет, залко. Кокта он еще тевок своих замуз протаст...

— Не жалко! — жестко отрезал купец.— Не жалко, а это даже очень хорошо. Забрать у него пай — пущай Ляксей на тебя, на меня робит... Понял, брат мой Кирэн?

— Не понял... Совсем не понял,— испуганно залепетал Кирэн, закрутил круглой головой.— Как так пай отнять? Без пая нет мужика, нет без пая хозяина. Пустой он становится, скотина с руками.

— А говоришь, не понял,— громко захохотал Пагу-

лев.— Верно — скотина он с руками. Но руки эти богатства создают. А кому? Тому, кто работу дает, понял? В чьих руках пай — река, угодья лесные, тот работой и распоряжается. А значит, и жизнью человеческой. Небось непонятно?

— Нет, непонятно,— испуганно залепетал Кирэн.— Как так, прат Пакулев, можно отнять пай в реке? Как? Веть его вытеляет селянский схот. Веть паем отеляют мужчину. И с пая берут ясак! Как его можно отнять?

— А так — залезет мужик в долги и сам отдаст.

Сидели до полдня — записывали всех: Чейтметовых и Кентиных, Лозьвиных и Молотковых, Картиных записали, Конзыновых и Алгычевых. Записали и вогулов из деревушки Сам-Павыл, что в пяти верстах от Евры, и вогулов из Болотной деревни — Нярпалы. Записали и вогулов из стойбища Вындырья.

— А я думал — вас меньше,— удивился купец.— В ясачной книге вас намного меньше.

— Маленько мозем,— тоненько засмеялся Кирэн.— Какому парню тевкино имя таем... прячем маленько. Залко ясак оттавать...

— За русских начнете выдавать, навовсе спрячетесь,— усмехнулся купец.

Каждого вогула — крепкого или худого хозяина — пересмотрели сверху донизу, ощупали до нитки, оценили и взвесили, выглядели до рубца и заплаты, до последнего капкана и слопца, и Кирэн, раскрыв рот, мотая головой и шумно вздыхая, чуть не взахлеб, поражался, с какой тонкостью, с какой ловкостью купец плетет невидимую сеть, беспредельно крепкую сеть, куда в конце концов попадут все евринцы. Да — все! Было ли ему жалко своих родичей? Маленько да, маленько нет. Кирэн не подумал об этом, просто он не помнил сейчас о них. Он заворожен Пагулевым, его умом, размахом, той силой, что исходила от него, и сила та околдовала Кирэна, и он в каком-то глухонемом, языческом ликовании готов был упасть на колени перед купцом, в котором было так много всего — и от земного бога Шайтана, и от небесного бога Торума, от русских, татарских богов и боженят. Кирэна поразило в Пагулеве то, что тот ни в чем не видел греха, не видел запрета.

Пагулев остро и пронзительно вгляделся в Кирэна, словно погрузился, как острога, на донышко его души.

Кирэну стало не по себе, между лопаток проскользнула дрожь, а на широком смуглом лице с открытым лбом обильно выступил пот.

— Ты, Кирэн, человек честный! — сказал Пагулев, не затушив горящего взгляда.— Ты неломаный вогул, без червоточины! И вижу я, накопитель ты, шельма и жмот.

— Сесный я... сопсем сесный! — горячо выдохнул Кирэн.— Не порченый. Верно-верно ты говоришь, змот я! И шельма я...— что-то теплое и ласковое, доверительное и поощрительное послышалось Кирэну в этой «шельме», он едва не задохнулся от преданности.

— Ставлю тебя своим доверенным человеком, Кирэн! — сказал купец, сурово нахмурив брови, отсвечивая темными жесткими глазами.— Мелкого купца я разогнал, пуганул до икоты, ну а если торговец какой придет, лотошник-коробейник, он не помеха. Да и своих стану подсылать. Станешь отпускать евринским селянам товары.— И Пагулев подробно, точно показал, как и что отдавать в задаток.— Давай не скупясь задаток на пушнину. Вот тебе цена, помни. Вот такой тебе товар — за связку белок... А вот что нужно давать за колонка. За красную лису... А вот за черную... За соболя.

«Наверное, ни один старейшина, ни один шайтанщик не знает столько, сколько Пакулев»,— подумал Кирэн.

— Летом пушного промысла нет, одна рыба,— продолжает Пагулев.— Товары давай в задаток,— я сам не могу каждый год бывать в Евре, много у меня Евр. Бери кедровый орех. Рукоделие всяческое бери. Придут за товаром — говори: «Обувь меховая нужна! Одежа меховая нужна». Берестяные чуманы, туеса, пайвы бери — пущай делают, такой товар по городам идет. Но,— купец стукнул кулаком по столу, зазвенела посуда, и Кирэн вытянулся,— главное и первое дело — пушни-на! Давай охотнику капканы, ножи, топоры. Давай железо. Ружья, порох, свинец — сами пусть дробь и пули катают. Давай охотнику задаток, и больше тому давай и маленько цену сбавляй, кто фартовый охотник. Мастеру давай, а лодырь пущай на корне гибнет, гниет. Когда человек щедрый, да если он еще с гонором, то он и тратит широко — во! глядите — у меня много! И не заметит, как растратит и снова к тебе придет. Придет и глубже залезет в долг. Понял?

— Понял, понял,— закивал головой Кирэн.— Ой, как понял, что тальше некута...

Смутное чувство тревоги вошло в Кирэна. Не мог он понять, почему Пагулев не уговаривал, не торговался с ним, а повелевал: «Станешь моим человеком!» И не грозил ведь купец, и не покупал, словно знал, что не украдет Кирэн, не причинит ущерба.

— Да, сесный я... сопсем сесный! — лепетал Кирэн.— Просто сопсем я шельма, верно ты говоришь...

4

Рыба была отменно богата в том году. Прямо на льду Евры в поленницы ее складывали, как складывают дрова. Но в зимних садках еще много рыбы оставалось. Если всю из садков вынуть — лед под ее тяжестью мог бы рухнуть, расколоться.

Не часто река так щедро одаривает людей. Но в тот год рыба на диво была — и сырок шел, и язь крупный да жирный, стерлядь шла, и даже нельма белотелая с муксуном. На свой пай каждому евринцу приходился плавучий садок в две-три сажени длиной, высотой в два аршина да шириной в сажень. А был еще селянский садок, общинный — из частокола, что вбивался крепко-накрепко в галечное дно реки. Когда закрепят, распахнут крылья запора, установят морды и разделят их на паи, всегда останется с десяток, а то и дюжина лишних морд. Вот рыба из них и идет в общинный садок. Позднее, уже осенью, когда окрепнет лед на омуте перед запором, из того садка рыба вылавливается и делится между пайщиками. Но уже сверх пая, уже как божий дар, хочешь — бери, хочешь — соседу отдай, общая казна, общий котел.

Рыбы на омуте накопилось столько, что лед не выдержал, прогнулся, треснул в нескольких местах, и рыбу заливало водой. Безлошадные евринцы не могли вывезти ее с реки, потому прямо на льду и сортировали, раскидывали в плотные штабеля — «головку» к «головке», «крупную» к «крупной», затем по сортности шла «средняя», или «мерная», а за средней — «межумок», четверть, мера ее от головы до хвоста. В отдельную кучу отбрасывалась мелочь, шла она на корм собакам и на поедь зверям, на приманку. И чего только не было в той поеди — травянисто-зеленый, по-весеннему яркий

ерш, и желтоглазый плотный окунь, и чебачок, и сорога, и мелкая щука-щуругайка, язи и гальяны-вандыши.

Куда девать столько рыбы? Полные амбары накоптили ураку. Натопили наперед рыбьего жира, наготовили рыбьего сала, и навялили, и рыбьей муки напасли, а рыбы все равно тьма, просто жалость берет, как бы не пропала. Селянский сход, не споря, порешил: «Пущай Тятенька Филя и Васек Чернота, плотник Мыколка да Ондрэ Хотанг заберут рыбу из селянского садка, возьмут, сколь надо им».

— Бери, Тятенька Филя! — предложил Мирон.

— Задаром не желаю! — отрезал старик.— Давай я возьму, а посудой с тобой расквитаюсь.

— Не надо посудой,— решила Апрасинья.— Пусть сын твой Васек сына моего Тимпея железу научит.

— А он соображение имеет? — строго спросил Филя и, увидев, что Апрасинья не понимает его, уточнил: — В голове у него варит?

— Ы-ы, Ёлноер,— выругалась Мать Матерей.— Как так — в голове варит? У него она что — колташиха? Разве можно здесь,— она ткнула пальцем в гладкий выпуклый лоб Фили,— разве можно здесь уху варить?!

Тятенька Филя тоненько смеялся и трясся от кашля, а Васек Чернота держал его за плечи и басил:

— Это, тятенька, хорошо... Подручный нужен мне. А ее мальчонка все вокруг кузни вьется. Берем, тятенька?

Два воза рыбы увез Мыколка, Васек перетаскивал ее в громадной, как лодка, корзине и засолил в трех бочках: в одной — сырок, в другой — язь, в третьей — окунь, щука да налим. Лекарь Ондрэ Хотанг пришел к селянскому садку с мелкой корзиной, и женщины долго смеялись: «Вот это едок! Вот это рыбоед!»

— Ты, Лыкерья, и ты, Кирья, за то, что Ондрэ детей твоих вылечил, наготовьте Хотангу рыбы из моей кучи,— распорядилась Апрасинья.— Распластайте и накоптите.

...Пагулев вышел на лед, поздоровался с евринцами, заглянул в прорубь, осмотрел садки близ запора и долго ходил среди поленниц рыбы, потирая руки. Доволен остался Пагулев — отменная рыба.

От садков, от запора всем стало видно, как снизу по реке, в облаке пара, в нетерпеливом пофыркивании и ржании коней, поднимается тяжело груженный обоз.

Заиндевели лошадиные морды, тонкие желтоватые сосульки свисали из ноздрей, взвизгивал снег под оправленным в железо полозом. Плотные, окутанные брезентом и мешковиной возы туго перетянуты веревками. Добрые кони тянули сани, на которых в овчинных тулупах громоздились возницы. За несколькими санями, сзади, на коротких поводках-веревках привязаны пестрые коровы — их насчитали дюжину. Коровы шумно и влажно дышали, бока глубоко проваливались — видно, проголодались в пути от Пелыма — шутка ли, до Евры сотня верст.

— Гляди, безрога, как лосиха! — восторженно вопила ребятня.— Башка безрогая... Баш-ка бе-зро-гая! — кричала хором ребятня, подпрыгивая на берегу.— Башка тво-я безрогая... и титька твоя голая!

На возах как-то обреченно лежали связанные по ногам овцы, поводя равнодушно выпученными радужными глазами.

— Коровы... Коровы кому-то? — обступили Пагулева евринцы.

— Да кому хошь! — засмеялся купец.— Тебе надо? — повернулся он к поникшему вогулу в потрепанной, обгорелой, какой-то изжеванной одежонке.— Тебе надо скотину?

— Да это Сандро Молотков,— шепотом сообщил Кирэн,— он носью корел... Все у него оконь позрал. Он, прат Пакулев, нынсе вовсе колый, как камень на перекате.

— Вот што! — вгляделся в вогула Пагулев.— Ты горел ночью, Сандро?

— Горел... Маленько горел,— горестно закивал Сандро,— огонь все у меня кушал. Только уголек оставил. Ребятишек моих Мать Матерей приютила, а я под березой спал.

— Голый он сейчас, как только родился. Такой вот он сейчас голый,— раздался голос из толпы.— Совсем пузо холодный.

— Горел оттого ли, что пьяным был? — нахмурился Пагулев.— Это грех — водку лизать, как собака! Изнутри сгоришь.

— Был... был...— торопливо ответил Сандро, зашмыгал носом.— Как собака лакал. Как вода пьяным был — мягкий и качался. Ну, как болото, пьяный. У меня рыба много. Дай мне, Пакулев... хлеба, чаю и табаку мне дай.

— Как болото пьяный? — рассмеялся купец.— Зачем ты, Сандро, водку так любишь? Сладкая?

— Сладкая, ой сладкая...— причмокивал Сандро. Тусклый свет в его глазах слабо плескануЛся.— Ты маленько табаку давай мне. И хлеба давай,— умоляюще просил Сандро.

— Ну, а рыбы у тебя много? — спросил купец, переступая в белых своих пимах.

— Нынче много. Два пая у меня, больше нет,— грустно ответил Сандро.— Может, за лето баба еще одного мальчишку принесет,— с надеждой добавил он.

— Ефим! — позвал купец.— Дай ему чего-нибудь из одежонки. Бабе его да ребятишкам. По-божески, как брату.— И подмигнул Кирэну.

— Пропьет он все, морда квашеная,— заворчал Ефим.— Это же надо — из помоев, обмылков такую гульбу затеял! Тьфу! Туземство дикое!

— Дашь ему,— ласково прищурился купец и громко, чтобы слышали все, добавил: — Как брату дай... Потом, когда я погорю, он мне сторицей воздаст. Возьму твою рыбу. Хлеба дам тебе, табаку, чаю, брат Сандро!

— Допрый какой!..— зашептали вокруг.— Совсем прат родной!

Вся Евра, от мала до велика, столпилась возле возов. Мужчины бросились распрягать коней. Взмокших лошадей обтирали сеном, ветошью, укрывали попонами, войлоком, снятыми с возов, отводили к амбарам в заветренную сторону. Возчики, на затекших негнущихся ногах, потянулись в избу. Кто-то во дворе раскинул костер, у изгороди толпились женщины и дети. Всех охватило радостное возбуждение, нетерпение и любопытство — что там, в тяжелых коробах, в сундуках, ларях, туго набитых мешках? Много, наверное, там всякого разного добра: и головы сахарные, и леденцы — сладкие льдинки, и патока, и сдобные тебе маковые сушки, и поди, там пряники медовые, печатные — ребятишки сглатывали слюни. А женщины просто сгорали от любопытства, полыхали румянцем из-под распахнутых платков,— много ли соли, много ли сахару привез купец? И муки, и круп разных, чаю и табаку, масла постного? Главное — хлеб, хлебушко — нянь. Те же, кто позажиточнее, покрепче хозяйством, невидимым взглядом как бы открывали сундуки и нетерпеливо выжидали, когда распахнутся короба и явится разноцветье шелков, шел-

ковые шали с длинной бахромой и огромными цветами. Будет ли там сукно — белое и красное, синее и зеленое? И еще ожидали, что будет в сундуках легкое полотно, гладкий атлас, тонкая кожа, шелковые ленты, бусы, иголки, нитки, серьги да бисер.

Мужчины толкались, позвякивали на поясах звериные клыки о рукояти ножей — им так нужны ружья да порох-дробь. И свинцу нужно добыть у купца. У купца они добудут и нож острый, и напильник трехгранный, топор да табак. Может, Пагулев огненной воды маленько даст?

— Дашь маленько вина? — спрашивали евринцы.— Поди, дашь маленько белого вина, царской водки дашь?

— Слушайте меня, мужики! — громко обратился Пагулев к толпе.— Сладили мы с вами торг, столкуемся по-людски и по-божески...

— По-людски и по-божески,— зашелестела толпа и почтительно притихла.

— Помогать станем друг дружке, как братья,— продолжал купец.— Издалека привез я вам хлеб-хлебушек, чай-сахар, порох-дробь, одежу, железо. Всякое баловство ребятишкам привез, купцу трудно, но он об людях думает. Коли завяжем с вами дружбу-торг, завсегда сыты будете. Завсегда вы покойны, одеты и обуты и, как говорится, нос в табаке. Вашинское дело зверя пушного добывать, наше — обихаживать вас, поить и кормить. Ставлю в деревеньке вашинской Евре доверенного своего, вашинского же, евринского человека, честного брата моего, Кирэна. Ребята, что подошли с обозом, поставят здесь мой амбар. И станет без меня Кирэн вам отпускать товары на обмен — все, что вам надобно. Не раз и не два, а сколь можно пришлю сюда обозы с товарами. Завтра поутру торг начнем. Несите пушнину, меха разные, шкурье. Рыбу, ягоду, орех кедровый возьму. Ну, а счас угощаю всех!

Купец выставил большой лагун водки да еще поменьше лагун, и вся Евра загудела. Гуляли, пили, орали песни до утра. Охватило всех неудержимое веселье, беспечное, по-детски бесхитростное возбуждение. Закипело веселье. Всем хватило белого вина, всем хватило огненной воды! Ой, какой добрый! Ой, какой щедрый, богатый купец, какой большой, сильный человек Пакулев, он брат наш, наш ведь он брат, Пакулев, Пакуль-купец. Вот на столе вино, огненная вода — пей! Вот на

столе хлеб — нянь — кушай! Вот табак душистый, крепкий, сладкий — кури! Голова так сладко кружится, туман-туман, покачивает тебя, как в лодке. И тепло-тепло, словно внутри тебя распахнулись горячие огненные костры, полыхают раскаленно в тебе, и так хорошо, и становишься ты сильным, становишься ты удачливым-фартовым... И красивый ты, и умный, и есть тебе что поведать-рассказать, слово мудрое старикам сказать. О! Как все кипит, как уха в колташихе... Вон Сандро Молотков — светится весь, как урак копченый, как луна его лицо, будто и позабыл вовсе, что юрта его погорела. Дал ему Пакуль рубахи, какой-то армячишко кинул ему под ноги Ефим, и рад Сандро до смерти, что приоделся в наряды купеческие, и оттого раздувался, выпячивая грудь, поводил бровью, как глухарь на току.

— Я — Пакулев прат! — кричит Сандро, ударяет кулаком в гулкую грудь.— Пакуль тоже прат мой!

Кто-то уже заиграл на «лебеди» — санквалтапе, быстро и уверенно перебирая поющие струны, и ударил в бубен, кто-то затренькал на трехструнной «гагарке» - тыритап; во дворе топтались по-медвежьи и пробегали у пылающего костра, размахивая руками, как речная чайка гибкими крылами. А за околицей, в темноте лесной чащи, голодно горели волчьи глаза и к низкому зимнему небу поднимался волчий вой. Потихоньку, словно крадучись, из-за леса приоткрылось зимнее утро. Гаснут звезды. Из-за урмана выкатилось красное, воспаленное солнце — зябкое, негреющее, поднялось над синеватой поземкой, а та струилась, шурша, между окоченевших застругов, но день все-таки заиграл, заискрился. Весь берег Евры за ночь истоптали зайцы, а вот их тропу пересек горностай, а вот смотри-ка, совсем близко к деревне подходила волчья стая, грудилась здесь, оставив на обледенелых тальниках голодные клочья шерсти.

5

Собрались евринцы на реке около своих рыбных поленниц. Ждали Пагулева, тихо переговаривались, одобрительно покрякивали. Такой добрый купец, славный человек. Смотри-ка, сам вызвался помочь безлошадным, сам решил вывезти рыбу с реки. Чего ее к амбарам возить, незачем... Очень хорошо!

С крутого берега спускался порожний обоз. Отдохнувшие за ночь кони бодро бежали, пофыркивали. Поскрипывал, повизгивал снег под кованым полозом.

Пагулев вышел на лед, погладил рыже-красную бороду, длинную, мягкую — лисий хвост, весело оглядел толпу, одетую в шабурины, в шубы, что похуже, в растоптанные пимы. Цепко вглядился купец в одноликость толпы.

— Здорово, мужики! — бодро крикнул Пагулев, и все заулыбались, отодвинулись от своих груд, окружили купца.— Попировали вечор? — ласково спросил Пагулев, и солнце озолотило его пышную бороду.— Начнем торг вести! Давай вот с этой груды и начнем!

Пагулев подошел к своим саням, что подогнал Ефим, принялся шарить в передке.

— Ефим! — позвал он кучера.— Да где же безмен? Весы у Кирэна оставил, а безмен где?

— А я почем знаю,— равнодушно ответил Ефим, толкаясь среди евринцев, разглядывая рыбу.— Ты дома в руках его держал, то помню... Може, по дороге выпал?

— Братцы! — хлопнул себя по лбу купец, и вид его был растрянный и озадаченный.— Братцы, да я, однако, дома, в Пелыме, безмен забыл. От де-ла-а! Весы для товару взял, а безмен забыл!

— Пезмен запыл! — толпа притихла, насторожилась.

— Не думал же я, что рыбы у вас, бедняг, столько,— сокрушенно замотал головой Пагулев.— Что же делать, господи?!

— Пезмен запыл... Весы взял тля товару, а пезмен запыл,— заструились шепотки.— Наверное, совсем прать не станет? — заволновалась нетерпеливая, переполненная ожиданием толпа.— Пезмен запыл, у-у-ы... Да чтоп подземный царь тебя проглотил!

— Ну-ну-у, дела! — сокрушается купец.— А рыба-то одна к одной, золото! Знал бы, что столько рыбы... три безмена бы взял. За пушниной ведь только ехал, за шкуркой. Ну, ладно! — махнул рукой Пагулев.— Кручиниться начнешь, сам себя потеряешь. Придется выручать вас от такой беды и скудости...

— Выручай, прат,— сунулся к нему Сандро.— Тумай...

— А вот! — осенило вдруг купца.— О господи, да как я мог забыть, что мерка моя при мне. Дугой вешать будем! — решительно сказал Пагулев.

— Ду-го-ой? — поразилась толпа и качнулась из стороны в сторону.— Как так — дугой? Однако, и дед мой такого не видел...

— Да просто,— махнул рукой Пагулев.— Ставлю дугу в снег... А ну, выпрягайте! — приказал купец.— Ты... вот ты, Спиря, выпрягай.— Он показал на розвальни с высокой дугой. Спиря быстро, одним движением ослабил чересседельник, дернул за супонь, распахнул хомут и освободил дугу.— Вот так! Гляди, честной народ... Ставлю я эту дугу в снег,— и вся толпа качнулась к нему, качнулась слитно и многотело,— а под нее выкладываю рыбу... Вот так, под самый верьх. Самый раз под самое кольцо. Видел, кучка? А потом сколь вешай, сколь не вешай — пуд ровнехонько...

— Ай-е! Щох-щох! — поразились евринцы.— Здорово... здорово ты придумал... Давай под дугу... пуд ровнехонько!

— Вот это да! — восхищенно хлопнул себя по коленкам Тятенька Филя.— Вот это работа!

И пошло дело. Принялись евринцы рыбу мерзлую под дугу пихать, да плотно, одна к другой. И распрягли еще коней, и уже три дуги в снегу — для головки дуга, для крупной дуга, для средней рыбы тоже дуга.

— Мирон, а Мирон,— вцепился в плечо Картина узкой птичьей лапкой Тятенька Филя.— Ты чего же глядишь на разбой, шаманья душа! Али ты с ним заодно? С этой лахудрой задумал деревню оголить? — пронзительно глянул Филя.

— ...Понял? — хохочет купец, и колышется рыжая борода — лисий хвост. Сверкают крупные белые зубы.— Знай наших! Три безмена надо бы, а счас, смотрите, как быстро да ловко...

— Так он же рыбу у всех покупает! — не понял еще Мирон, хотя в быстроте, решительности и каком-то затаенном, несломимом упорстве Пагулева чуялась ему опасность.

— О, ловко-ловко! — восхитились евринцы, забегали, принялись помогать друг другу.— Смотри, как быстро у нас, брат Пакуль.

— Дурак,— плюнул в сугроб Филя.— Он, Мирон, счас цену свою обозначит. И станет та цена — закон! И станет она петля, и ты суешь туды деревню.

А Пагулев не торопясь ходил от поленницы к поленнице и, записывая, говорил Кирэну, что ни на шаг

не отставал от купца, запоминая каждое слово:

— У Молоткова пять пудов головки да пять пудов крупной... семь пудов средней... Так смотри, Кирэн, дальше: Чейтметов — двадцать пудов головки... тридцать пудов крупной. Мирон? — остановился купец.— А где твоя рыба, ты же многопайный?

— Рыбу отвез в Гари. Четыре воза. Торговец всю безменом вешал,— хмуро ответил Мирон.— Худо делаешь, брат Пагулев.

А возчики тем временем обернули сани в бересту, навроде берестяного куля-кошеля, и на одни сани плотно погрузили головку, на другие — только крупную. Не мешали рыбу...

— Я худо делаю? — удивился Пагулев и зорко вгляделся в Мирона.— Да она прокиснет, ваша рыба, рекой унесет. А сколь за пуд тебе товару давали?

— Товар взял какой хотел! — отрезал Мирон.— И денежку.

— Эй, мужики, помогай! — крикнул купец евринцам.— Давай так — взвесил рыбу, и сам укладывай в сани. Укладывай плотненько да увязывай. Давай, давай,— торопит купец.— День не ждет. Время денежку гонит, проспал — в разор пошел... Так ты ничего не возьмешь у меня, Мирон? — осторожно, не отпуская с лица улыбки, спросил Пагулев.

— Он не возьмет, так я возьму! — вошла в разговор Апрасинья.— У меня сыны растут, им выкуп собирать надо.

— Во-от! — усмехнулся Пагулев — правильно он рассчитал.

А Кирэн содрогнулся — как далеко в человеческую душу мог смотреть этот рыжебородый. Наверное, он не совсем купец. Наверное, он оборотень. Нет, не надо... совсем не надо стать его доверенным человеком...

— Вот! Во-от! — торжествующе протянул Пагулев.— Мудрая ты женщина, и бог наградил тебя сынами. Чего возьмешь?

— Ружья и охотничий снаряд возьму,— ответила Апрасинья.— Только за деньги.

И торопились евринцы, и радовались возбужденно и счастливо, перекликались под высоким и прозрачным небом и не разгибая спины — вот повезло! — освобождались от богатой рыбы, которую безлошадные так и не могли вывезти с реки. Торопились евринцы и туго, плот-

но набивали двадцатипудовые пагулевские возы отборнейшей рыбой.

— Давай мне ружья и порох! — густым голосом потребовала Апрасинья.— А тебе дам денежку.

— Ладно! — морозно выдохнул купец.— Тебе дам заради уважения, ибо ты есть Матерей Мать.

И каждому отсыпал брат Пакуль муки и круп, соли и сахару, чаю байхового и плиточного дал, табаку россыпь и плитку для жвачки, пороху дал, дробь, ружья, топоры, капканы. Много дал купец Пагулев евринцам, обоз много привез добра,— брали те, у кого рыбы было много, брали и те, у кого было поменьше, давал он в долг и на запись, на завтрашнюю реку и только что народившегося соболя в урмане. И вина, и огненной воды тоже дал.

— Помяните меня добром за чарочкой,— попрощался купец.— И помните!

Прав оказался скудельник Филя, через два, через три года евринцы поняли, как крепко и ловко обобрал их в ту зиму купец Пагулев. Вот тогда-то он и назначил цену на рыбу, назначил и определил сам, сколько душа его захотела. И много лет он потихоньку снижал и снижал ту цену, а другой цены евринцы не знали, ибо Пагулев не пускал ни одного торговца в Евру, где добывал ему богатства заплывающий жиром Кирэн.

АПРАСИНЬЯ И ОКОЛЬ

1

Вырастали сыновья, уже промышляли зверя с отцом, заигрывали у высоких костров с девушками, как молодые волчата, таскали их в светлые солнечные березняки, на брусничные поляны и ягельники. Апрасинья угадывала их томление, наступающую зрелость и заранее выглядывала невест из доброго, крепкого рода. А у дочерей круглились груди, соком, горячей кровью наливалось тело, и, оглаживая себя, девки удивленно вздыхали.

Апрасинья потихоньку, исподволь откладывала лучшие шкурки, копила пушнину — калым. Дорого стоит женщина из доброго рода. Дорого за нее платит мужчина, чтобы за тот выкуп-калым взять потом сполна. Конечно, то сама жизнь порешила, что родители ста-

раются продать свою дочь подороже, и гордятся, если не продешевили,— это ведь не кобылу с сапом продать или собаку с бельмом. За добрую, здоровую девку и калым добром весит — два-три пуда соболей, белок, или пуд соболей да коня в придачу, или собаку зверовую — соболятницу или медвежатницу. Породистая собака, да с верхним чутьем, дом добром наполняет, и кормит, и поит, и одевает. Недаром же Апрасинья разводит лаек. Сильны ее собаки, а Мирон умеет натаскивать их по зверю — то в стае, то поодиночке. А Мирону, ой! Как много сейчас пушнины надо добывать, наверное, несколько возов, наверное, целый амбар — выросли сыновья, растут наперегонки. В доме появилась одна сноха... другая... третья, уже переженились братья Мирона, рубили свои избы рядом, пристраивали и ставили амбары так, что получилась непрерывная стена, и защищала она дворы от свирепых северо-западных ветров, что срывались с Урала и прокатывались по Конде и Евре. Но загоны для коней и скота оставались общими — не позволил Мирон разлучать скотину: она времени и заботы требует. Круто обращалась со снохами и свояченицами Апрасинья, поднимала их чуть свет, давала пинка засоням, а нерадивым и неторопким, еще сладко причмокивающим в теплой постели, отвешивала оплеухи и затрещины — рука у нее увесистая, жесткая, и дралась она больно, знали об этом не только снохи, но и многие евринские мужики. Белками, взметнув подолы, крутились женщины в доме и во дворе Апрасиньи. Лень-безделие — мать всех пороков-грехов.

Переделав свои домашние дела, Матерей Мать шла по деревне, заходила к молодым женщинам, когда их мужей не было в юрте. Она особенно зорко оглядывала юрту молодых и замечала все: и засаленную драную постель, и немытую посуду с присохшей чешуйкой и костями, и брошенные в угол обглоданные мослы, и рваные шабурины на деревянном крюке. Ленивых, нерадивых ругала, била по щекам заспанную молодуху, у которой в люльке надрывался изгаженный ребенок. Того она не прощала никому — дите должно жить в чистоте и ласке.

Наступила пора жениться Тимпею — Тимофею, самому любимому, самому красивому и сильному сыну. Выучил его Васек-кузнец укрощать железо, не ломать, а мять,

как глину, и творить из железа то острогу, то подкову, отменный нож, хоть капкан на волка или рысь. Он еще не играл с железом, как Васек-кузнец, но уже многое знал.

— Здесь нет для тебя доброй невесты, Тимпей! Жидкие, кислые девки,— сплюнула Апрасинья.— Корявые, как березы на болоте. Пропахли рыбой насквозь, как гагары...— Нет, она, конечно, не думала так, не презирала евринских девок, просто они вырастали на ее глазах, оставались для нее обычными, до конца познанными и оттого серенькими, как рябчики. А ей хотелось освежить кровь своего рода.— Охотник из тайги запах хвои несет, запах костра, а они болотом пахнут. Не песни поют, а стонут. О, гагары!

Апрасинья под разными предлогами прошла окрестные стойбища и селения: в одном собирала травы, узнавала рецепты и снадобья, в другом на бересту переносила узоры для украшения одежды. В третьем селении, крохотной деревеньке, она меняла готовое шитье на краску, а та готовилась из корней лиственницы, из сурика или охры, что привозили с Урала, или варилась из расплава болотной руды.

Вглядывалась Апрасинья в нежные девичьи лица, в смеющиеся глаза и пыталась проникнуть в грядущее юной девушки, пыталась угадать, что за мир — сложный или пустой — несет в себе та или иная женщина. Не таится ли в той тайная болезнь? Не разъедает ли ее черная зависть, не гложет ли короед злобы, умна ли она или просто хитра? Там, где хитрость, там и острые зубы и жадные губы, что могут по капельке высосать кровь и выплюнуть пустую шкурку. Не находила Апрасинья ту, что искала, и порой пугалась про себя: может быть, та еще не родилась? А может, она уже погибла? Может, пропадает где-то в юрте у старика или непутевого мужичонки? Наверное, она не найдет, не отыщет такую, чтобы была хоть чем-нибудь похожей на нее, Апрасинью, хоть в чем-нибудь повторила ее. А ведь то могло быть — ведь в женщине время течет медленно, но цельно, как вечный ход солнца и луны, не меняясь и не меняя ее сущности. У женщины и тайны, и загадки свои, и тревоги, и другая, пронзительная тоска. Мужчина учится следить зверя и постигает тайну его повадок. Он смотрит в звезды, в утренний туман, в заходящее или поднимающееся солнце, вслушивается в ветер и

угадывает, какой обернется погода на завтра, на два-три дня вперед. А женщина смотрит в небо и думает о земных душах, что поселились на звездах, смотрит в туман, а тот принимает пугающее обличье страшных зверей, смотрит в солнце и видит цветы, ягодники, узоры своей одежды. В небе, в реке, в зелени леса женщина видит свою уходящую или найденную любовь. И дождь ей благо, и река ей благо, ибо там обитает такая, как и она, одинокая речная богиня Кулнэ, что потеряла и никак не встретится со своей сестрой — лесной богиней Ворнэ. Нет, не только для продолжения рода искала женщину Апрасинья. Она искала такую, чтоб смогла озарить, наполнить светом, радостью и неистребимой жаждой жизни ее Тимофея. Не желала она такой женщины, что бессловесна и тупа, как жертвенная овца. Может, она — та, кого она ищет,— ответит на то, чего не знает Апрасинья... И чего никогда не вызнает... Может такое быть?

А Тимофей из-под руки отца поднимался стремительно, сочно и радостно, как трава, оперялся и вставал на крыло. Он криком встречал солнце и неукротимо тянулся к нему, и ростом уже на две головы обогнал отца и многих евринских мужиков, и достигал ростом Лозьвиных, и плечи его раскинулись, как могучие ястребиные крылья. Становился он прочным и гибким, словно корень сосны.

Апрасинья выискивала ему женщину, а Тимофей, сверкая зубами, глазами, кружил девкам головы, и те приседали перед ним робкими куропаточками, и отцы прятали их. Но никто не мешал Тимохе уводить в черемухи молодых вдовушек. Он подкарауливал их в ломких малинниках, и те заливались серебристым смехом, разбегались по звонкому березняку, оставляя то одну, то другую в его жадных, горячих лапах. Женщины приносили ему радость, наполняли на миг нежностью и острым ощущением жизни, но не давали глубины и не вселяли тревоги. Искал себе Тимофей не женщину, искал он себе потеху, наполнял себя легкой радостью. Как шмель садится на цветок, так и он на девку, металось и вспыхивало его тело, а не душа,— так поняла Апрасинья.

— Бабы выжгут его насквозь,— сказала она Мирону.— Он не добывает острогой нельму, не сторожит ее, а берет ту, что река ему выбрасывает на берег. Бабы

берут его сами, когда захотят, и душа его изорвется в слабости...

— Пускай маленько поиграет,— добродушно отвечал Мирон.— Гон у него начался, как у молодого лося. Давай у Лозьвиных девку возьмем?

— Нет! — отрезала Апрасинья.

— Может, у Кентиных? У них девки пышные, как шаньги.

— Шаньги?! — разъярилась Апрасинья, и ее лицо замерцало, как в молодости.— А какие дети, какие сыны могут быть от такой шаньги?

Апрасинья уж который раз увязывалась с Мироном на ярмарку — путь нелегкий, долгий. Дорога санная разбита, в скользких развалистых разъездах. И каждый раз, останавливаясь на ночевку в деревеньках и на постоялых дворах, она зорко вглядывалась в молодиц. Незаметно, исподволь она заводила тихие речи с женщинами о ценах на рыбу, муку и чай, да соль, да сукна, потом переходила на пушнину и, вовлекая в разговор, узнавала, сколько стоит девка в этих краях. Здесь, в пелымских землях, за девку платили не столько пушниной, сколько золотом, червонцами, серебряными украшениями, скотом — мелким и крупным, конями, изделием из железа. Не только манси-вогулы, не только соседние, схожие лицом и обычаями ханты-остяки покупали у родителей или меняли на скотину девку; женщину покупали и продавали татары — не от них ли то пошло? — и чуваши, и другие узкоглазые, медноликие люди, что называли себя ойротами да казахами.

— Наверное, во всех землях единый закон? — задумалась Апрасинья.— Какой же неискупимой виной женщина провинилась перед великим небом? Какой великий грех сотворила она, что со дня ее рождения на ней несмываемое клеймо? Это какой же должен быть грех, если на скотину, на собаку меняют?

— Эй ты! Ты, вогулка! — приподнял гладкую, бритую голову медноликий татарин, что спал на лавке.— У тебя, баба, видно мужиков полно, что ищешь девку. Купи мою — ой сладка, как мед. Так и липнет. Жаром, как головешка, исходит. Купи мою девку, совсем недорого возьму — три десятка баранов. Да три денежки золотые!

— Мне нужна нашего народа девка! — гордо ответила Апрасинья.

— Моя девка — огонь! — оскалил зубы гололобый татарин.— Кобылица необъезженная. Шибко сладкая. Могу за соболей отдать. Пушнина тоже нужна.

У русских свои законы, но вовсе не понятные. Девок своих за манси не давали, да и не каждому русскому давали, то вера не подходит, то порода, глядишь, не та. Но русские как-то по-другому, иначе продавали девок своих. Родители за невесту приданое давали, доплачивали за нее жениху — жених запрашивал цену. Вроде бы наоборот, а если взглянуть вглубь — та же самая торговля, так же торговался жених, просил дать за невесту побольше — скотом ли, хлебом ли, землей ли или барахлом-тряпками. А родители яро торговались, желали поменьше за девку отдать, оттого примечали и привечали мужика побогаче. Так и ведется в мире — богатый берет богатую, а бедному, голому достается бедная. А бедные семьи завсегда многоротые, многогорлые, многопузые и все съедают, как пожар. Считают, что из бедной девки хозяйка добрая, нерасточительная получается, да неверно то,— или доотвалу нажираться будет за голодные годы, или копить. Но у нее, у Апрасиньи, слава Шайтану да Великому Торуму, есть все, чтобы добыть добрую женщину, пусть она хоть из богатых.

2

Остановилась она как-то с Мироном в Рублево, что между Гарями и Пелымом, ночевали на постоялом дворе. Двором тем владели три сестры, обрусевшие мансийки Бурхановы. Отец у них был полурусский от татарки, а мать — пелымская вогулка, жила при муже, но не женой, а вроде бы рабыней. Купил ее тот в голодный год у кривого вогула за плитку табаку и пуд муки. Этим обрусевшим сестрам достался от отца-полутатарина большой дом с крытым двором да амбарами, с двумя сараями, где теснились пара коней да пять коров, телята да овцы. Подрастала у тех сестер племянница-сирота с верховьев Пелыма-реки. Померли ее родители от черной оспы, померли вместе со всей деревушкой, но посчастливилось Околь. Была она в ту весну у теток, нянькались они с ней, играли, потому что двоим детей своих бог не дал, а третья все собиралась родить, да мертвые рождались.

Сиротой Околь никто не называет, вокруг нее три тетки кружатся: одна работу дает, другая проверяет, третья стережет, глаз не смыкает да жениха высматривает побогаче. Держали тетки работника, хромого родственника из далекой деревушки, тот на охоту не ходок, на рыбалку тоже, а здесь хоть пища каждый день да кусок хлеба, когда и мясо перепадет да рыба. Тетки за манси себя уже не признавали, нос воротили, фыркали, когда останавливался бедный рыбак или охотник с тощим мешком. Называли они себя опекуншами Околь. «Мы — опекуны! Мы перед богом, перед Христом и Николаем-Угодником за нее в ответе». Тетки две комнаты держали в чистоте, с русскими кроватями и пятнистым, как рысь, зеркалом. Из углов, из глубины черных икон смотрели пронзительные глаза на тлеющую лампадку, а на стене висела яркая размалеванная картинка.

— Царь! — шепотом сообщила Апрасинье старшая тетка.— Ца-арь! Он — бог на земле! Самый, самый, самый сильный и страшный.

— Земной бог — Шайтан, Сим Пупий! — не согласилась Апрасинья.— Торум на небе, Пупий-Шайтан всегда на земле!

— Бедная ты разумом. Темная,— зашептала старшая тетка Федора.— Ты забудь языческих, поганых богов своих, идолищ и духов. Тебя крестили в истинной вере? — остро взглянула Федора.— Крещена ты?

— Хрещена,— махнула рукой Апрасинья.— Приходил к нам бородатый мужик, ой страшный, как Леший — Вор-Хум. Махал маленьким котелком. Дым из той посудины сладкий поднимался. Ревел, глаза, как сохатый, вываливал. Голову мне водой мочил, а на лбу маслом мазал.

— Имя тебе давал? — допрашивала Федора.

— Давал имя! Апрасинья стали звать, а мое имя такое — Журавлиный Крик!

— Поганое это имя... Журавлиный Крик, то может только шаман дать! Мы племянницу в церкви крестили! — гордо вскинула крупную голову Федора.— Поп взял три шкурки соболя и нашел самое красивое имя — Акулина!

— Околь! — прошептала Апрасинья.— Околь она!

Весь день Апрасинья не спускала глаз с девушки, следила за каждым ее движением, и ей уже чудилось, что

это — она. Да, сердце говорит — это та, которую она ищет,— крупная, высокая ростом, как Тимпей, плечи круглые, шея высокая, голову держит гордо, смотрит прямо, доброжелательно и ласково. Из-под чутких соболиных бровей теплом, доверием чисто светились глаза. Свежий припухлый рот открывает в улыбке белые зубы, плотные, как туго набитая орешками шишка.

Апрасинья с радостью, потаенной надеждой видела, как Околь, слегка покачивая бедрами, как лодка на тугой волне, по-русски, на коромысле, несет полные ведра с водой — не плеснет. Откинула Околь платок, и на солнце жаркой медью вспыхнули густые кудрявые волосы. Медные, красно-медные, а может, золотые те волосы?

Много ли на земле золотовласых девушек манси? Много ли таких белоликих вогулок? Видно, родилась она в солнечный день на золотистом прибрежном песке, под легким ветром, что раскачивал реку. Хлынуло на нее раскаленное солнце и застыло в волосах и позолотило лицо, обуглило до черноты брови и раскалило губы, тугие, как брусника. А те ветры тугие, голубые-голубые-золотые, зеленые ветринки, играючи, раскудрявили волосы, собрали в дорогие кольца, и вырвались те из-под платка, словно пели и смеялись.

— Околь,— тихо позвала ее Апрасинья и протянула руку.— Околь! Девушка моя! Хорошо ли живется тебе?

— Хорошо! — блеснули в улыбке зубы, распахнулись, засмеялись глаза.— Хорошо, сим нэ — милая женщина!

— Тетки, поди, колотят тебя? Манюня-то вовсе медведица,— хитро прищурилась Апрасинья и крепко затянулась табаком.— Вот у Федоры изо рта клык торчит. Не кусает?

— Да нет, сим нэ! Да кабы она не любила, разве учила бы грамоте? Читать меня тетушка Федора научила. И писать,— с гордостью ответила девушка.— Грамоту знаю.

— Пи-са-ать... чи-та-ать...— дотронулось до Апрасиньи, отпечаталось в сознании, хотя она до конца не поняла, что это такое «читать»... «писать».

Видела она в церкви, как дьячок скрипел гусиным пером по белому, белее бересты, листку, рисовал какие-то странные, запутанные узоры. Каждая черточка не похожа на другую, цеплялась за третью и ложилась, оставляя кружевную цепочку следов. Видела она в

церкви на полотне громадные, в человеческий рост, рисунки и так просто на стене узорную вязь или четкий, словно вырезанная тамга, оттиск, видела она таинственные знаки у волостного, что приезжал в Евру, когда проводил перепись и назначал ясак.

— Гра-мо-та,— раздельно проговорила Апрасинья,— что такое гра-мо-та? Давно я хочу знать, нужно... ой как мне нужно... и Ондрэ Хотанг про то говорил...

Рассмеялась Околь, рассыпала по комнате светлый, легкий смех, забежала в горницу и вынесла оттуда тяжелую книгу, одетую в черную старинную рубаху с серебряными застежками.

— Библия,— сказала Околь и осторожно положила на стол древнюю книгу.— Смотри...

От пожелтевших страниц на Апрасинью дохнуло запахом свечи и пламени, пота и тяжелой дороги, что уводила в неизвестность. Переброшена другая, третья страницы, открывалась картина страшная, нездешняя, пугающая. Над плоским, почти что голым местом с робкими, насквозь видимыми кустиками в солнечной пустоте метались, то ли догоняя, то ли убегая друг от друга, странные существа в белоснежных колыхающихся одеждах. У них человеческое тело, босые ноги, обнаженные руки, а на спине, где сходятся лопатки, распахнулись огромные лебединые крылья — могучие, упругие, поднебесные. И были у них, у тех людей-лебедей, младенческие, невинные глаза с огромными неиспорченными глазами, где обитала неискушенность и какая-то недосягаемая мудрость.

— Это ангелы! — пояснила Околь, уловив недоумение Апрасиньи, добавила: — Ангелы — это души умерших детей.

— Души умерших детей,— повторила Апрасинья.— Они живут там,— она подняла вверх руки. Это она знала почти точно.— Где же, как не рядом с солнцем, должны жить ушедшие дети Земли.

— Да, они живут среди звезд,— ответила Околь и задумалась.— У каждого крещеного человека есть свой ангел-хранитель. Он охраняет его своим именем.

— Как так? Злые Духи все равно узнают имя...

— Ну, я вот — Акулина. Я родилась в тот день, что освящал тот ангел. Он дал мне свое имя, одарил им. Смотри,— она достала из-за иконы свернутые в трубочку бумаги, перетянутые голубой шелковой лентой,

развернула и стала читать. Не все поняла Апрасинья — говорилось там, что раба божия Акулина родилась в юртах Вотьпа сентября десятого дня одна тысяча восемьсот сорок пятого года, крестилась тогда-то и занесена в церковные книги.

Сентября десятого дня, в бабье лето, когда день равен ночи, на переломе дней лета и зимы. Сентября десятого дня одна тысяча восемьсот сорок пятого года, но что это такое, Апрасинья не понимает до конца. Время она считала лунами — от нарождения луны до полной, считала зимами, и время ее жизни отмечалось или наводнениями, яростным разливом Конды и Евры, или мором скота, или болезнями, или свечением неба, звездным дождем или палящим зноем, что выпивал все ручейки и мелкие озера до илистого, смердящего дна. Так она и все манси считали время, оно было и оставалось медлительным, до ощутимости непрерывным, хотя в его течении — а куда оно текло? — отмечались свои приметные, четко означенные вешки.

— Сколько тебе зим, Околь? — спросила Апрасинья.— Сколько ты уже встретила весен?

— Мне девятнадцать зим,— ответила девушка.— Я встретила восемнадцать весен.

— Почему ты такое знаешь? — продолжала допытываться растерянная Апрасинья.— Тебе говорили о том, что ты уже встретила восемнадцать весен?

— А зачем мне говорить? — засмеялась Околь, вскинула ресницы.— Я и сама знаю, сколько зим я прожила!

— Знаешь? Как ты знаешь?

— Родилась я в месяц листопада, в месяц утренников, в сентябре одна тысяча восемьсот...— девушка задумалась, и ей трудно понять это странное, будто потаенное число, понять то, что оно обозначает,— восемьсот сорок пятом году... А теперь? А сейчас какой год ты знаешь, сим нэ?

— Год совсем худой! Собачий год! — хмуро ответила Апрасинья.— Год замора. Седьмой год после засухи. Дохлый год, больной.

Околь на время задумалась, словно нырнула в себя, дрогнули ее губы, и она загнула пальцы на руке.

— Год сейчас одна тысяча восемьсот шестьдесят четвертый,— радостно выпалила Околь.— Да, шестьдесят четвертый. А это значит — мне девятнадцать лет...

Вот, видишь — десять,— Околь раскрыла руки.— И вот еще девять,— и она утопила в ладони один палец.

— Великое Небо! Ты видишь, боже небесный?! Ай-е! — прошептала Апрасинья.— Она угадывает время, что было недоступно самому великому шаману Волчий Глаз. Щох-щох! Она может угадать точно, какой нынче год в Великом Течении Времени... Она его обозначает?! Наверное, то та, которую я долго ищу! Она не понимает,— чуть не выкрикнула Апрасинья и зажала рот ладонью.— Не по-ни-ма-ет того, что таится в ней. О! Белый Светлый День! Ее разуму доступны непостижимые знаки, что разбросаны по бело-желтому полю русской бумаги.

Апрасинью, Мать Матерей, властную, крутую, бесстрашную Апрасинью, перед которой раскрывались колдовские тайны зеленого леса, вдруг охватило смятение. В нее вошла непонятная томительная тревога, дохнуло жаром.

Кто она такая — Околь? Что дает ей силы знать то, что недоступно мудрейшим мужчинам, мудрейшим женщинам ее народа? Добрые ли Духи над ней или Злые Духи ведут Околь по жизни? Добро ли народило ее, а если Зло? Почему у нее золотистые глаза, почему в тугие, словно кованые, кудри собраны волосы?

Околь повернула еще страницу, другую, и в Апрасинью пронзительно вгляделись глаза черного человека. Он словно окутан тьмой, и сам он порождение тьмы, порождение той пропасти, над которой он стоял. Из пропасти потянуло словно смрадом, гнилью, тлением человеческой плоти и звериной злобой. Где-то далеко, в недосягаемой глубине, клубилось пламя, даже не пламя, а его отблески, рваные сполохи, и казалось, что черный человек содрогается, его перекручивает злоба, страх и отчаяние, и пропасть — это его лютое, незаполнимое одиночество, вечное ожидание какого-то конца, который никогда не наступит. Вот-вот распахнется его рот, и оттуда, извергаясь, затопляя пропасть, вырвется крик.

— Кто это? — шепотом спросила Апрасинья, но Околь не успела ответить, как вошла старшая тетка Федора.

— Это — дьявол! — резко ответила тетка и схватила книгу.— Ты нехристь! Туземка-язычница. Да как ты можешь прикасаться к священной книге?

— Я хрещена! — повторила Апрасинья.— Только я ничего не знаю от этой веры. Что и знала, позабыла. Ты сама научила Околь понимать непонятное?

— «О-ко-оль»! — передразнила Федора.— Какая она тебе Околь, ежели она Акулина. Да, то я выучила ее читать священное писание. Каждый вечер, отходя ко сну, она читает мне...

3

Средняя тетка, Манюня, рукастая баба с мужским лицом и грубым голосом, пила водку от полдня до вечера. Вечером навзничь опрокидывалась на кровать и тихо скулила: «Хочу мужика, ой-ой-ой как хочу мужика... наверное, помру, если сразу не найду». Поскулив, она поднималась, набрасывала шубу и выходила в ночь. Утром возвращалась, ничком падала на подушку и взахлеб храпела.

Младшая сестра, Лукерья, нежная и кроткая, целыми днями сидела в своей комнате у окна и шила, разбрасывая тонкие узоры. Тихо звучал ее пришептывающий голосок, словно песней она уговаривала рисунок расцвести и заиграть красками.

— Покажи мне свои узоры, Лукерья,— попросила Апрасинья, когда та вышла в общую половину.— О! Ветка березы, а это голова соболя с усами, а это — весло. У тебя только нет в узоре лапки соболя и крыла чайки.

— Покажи! — обрадованно закосила глазами Лукерья.— Я тебе тоже что-нибудь подарю.

Апрасинья острым ножом вырезала на бересте несколько узоров, пошарила в своей глубокой сумке, достала тонкие, прозрачные оленьи жилки.

— Возьми, милая женщина!

— Спасибо, Апрасинья! Ты научишь меня шить женскую шапочку из гагары? — Лукерья поднесла к глазам рисунок, разглядывая недоверчиво и удивленно.

— И я не умею,— потупилась Околь.— Пробовала — шапка есть, а тускло. Перо не живет, словно линяет. Отчего?

— Слово надо знать,— буркнула Апрасинья.— Глаз такой надо заиметь, и тогда узор увидишь.

— Глаз? — обиженно покосилась Лукерья.

— Да! Глубокий глаз,— с достоинством ответила Апрасинья.— Ты, Лукерья, милая моя женщина, совсем хорошо шьешь,— похвалила она, уловив, что та ревниво относится к своему мастерству.— Ты шьешь почти как наша Таись-нэ.

— Таись-нэ? — удивленно вскинула брови Лукерья. Торговцы, перекупщики, пришлые мелкие купчики нарасхват, по доброй цене брали вещи, что нарождались под тонкими руками Лукерьи, и наперед оставляли заказы. Слыла Лукерья большой мастерицей. Она редко меняла узоры, и сделанное ею отличалось тонкостью, какой-то застывшей врезанностью.— Кто такая Таись-нэ? — И в косоватости глаз Апрасинья заметила блуждающий огонек настороженности и созревающей обиды.

«Тревога... Остерегись... Опасность...— забилось в Апрасинье.— Отойди осторожно в сторону... отойди тихо, чтобы не хрустнул сучок».

— Таись-нэ твоя дочь? — потянулась к ней Околь.

— Нет, нет! — покачала головой Апрасинья.— Она принесла бы счастье любой женщине. О ней знают все люди Верхней Конды...

И Апрасинья не столько увидела, сколько почувствовала, как вздрогнула Лукерья. Она еще не могла отыскать верную, надежную тропу в глухой, неведомой ей жизни сестер. Еще растерянно она блуждала по водоразделу трех разных речек и никак не могла решиться — вдоль какой же реки ей спускаться вниз по течению, а какую из них перейти вброд, отыскав мелкое, негиблое место. Апрасинья уже не могла, уже не желала позволить себе риска — Околь та самая женщина, что нужна не только Тимофею, но и ей самой. И она, опытный охотник, берегла стрелы и туго, но в самую меру натягивала тетиву лука — не должно быть промаха, иначе охотнику гибель.

«О, Шайтан! — заклинала Апрасинья.— Помоги мне, земной бог, помоги мне найти верный след. Освети меня — к какой из этих баб мне подойти с подношением, а какую ударить копьем? Помоги мне, земной бог. Их ведь трое, а я — одна. Смутно я вижу и не ведаю, кто из них волчица, кто — рысь, а кто — росомаха».

— Может, это твоя сестра? — нетерпеливо потребовала Лукерья.

— Нет, Лукерья,— мягко ответила Апрасинья.— Таись-нэ — просто девушка, совсем девочка. Как все

она и совсем другая. Но полна она светом и великим терпением.

— Терпением,— прошептала Околь.— Терпение — это, наверное, любовь?

— Ты знаешь Ялпинг-Нёр? — спросила ее Апрасинья, усаживаясь поудобнее и набивая трубку.

— Ничего она не знает,— ответила Лукерья и присела с шитьем неподалеку от Апрасиньи. Тугой налимицей шевельнулась на постели Манюня, застонала, рыгнула и оторвала от подушки тяжелую голову с мутными глазами. Манюня опустила босые, плоские, как плавники, жилистые ступни на холодный пол, хрипло крякнула и зашлепала в угол, где стояла кадка с водой. Она зачерпнула из нее глиняной кружкой — звякнули льдинки. Долго, раздувая ноздри, фыркая, почесываясь, глотала воду Манюня.

— Вот там, под темной горой Ялпинг-Нёр, в стойбище Саклинг на речушке в болотных кочках, у охотника Титка и родилась Таись-нэ.

— В болотных кочках, тьфу ты, убогость,— сплюнула Манюня.— Кулик он, что ли?

— Нет! — отрезала Апрасинья.— Титка — охотник, а Саклинг — его угодье. И Таись-нэ там увидела свет дня. Ты ведь не знаешь, Манюня, какое то урочище?

— А,— махнула рукой Манюня,— топь и топь, смрад и гнусь. А мне твердь нужна. На зыбине меня грузнит и мотает.

— Вино тебя грузнит,— в мягких тапочках, неслышно, по-кошачьи вошла Федора.— Грузнит оно тебя и качает. Хоть бы болото какое-нибудь тебя приняло, прости меня господи! Тряхнуло и разорвало...

— Ну, гляньте на эту святошу,— захохотала Манюня, доставая из-под постели водку.— Кожа до кости, мышь ты летучая, упырица. Богу поклоны бьешь, спасение в царствии небесном вымаливаешь, а сама людей грабишь. Навострила, стерва, постоялый двор, как капкан, да пропади он пропадом. Кому ты сундуки набиваешь?

— Господи! — повернулась к образу Федора.— Да где сила десницы твоей... Вразуми ты потерянную рабу божью, бабу Манюню... о господи! А ты что здеся расселась, шишига лесная?! — накинулась она на Апрасинью.— Раскинулась, коряга, да еще и табак смолишь...

— Не трогай ее! — резко, как птица, выкрикнула Лукерья.— Не рви — важный сказ она ведет.

— Она, тетушка Федора, нам про Таись-нэ сказывает,— ласково прижалась к тетке Околь.— Присядь... Она слово знает..

— Давай, вали! — Манюня глотнула водки, бросила в рот горсть брусники, перекосилось, словно слиняло, лицо.— Только чтоб правда была. И страшно...

— И чего мне ее, туземку, слушать,— заворчала Федора, но села на лавку.— Делов невпроворот... Опять же скоро ямщики нагрянут...

— Я два самовара уже поставила,— успокоила ее Околь и повернулась к Апрасинье.— Таись-нэ, ты сказываешь, родилась у охотника Титка?

— Ну да! — покойно пыхнула трубочкой Апрасинья. Вот и хорошо, вот что и надо. Время под вечер, Мирон там с мужиками, с лошадьми, гостей вроде бы не навалит, и три сестры вместе, можно приглядеться к ним, вдруг да и обозначится тропка.— Мать от радости просто над землей взлетает, такая дочь у нее крепкая да красивая.

Апрасинья откинула на плечи платок, взяла из рук Лукерьи ее шитье и, едва взглянув на рисунок, принялась узорить его. Голос ее загустел, наполнился, и глаза замерцали.

4

Была ли то быль, была ли то сказка, кто знает. В людях всегда все перемешано, между крупными корнями, что глубоко убегают в землю и нарождают человеческую стволину, пробиваются мелкие корешки, ниточки, жилки, мелкие волосинки, что таятся в темноте и питают мощь корневища. Разные пласты — серые, желтые, бурые и черные — рассекают и обживают корни; холодные, мерзлые и теплые, легкие и каменные слои разрывают корни, не все пласты наполнены соком и доброй пищей, многие пропитаны хмельной брагой или смертельным зельем. Но все берет дерево и кольцо за кольцом наращивает стволину. Нет, не знает Апрасинья, была ли то быль, была ли то сказка...

...Год, два росла Таись. Поднялась в люльке-апа, что легонько, как лодчонка на волне, покачивалась на цветущей черемухе, и радостно, светло засмеялась.

От звонкого смеха вспыхнула белым огнем черемуха и с ног до головы осыпала Таись горьковатыми, чуть прохладными и нежными цветами.

— Это твое дерево! — сказала юная мать.— Быть всегда тебе юной и чистой, как черемуха, стать тебе обильной, как она.

И черемуха приняла Таись в дочери, каждую весну осыпала ее белым цветом, и запомнила Таись чистоту и упругую терпкость ягоды. Черемуха познакомила ее с Рябиной, а та со своей подругой Березой, и каждая из них в память Таись бросала свои ожившие ветви — вот почему в узоре ее березовая ветка переплелась с рябиной.

Как начала ходить Таись, держась за подол матери, так и потянулась за ней, как нить за иглой. Отец на охоте, и они бродят вдвоем то по реке, то по кедрачу, а то уходят в березняки и густые малинники. Шишку собирают, ягоду набирают, травы ищут. И каждая ягода налита ярким соком, и красит разным цветом, и помнится своим запахом, и оставляет в памяти свой след. И чего не знала юная мать, то рассказывали Таись цветы и травы. Нужно впустить их в свою жизнь, нужно приветить их, нужно пожить их жизнью, подышать их дыханием, и они станут немного тобою, и ты немного станешь ими — и станешь богаче. Все поглощала душа Таись: и тугие ветры, что приносили на себе лебединые стаи, и прозрачные звоны капели, хрустящий треск лопающихся льдин и раскрытых вербных почек, зеленый шум дождя из полуночной радуги июльского неба. Уже не дрожала, не спотыкалась иголка в руках Таись, оживали в ее узорах листья и травы, птицы и звери.

— Я так счастлива! — светилась радостью молодая мать.— В тебе проснулась и начинает прозревать душа. Снова Черемуха осыпала тебя своим цветом. Я так рада... Сейчас я угощу тебя вкусной максой налима.

Счастливая мать оттолкнула от берега легкую долбленую лодку и забросила сеть из крапивы в то место, где обитал налим. Но когда цветет черемуха, в зелень весны, в ее птичью разноголосицу врывается белесая от ярости зима, словно до этого она таится в засаде, и бьет наотмашь по травам и птицам, что согревают яйца. И насмерть замерзают обледенелые птицы на остывших гнездах. В голодном реве налетел вихрь, завился в ту-

гие кольца и принялся кидать лодчонку с волны на волну.

— Мама... мама, вернись! — кричит с берега Таись, но ветер разрывает на куски ее крик и отбрасывает за далекие озера.

— Эх! — хрипло выдохнула Манюня и ударила кулаком по столу.— Эх, сгинет ведь! Ково тут — вернись! Вихря — она слепая. Да одета, поди, бабенка по-летнему.

— Не встревай,— одернула ее Лукерья, все еще разглядывая узоры на бересте.— Она сказку сказывает, глядишь, чего умное скажет...— усмехнулась Лукерья.

— А много ль умного для жизни нашенской нужно,— озлилась Манюня.— Мелка жизнь и хитростью держится, мелкостью обмана и суеты. Ты давай, давай, Апрасинья, напугай меня, чтобы вздрогнула я до икоты.

— Да чего пугать... Но што страшно Таись стало, то в вихре любой мужик бы потерялся,— продолжает Апрасинья.

...И услышала Таись гулкий, раскатистый гул и грохот внутри реки.

— Что такое? — насторожилась испуганная девочка, а мать едва видна в громадных волнах. Шумно и тяжко задышала река. Медленно и грузно поднимаются берега, вспучиваются, вздымают волной и дрожат, как шкура искусанного лося, и вдруг опускаются, как бока запаленной важенки. И стонут берега, и скрипят, и скрежещут; и дрожит, рыдает лес от корня до макушки. Опустились берега, набросилась река, выплеснула в пене и реве на берег и, спасаясь от кого-то, полезла на рыжий от солнца косогор. Мать на лодчонке с порванной сетью приблизилась к соснам, и Таись побежала к матери, протягивая руки. Пуще заревела река, и мелко-мелко забился в страхе берег, и стал выползать из реки, с самого дна, Виткась — Пожиратель Всего, Пожиратель Рек и Берегов. Он поднимался со дна медленно, как сон, даже не поднимался, а то река сбегала с него, как с переката. Виткась чуть шевельнулся и стал похож на громадную лягушку — болотисто-зеленый, мерзкоскользкий, студенистый и холодный. Голова его голая, плоская, в желтовато-зеленых бугристых шишках. Неподвижные, немигающие глаза его выпучены, безгубая пасть его беспредельно широка и переходит в брюхо. На коротких перепончатых лапах, а их десять, разду-

вается и тяжело колышется брюхо в обвисших складках, по которым сползает гнилая речная трава. Колыхнулись черные глаза-омуты, высверкнули и заледенели, не мигая. Выпучил их Виткась так, что они раскинулись, как два огромных озера, дохнул так, что река еще быстрее побежала в гору. Побежала река в гору и увлекла лодчонку с матерью. А Виткась уже давно увидел ее, раздулся, выбросил из себя длинный, как песчаная отмель, язык, извивающийся, грязно-зеленый и липкий. Потянулся, вздрагивая, язык Виткася к матери, а Таись уже подбежала к лодчонке, вот-вот дотронется. Мать, собрав все силы, толкнула дочь, и та упала в черемуховый куст. А Виткась лениво, сытно зевнул, захлопнул пасть, проглотил мать Таись, словно комарика. Ничем не могла помочь матери Таись...

— Господи! — выдохнула Лукерья.

— То дьявол... То дьявола омерзительное обличье,— перекрестилась Федора.— Тока невинная душа, чистая и непорочная душа может обороть его.

— Дьявол?! — Манюня не хмелела, сидела выворотнем за столом, волосы встрепаны, глаза горят. Ей бы мужиком народиться, сердце у нее крупное, толстое, без страха, силушка не женская. Тяжелит ее силушка — зад бабий да груди плоские. Она бы у Виткася язык с корнем выдрала, а что с такой чудой может сделать девчонка-бельчонка.— Да как она матери помогет?! — прохрипела Манюня.— Да Таись твоя — дыхание слабое, росточек зелененький, пухлый. На всякую злобу только сила нужна! — грубо протрубила Манюня.— Добро больно сладко воняет, и все оно пресное, больно ласковое, мякоть беззубая.

— Разве Виткась не Водяной? — переспрашивает Околь, дотрагиваясь до плеча Апрасиньи.— Водяной он или Дьявол? Почему он Пожиратель Рек и Берегов? Откуда в нем столько злобы и силы?

— Да какая сила? Какая сила? Одно брюхо,— прохрипела Манюня.— Обжора он. Болотная топь. Давай, Апрасинья, сказывай. Начало маленько страшит, но не совсем мне еще страшно...

...Далеко, подходя к стойбищу, услышал Титка плач своей дочери. Любовью к Таись переполнено сердце охотника Титка. Сам пестует дочь, поет ей охотничьи песни, токующие песни Глухаря и зимнюю песнь Волка. А когда уходит на охоту, то оставляет дочь доброй и

мудрой бабушке Анись. Но бьет ли рыбу острогой Титка, гонится ли за лосем, выслеживает ли соболя, неотступно думает Титка о малютке Таись-нэ.

Совсем она крохотная, как утенок, она слабая. Клюв у нее мягонький и лапки дрожат. Бабушка Анись, как куропатка, водит за собой выводок в семь да еще семь внучат. «Нет, плохое дело!» — горестно думает Титка. Думает и так, думает и обратно и наоборот думает, каждый раз — плохо. Подрастет Таись-нэ, кто станет учить ее одежды шить, пищу готовить? Кто древние законы передаст? Однако, надо ей привести новую мать. Наверное, молодую нужно взять, пускай в куклы с Таись играет!

Что одной головой надумал, то и сделал. Наверное, торопился Титка, наверное, очень боялся за Таись, что не стал совета у старших просить, а бабушке Анись и слова не сказал. Из других земель привел Титка молодую жену — крупную, красивую, широкозадую, белолицую, с соболиными бровями и тугими губами. Налита она соком и жиром, как нельма.

— Вот и мама к тебе вернулась, Таись-нэ! — сказал Титка дочери.— Она ненадолго уходила в свои земли, а теперь — вернулась...

— Ты так долго пропадала, сюкум! Ты каждую ночь приходила ко мне в снах, мама! — потянулась к новой матери Таись.

— Ай-е, астюх! — воскликнула молодая жена.— Я снилась тебе такой или еще красивее?

Таись-нэ взяла мачеху за руку, повернулась ко всем, кто пришел на свадебный пир, и гордо сказала:

— Глядите! Моя мать самая красивая!

Только одну себя понимает красивая девка, да и то не всегда.

— Твою мать давно взяла река,— ответила молодая жена,— и люди сразу забыли ее имя. Я мачеха твоя, и ты должна меня слушаться.

Померкла Таись-нэ.

— Стервь! — прохрипела Манюня.— Сама рвань, а не баба. Лахудра,— стукнула кулаком Манюня и загремела посудой.

— Ты че? — повернулась к ней Федора.— Правильно... мачеха она ентой девчонке. Ма-че-ха! И слушать ее девчонка должна! — отчеканила Федора.

— Она ее мамой назвала,— подала голос Лукерья.

— Во-во! — пробасила Манюня.— Матерью назвала, та ей чево? Ты поняла хоть, паучиное твое сердце, чево та ей сказала: «Матерь твою река взяла. Навовсе взяла и не отпустит!»

— Не отпустит! — сжала руку в кулачок Федора.— А сироте одно дело — не роптать, не дерзить! Душу свою тому отдавать, кто призрел ее да пригрел. Во как жизнь велит!

Заметила Апрасинья, как потемнела Околь, сидела она вроде бы та же, но совсем тусклая.

— Молодая мачеха была, глупая,— сказала Апрасинья.— Но у той глупости были красивые глаза. Она была ленива, но у той лени было много сил любить себя. Бабушка Анись, а вслед за ней и все стойбище стали называть мачеху Суваннэ — ленивая. Это беда, большое это несчастье, когда манси ленив, когда он болеет Ленью. Лень такое большое существо — то оно пухлое, то оно гибкое и склизкое, но всегда оно тяжелое, как небо перед грозой. Оно вселяется в прокисшего человека незаметно, но очень быстро растет и становится неодолимым. Когда Суваннэ заболела Ленью, никто не знал, да и зачем то знать — когда? Лень часто поджидает человека еще до рождения — он прямо из брюха матери падает в ладони Лени. Мать ее, поди, слепа была,— Апрасинья слегка вытянула руку, разглядывая нарождающийся узор,— слепая да глупая. Не сумела выгнать, выбить Лень из Суваннэ, и та поселилась в молодой мачехе вместе с подругами — Завистью, Ложью, Слепотой и Жестокостью. Не выбила и вот так — с Ленью — передала охотнику. Обманула его. Не его, так другого бы обманула. Целыми днями валялась на постели Суваннэ, грызла орешки и в куклы играла. А маленькая Таись-нэ собирала в лесу хворост, носила тяжелые вязанки к чувалу, с реки таскала воду, готовила пищу, а Суваннэ только покрикивала:

— Вари рыбу! Вари мясо! Быстрее поворачивайся! Корми меня — есть хочу! Садись, шей мне новое платье!

— До смерти своей будет Суваннэ болеть,— решила мудрая бабушка Анись.— Ничего она делать не станет, только по гостям ходит да красоту свою показывает.

— Господи! — тихо, словно простонала, Лукерья.— Почему хорошего человека ты наделяешь глупой женщиной?

— Да потому, что и к тебе всякое дерьмо сватает-

ся,— ответила Манюня.— Завсегда так, из века в век: баба хороша, мужик — тесто, мужик из железа, так баба — дупло.

Федора промолчала. Околь достала с полки кусок ткани и тихо присела рядом с Апрасиньей, заглядывая в узоры. Быстро, мелкими стежками принялась переносить рисунок.

— Титка ничего не знал,— трубка погасла и посипывала. Апрасинья ласково посмотрела на девушку.— Достань, милая, уголек, уважь!

Легко проскользнула по комнате Околь, выкатила из печки уголек, раздула и, зацепив двумя лучинами, поднесла Апрасинье. Та важно кивнула, затянулась глубоко и, выдохнув дым, чуть выждала. Манюня вновь плеснула себе белого вина.

— Титка ничего не знал. Он с охоты всегда что-нибудь приносил своей Таись — то бельчонка, то зайчонка, то птичку — черного дрозда, то жука рогатого, то перо лебединое. Очень ждала с охоты доброго и сильного отца Таись, любила его так сильно и жалела так горячо, что никогда не жаловалась на мачеху.

Днем же, когда на сытую Суваннэ наваливался тягучий и длинный сон, Таись уходила к бабушке, мудрой и ласковой старухе с волшебными руками и зрячим сердцем. Бабушка Анись, собрав вокруг себя внуков и правнуков, давала в руки каждому кому нож, кому иголки с ниткой, кому красивый лоскутик или кусочек шкурки, и внуки вырезали из дерева стрелы, а внучки вышивали узоры. А бабушка Анись крепко в памяти держала древние узоры, что таят в себе глубокую и не раскрытую еще никем тайну. Кто знает, может, так предки передают весточку о себе, о своем мире. Разным узорам научилась у бабушки Таись-нэ и причудливо шила сама — вышивала уши и лапки, усы и глаза всех зверей, узоры листьев, деревьев и травы, клювы птиц.

— Смотри! — Апрасинья протянула шитье Лукерье.— Знаешь такое?

— Ой! — схватилась за грудь Лукерья.— Это колдовство... Ты — ша-ман-ка-а,— прошептала побледневшая Лукерья.

Она подносила шитье близко к глазам, смотрела в упор, отбрасывала в сторону и вглядывалась как бы со стороны, поднимала над головой и прищуривала глаза, словно смотрела в поднебесье — и не верила. Не верила!

— Бо-же мой... боже,— шептала она, и тонкое лицо ее то полыхало от жгучего горячего стыда, словно обугливалось изнутри, то обескровленно бледнело, и губы вытягивались в узкую полоску, и казалось, что она готова наброситься на Апрасинью и загрызть острыми мелкими зубами.— Боже мой... пошто я того не знала? Сколь лет подбирала узоры... Скопидомничала, прятала, чтоб моими оставались. А их... их-то... бескрайний край!

— О, милая женщина,— облегченно вздохнула Апрасинья,— каждая из нас с коготок умеет... А узоры себе возьми... шей на здоровье.

Страшно, наотмашь ударила Апрасинья. Она словно обнажила Лукерью-мастерицу до песчаных мелей, прошла через речку ее рукоделия вброд, не замочив ног. Вот, вот ты какова, Лукерья, мелкая ты, скудная речушка, не идет сюда рыба на икромет, не идет на жировку. Зарастешь ты скоро травой-лопухом, кугой, рогозом да водокрасом. Зарастет, Лукерья, твоя речка, потому что не роет берега, изгибается в кольца, обегает камни, вся она в завалах павших стволин.

Манюня и бровью не повела, не догадывалась она ни о чем, но Федора насторожилась. Верно, вогулка — шаманка, вон как Лукерья-то полыхает. Вот язычница, рыбья кость, сидела, понимаешь, идолищем в углу и цедила табачище, плела чего-то про сиротку, а сама стежки сатанинские по сукну раскидывала — хвостики, лапки да клювики... А чьи они? Шаманские они, шайтанские, туземные, колдовские.

— Эка невидаль! — поглядев на узоры, пожала плечами Федора.— Шаманские, туземные знаки... Може, тамга какая... Да такие закорюки, ископоть дьявольскую, сколько хошь добыть можно в туземных стойбищах, Лукерья. Чевой-то с тобой?

— Нет, нет! — стонала Лукерья.— Все это истинно. Почему ты даришь мне узоры? — вдруг резко спросила Лукерья.

— Мне не жалко,— важно ответила Апрасинья.— У меня много... Богатая я...

— Нет, нет,— заторопилась Лукерья.— И что-то здесь не то... Тревожно мне... Сказываешь ты мне голимую правду, такую, что каждый день видишь, а с изнанки что-то другое? Ответь-ка...

— Што? — потребовала Федора, переводя взгляд с Лукерьи на Апрасинью.— Ну-у?!

— Ай-е, вон ты про что,— вздохнула Апрасинья.— Один узор на пустом месте — что голый человек возле проруби. Два утиных клюва, наверное, то встреча, а когда рядом лапки и хвосты, то, наверное, любовь. Слово надо знать, Лукерья. Заговорное слово...

— Знаешь? — потребовала Федора.

Не торопясь набивала трубку Апрасинья. Поднесла ей уголек Околь, присела рядом.

— Слово все не знаю,— ответила Апрасинья.— Бабушка Анись тихо напевала, а ей подпевала Таись-нэ. Вот слушай, Лукерья!

— Стой! — поднялась из-за стола Манюня.— Песни я люблю,— из другой комнаты вынесла балалайку.— Пой, вогулка, я тебе подыграю.

Апрасинья взяла шитье с иголками, зорко оглядела и потянула одну иглу, другую...

— Пусть чуткие, гибкие пальцы,— мягко, малиново, без обычной хрипотцы выдохнула Апрасинья,—

Пусть чуткие, гибкие пальцы
Вышьют искристый и светлый узор,
Чтоб няры, и сахи, и малицы
Разноцветьем зажглись, как осенью бор! —

тихо, как заклинанье, напевала Апрасинья, словно уговаривала руки свои слушать зрячее сердце, нитку — иголку, а память — прошлое. Манюня тихо ударила по струнам и вдруг уловила мелодию, уловила и повела:

Чтоб песни и сказки старинные
Достойное место в узоре нашли,
Листочки короткие, длинные
Шелестом легкого ветра вошли.

И уже звонкий, чуть сбивающийся голос Околь вплетается в узор.

— Эх, гуляй! — Манюня забренькала по струнам.— Счас гармонию достану.— И Манюня выхватила из сундука трехрядку.

— Пусть чуткие, гибкие пальцы,— опять заводит Апрасинья, и шепчет про себя Лукерья, запоминая,—

Спешат остановить,
Линией тонкой в узоре,
Горностая белого ус,
И глазки зверей оживить,
И звонкой россыпью рос,
И ярких серебряных бус... —

высоко поднимаются три голоса — Апрасиньи, Околь и повизгивающей гармошки.

— Ну и что? — удивленно покачала плечами Федора.— Дурацкая песня. Половину не поняла... Ни по-русски, ни по-вогульски... Так, лай собачий... Не поняла...

— И не поймешь,— отрезала Манюня.— И в песне не надобно все понимать. В ней душа, а у тебя, Федора, она иссохла. Желаю, Апрасинья, выпить с тобой!

— Подашь, так выпью! — ответила Апрасинья.

— Но выпьешь, сказывай, что дальше-то стало,— вытянула шею Манюня.

— Что дальше... что дальше,— передразнила ее Лукерья.— Что может быть дальше? — в ее голосе тоска. Не отрываясь она смотрела на крупные, грубые руки Апрасиньи и страдала. Вон у Околь как проворно бегают пальцы, а у этой... У этой как жуки ползают, не пальцы, а ленивые караси. Как корни пальцы Апрасиньи, сама коряга корягой, но узорочье... узорочье, колдовской оно притягательности.

— Пей, шаманка,— приказала Манюня.— Я полюбила тебя,— тряхнула спутанными космами Манюня.— Ты крепкая, нераскусимая баба. И сказывай, чево такое натворила эта паскуда, Суваннэ. Не могет она добром кончить, чует сердце мое. Не могет.

Выпила водочки Апрасинья. Осторожно поставила рюмку на гладкий стол.

— Господи... боже мой,— шептала Лукерья.— Просидела дурой... истлели годы... Ветошь... Тряпье! Боже ты мой!

— Ну, слушай, Манюня! — И Апрасинья вновь взялась за шитье, а рядом словно прилипла Околь.— ...Ушел Титка на охоту. Подняла с постели заплывший зад Суваннэ, огладила живот и груди — много, ой как хорошо, так много живота и груди, другого всего много. Дыхание в себе глубоко запрятала, задохнулась от радости, что телом богата!

— Неси быстро чуман со светлой водой,— приказала мачеха Таись-нэ.— Стану я смотреть, какая я!

Долго она вертелась вокруг чумана, разглядывала себя, и охватила ее голодная тоска. Да как же так, никто не видит такой красоты, только Титка маленько увидит, да и то после тяжелой охоты, да в темноте, руками увидит, да никому не расскажет. Вот в чем беда, зазря пропадает такая красотища. Вышла ранним утром

на улицу Суваннэ, ступила ногой на просыпающуюся траву — упала роса, задохнулась трава. На солнце набежала тучка — тень упала на землю.

— Смотри-ка, я, наверное, солнце затмила! — обрадовалась глупая женщина.— Подожду-ка я вечера, пусть на меня луна посмотрит.

Луна прокатилась над рекой, над урманами и прикрылась облаком.

— О! Великое Небо! Луна ослепла от моей красоты,— крикнула Суваннэ.— Наверное, мне нужно на небе жить, наверное, меня не оценят люди этого бедного стойбища.

Подслушал ее мысли Дух Болотный — Комполэн, понял сразу мелкоту ее души и решил рассорить Суваннэ с охотником, который его не боялся. Обернулся Комполэн женщиной других земель и пришел в избу Суваннэ. Вынул Комполэн из берестяного кузовка лоскуток прозрачной ткани и протянул женщине.

— Нравится? — спросил Комполэн.— Вот тебе какое платье!

— Ой! — обрадовалась Суваннэ.— Меня всю станет видно?!

— Всю, всю! — подтвердил Комполэн.— Так станет видно, что люди поймут, кто ты есть.

— Но ведь из такого лоскутка не сделаешь платья? У тебя, милая женщина, есть еще такая ткань?

— У меня нет,— ответил Комполэн.— Но ее много у Кулнэ — Женщины-Рыбы.

— Женщины-Рыбы? — выдохнула Суваннэ.

— Да! Ее ткут из лунных лучей и шороха волны те, кто обитает в реках. Если муж тебя любит, он достанет у Кулнэ волшебную ткань, а девочка Таись сошьет тебе платье.

Задумал Комполэн погубить охотника Титка. Пойдет охотник по рекам искать Женщину-Рыбу, погрузится он в реки, а там проглотит его Виткась-Обжора. И все это сделает глупая, ленивая жена. Глупость — большая помощница Злу. Исчез Комполэн, но глаз с Суваннэ не спускал.

А Суваннэ натянула на себя лоскуток прозрачной ткани и давай в реке себя смотреть. То ногу медленно так поднимет, то плечом поведет, то немного задом повертит. Здорово хорошо: задок не торчит, круглый и передок хорош. Понравилась сама себе и пошла в гости

похвастаться и разбудить в женщинах Зависть. Глупость всегда почему-то хочет, чтоб ее хвалили и завидовали.

— А это не только Глупость,— не согласилась Федора.— Каждой женщине лестно, чтоб ей завидовали — как пироги пекет, каку ягоду варит, как хозяйство ведет. Другая и умна, только в хозяйстве — прореха. От ума и мужика себе не берет — все ищет, чтоб пригожий был да богатый.— И она искоса взглянула на Лукерью. А та неотрывно разглядывала узоры и тихо-тихо вздыхала.

— Неужели пойдет?! — удивилась Манюня.— Неужели мужик пойдет ей водяную, прозрачную ткань искать?

...Идет по стойбищу Суваннэ, встречает женщин и говорит:

— Такую ткань из лунных лучей и шорохов волны ткут те, что обитают в реках. Муж мой, Титка, добудет ее у Женщины-Рыбы, Кулнэ. Как надену такое платье — стану сама повелевать Рыбами.

Засмеялись люди, пожали плечами, вернулись к своим делам. Почему Глупость имеет такую власть над Добротой и Силой, подумали люди. И еще подумали люди, если Глупость имеет власть, то, наверное, она творит только дурное и непристойное.

— Ты, наверное, уже не любишь меня,— сказала Суваннэ вернувшемуся с охоты мужу и стала тереться о него, как река о берега, то к одному месту прикоснется, то у другого притихнет.— Ты, Титка, видно, привел меня из дальних земель, чтобы люди смеялись надо мною?

— Что с тобой? — заботливо заглядывает ей в глаза Титка, а та, потягиваясь лениво, прижимается, как яловая жирная важенка.

— Я обещала тебе сына-охотника, сына-богатыря,— надула брусничные губы мачеха.— Я подарю тебе его, если ты добудешь мне волшебную прозрачную ткань, которой владеет Женщина-Рыба, Кулнэ.

— Да разве кто знает, где обитает Кулнэ, Женщина-Рыба? Ты знаешь? — спросил Титка.— Я обошел все урманы, видел много рек и озер, но не знаю, где обитает прекрасная Кулнэ.

— Если хочешь сына-охотника, найдешь! — заявила Суваннэ.

— Эе-хай-ай! — восторженно вскрикнула Манюня и хлопнула ладонями по бедрам.— Вот это баба! Вот дур-

ной мужик! А ты говоришь — добрый охотник?! Да он не знает, что ли, от какого такого дела баба детей родит? Какая такая здесь прозрачная тряпка нужна, чтоб детенышей народить? О господи! Да какую такую тряпку надобно, чтоб ее хайло заткнуть?

— Она же не тряпку... она же просила волшебную ткань,— растерянно глядя на Манюню, сказала Околь,— «добудь мне прозрачную ткань,— рожу охотника».

— Мы на что тебя ро́стим?! — плюнула на пол Манюня.— Ростим тебя на то, чтоб ты глупой была? Ты не знаешь, на каком струменте играют, чтоб дите...

— Маня! — возвысила голос Федора.— Не глумись! Одни глупости у тебя на уме и вовсе нету чистоты...

— Ну какая... какая может быть чистота,— стонала Лукерья и металась по комнате, и жестко, неприятно шуршал подол ее платья...— Тяжко мне, о тяжко, господи! Шаманка, заворожила шаманка,— кольнуло сердце, забилось оно и разбухло, заперев дыхание.— Гнать тебя подальше от людей, как ведьму... Ведьма! — пронзительно закричала Лукерья и выбросила вперед руки, растопырив пальцы.— Ведь-ма! — горло ее дрожало, и дрожали ее руки.

...Нет, уже не доскажет Апрасинья сказку свою о прекрасной Женщине-Рыбе, Кулнэ, о том, как долго та находилась в плену у Виткася-Обжоры, не расскажет Апрасинья о том, как одарила Кулнэ девушку Таись-нэ, открыв ей тайны Озер и Вод. Но в этом неторопливом разговоре Апрасинья узнала многое, даже не узнала, а почуяла — отдаст она Лукерье пригоршню узоров, задобрит ее, подраненную, наверное, ослабнет та, поможет. Самая главная не та шалая, грубая бабища Манюня. Нет, самая тяжелая для нее Федора, зоркая, не спящая,— ловит она каждый шорох. Не умна, не глупа, но и не дура, а серая, сухая, плоская. Ни у кого ума не занимает и в долг не дает, дерьмом изойдет, но не сдохнет — дерьмо-то, слава богу, свое. Все-то она знает, эта Федора: на чем мир стоял, стоит и будет держаться. Все, что есть плохое в людях, знает Федора, ощупывает глазами, и добра от нее не жди, не видела она никогда добра, а душу русскому богу отдала. Да отдала ли? Просто прилепилась от пустоты и ради корысти, молит его, а об чем — непонятно. Как яйцо Федора, за какой-то сучок ее зацепить?

— Гнать ее отсель! — стонет Лукерья.— Ведь-ма-а!

— Ты че? Че? — колыхнулась Манюня и вылила в рот полную стопку.— Она за ночлег платила, сказку сказывает тебе, едрена вошь, узоры подарила, а ты — гнать?! Ну и комарище ты!

— У-у-ву! В-вву-у-ы-и-и! — завывала непогодь за черным окном.— Ы-ы-и-иу-у! — набирал силы льдистый, шершавый ветер, жестко царапнул бревенчатые стены и ухнул в трубу. Звякнула заслонка, тихонько тявкнула собачонка под крыльцом. Заржал жеребец в мерзлых сумерках.

— Спортилась ночь,— пробормотала Апрасинья и, заглянув в окно, уловила затухающую кроваво-красную полоску заката.— Закроет снегом дорогу.

— На ночь печь истопи! — приказала Федора Манюне.— Выгонит ветром тепло... Самовар подогрей, почаевничаем — и на покой. У тебя еда-то с собой есть, Апрасинья? — спросила Федора.— А то, поди, нашей погребуешь...— усмехнулась она.

— А чего там у нас нынче? — мотнула головой Манюня.— Наше едово ей не по скусу? — удивилась Манюня.— Гляди-ка, ты посты соблюдаешь, как Федора?

— Да ей, вишь ты, запрет на голову баранью да на сердце и прочий бутор,— усмехнулась Федора.

— Да! — ответила Апрасинья.— Я твой закон уважаю, хотя не понимаю, зачем ты хочешь меня обидеть. Чай пить стану, а голову баранью поедать не стану!

— Не же-ла-ет?! — всплеснула руками Федора.— А суп?

— Суп можно,— важно ответила Апрасинья.— А сердце нельзя...

— Погано? — усмехнулась Федора.

— Закон не велит,— уперлась в нее взглядом Апрасинья.

— Так тебя никто здеся не видит,— легонько, по-мышиному разжала губы Лукерья.— Испробуй здеся, коль в твоих местах запрет.

— Самый дурной человек тот, что в чужих людях свои законы поганит! В чужих облаивает свой закон, чтобы ему, как собаке, кусок кинули,— низким голосом прогудела Апрасинья, а Лукерья вспыхнула и отодвинулась в тень, что падала от сальной, коптящей свечки.

— А поди, охота запретного,— поддразнивала Манюня.— Может, и не скусно, а манит. Ой как манит запретное! Засундученное...

— Нет, не манит,— спокойно ответила Апрасинья.— Знать надо, сколь дадут за твою шкуру. А когда знаешь, што за нее пустое дают, сразу станешь жрать то, што дают.

— Ишь ты! — восхитилась Манюня.— Да ты, баба, великого ума!

— Не жалуемся, терпим! — с глубоким достоинством ответила Апрасинья.

— По-твоему выходит — по Сеньке, стало быть, и шапка,— внимательно вглядывается в нее трезвеющая Манюня.— А ежели кто ошибается? — Она оглянулась на Федору и Лукерью.— Как тогда быть? Ежели станет баба видеть в себе больше, чем она стоит? Говори...

Апрасинья аккуратно сложила шитье, воткнула иголку, пододвинула к Лукерье и ответила негромко:

— Тогда она самая бедная баба. Проживет она пустой. Себе и другим душу изорвет и подохнет, как гриб под кочкой.

— Ну? Што я говорила? — заорала в восторге Манюня.— Темная вогулка до дна видит, а вы мне голову дурите. Каждый ее запрет языческий сильнее любой заповеди господней. Ну, а этта... как ее... эта стервозница Суваннэ, она, поди, узнала, сколь ее шкурка стоит, а? Знала аль нет?

— То охотник Титка не знал, какой он добрый,— тихо вошла в разговор Околь.— Ему доброта мешала увидеть, какая Суваннэ дурная.

— Сказывай дальше! — приказала Манюня.— Нет, стой! Вот тебе стопка за крупную твою душу. Пей! — потребовала Манюня и с верхом налила стопку.— Пей и сказывай, хотя знаю, что добром все кончится.

— Добром! — ответила Апрасинья.

Выпила водочку Апрасинья. Сладкая, вкусная, но только не больно привыкла к ней, полыхает водочка внутри таежным костром. О, хорошо-то как... Только разум отнимает, совсем другое нарождается перед глазами — расплывчатое, горячее, зыбкое.

— Погубила Таись-нэ чудище Виткася, спасла отца,— устало поднялась Апрасинья. Тяжелый выдался день, грузный, изматывающий, как тропа в гиблом болоте.

— Эх ты! — хлопнула по коленке Манюня.— Все ты испортила, евринская шаманка. Страшным должна закруглиться так, чтобы всю ночь не заснуть.

— Господи,— прошептала Лукерья, вслушиваясь в ночное колыхание пурги.— Скользнул день, истаял. И завтра истает... и послезавтра. Господи, зачем-то мы живем на белом свете? И какое бесчисленство таких, как мы...

КУПЛЯ-ПРОДАЖА

1

Всю ночь не спала Апрасинья, осторожно ощупывала дверь и выходила в другую избу, где ночевали мужики. Там, при коптящем жирнике, мужчины чинили сбрую, обувку, шлепали засаленными картами, курили и пили водку. Мирон успокаивал Апрасинью:

— Спи! День-два подымит поземка, кончит. Глядишь, завтра уже к вечеру приутихнет. Иди спи.

Только к утру в путаном сне забылась Апрасинья. Утром она дождалась, когда проснется в своей комнате Лукерья. Вошла к ней, тихо поздоровалась. Лукерья встретила ее приветливо, с улыбкой на умытом лице.

— Я все хочу спросить тебя, Лукерья, не отдаете вы свою девку замуж? — спросила она спокойно, будто просто так, мимоходом.

— Акулину? А не рано ли? — удивилась Лукерья, расчесывая гребнем густые волосы.

— Что ты, милая женщина, самая пора,— горячо принялась убеждать Апрасинья, но сдержалась вовремя.— Самая что ни на есть пора,— прогудела густым голосом.— Совсем она готова яичко положить и на гнездо сесть.

— Да я не знаю,— неясно, сумеречно улыбнулась Лукерья.— Все хозяйство Федора и Манюня ведут. Акулина вся целиком в ихних руках. Они ей приданое готовят и по хозяйству, письму-грамоте обучают... Я ведь только шить учу. А у тебя жених, что ли, есть? — в Лукерье затеплел интерес, и она будто оживилась.— Красивый жених? — тоненько засмеялась Лукерья, но отрешенно, как о далеком, постороннем. И в смехе том тихо скользнула тоска о несбыточном, простом бабьем счастье, что не состоялось. Но почему — никто не знает.

— Мне-то он, может, самым красивым глядится,— осторожно начала Апрасинья.— Но скажу тебе, Лукерья,

на лицо, на тело — видный, горячий, быстрый! Девки наши бегают за ним сучонками, оттого и боязно, что могут выстудить его насквозь. Издохнуть можно, когда девок много.

— Он сын твой, что ли? — Лукерья подняла на Апрасинью кроткие глаза.— Охотник?

— Да! Фартовый охотник! — с гордостью ответила Апрасинья.— Хороший у меня сын, сильный. И коней любит. В кузне железо бьет,— доверительно сообщила Апрасинья.— А ума наберется. Жизнь его, как весло, короткая.

— И ты зажелала взять ему в жены Акулину? — как-то тихо удивилась Лукерья.— Он же ди-ки-ий! — с затаенным ужасом протянула она.— Ди-кий... Пропах шкурами и зверем. Утащит в свою берлогу,— тетка подняла свои невидящие глаза в набежавшей слезе и простонала: — В берлоге кровь из нее выпьет. Он же тела ее касаться станет, требовать.

— Какой он зверь, когда он сын мой?! — успокаивает ее Апрасинья.— Человеческий он детеныш, гляди, вот она — я, дотронься. Медведица, что ли, я? — Ей стало так одиноко и тоскливо от той вражды, что жила в слабом, кротком существе.— Я приняла тебя за добрую... За чистую я приняла тебя, Лукерья...

— Нет! Не бывать тому,— громко крикнула тетка, лицо ее исказили гадливость, страх и омерзение. Откинулась она от Апрасиньи, а в комнате, в раскрытой двери, возникло опухшее с похмелья, красное и дряблое лицо Манюни.

— Пошто крик? Кака така драка? — рявкнула Манюня и, растрепанная, шлепнулась задом на широкую лавку.— Горим али тлеем?

— Вот она...— вскинула, как пику, свой тоненький пальчик Лукерья.

— Ну, вижу,— колыхнулась Манюня.— Укусила?

— Дикая туземка хочет взять... в снохи Акулину... В вонючее стойло... Во вшивую юрту, в собачник...— завизжала Лукерья так тоненько и пронзительно, что зазвенело в ушах.

— Ну так што? — мотнула нечесаной головой Манюня.— Девке срок пришел, созрела. А то, как морошка, перекиснет... Перекиснет ведь,— хохотнула Манюня и ткнула кулаком в тугой бок Апрасиньи.— Девку с огня надо ломать, как шаньгу, ей-бо!

— Да я по-доброму хочу,— устало и отрешенно ответила Апрасинья.— Сговориться, калым назначить...

— Калым — это перьвое дело! — выдохнула Манюня.— Да и пир закатим хмельной, чтоб земля дрожала.

— Туземка дикая...— тягуче стонала Лукерья.— Вонючая, немытая инородь... Господи... и туда же лезут. Куды конь с копытом, туда и рак с клешней.

— А сама-то кто? — стукнула по столу кулаком Манюня.— Сама-то каких ты кровей? В тебе вогульские, и татарские, и русские кровя. В этой,— она хлопнула ручищей по плечу Апрасинью,— хоть одна, да своя, цельная. Эх-ма! Счас мы с тобой, Апрасинья, белого вина хватанем, не то в голове у меня туман. Счас... Ладно ты придумала.

Манюня ушла в переднюю комнату, загремели лавки, заскрипел стол, грохнул на пол котелок. Вскоре вернулась, прижимая к груди завернутую в платок посудину. Дрожали руки ее, когда цедила белое вино в берестяной ватланчик, наполнила его и с размаху опрокинула в рот — еех-ха! Открыв рот, выдохнула, крякнула, смахнула слезину, набрякшую у глаза.

— Пей! — и протянула половину ватланчика Апрасинье.— Пей! Сговор счас изладим! Федора! — рявкнула Манюня.— Поди сюда, рядиться начнем!

По-мышиному, мягко вкатилась в комнату Федора. Тонкие ноздри ее задрожали, принюхалась Федора — шибануло в нее сивушным духом.

— Бесстыжая! — тоненько вскрикнула Федора и взмахнула сухоньким кулачком.— По утру зелье жрешь, да сгори ты синим огнем! Тьфу, бесовка! Покарай ты ее, господи, кобылицу неразумную!

— Я те покараю! — Манюня положила на ее плечо чугунную руку, и Федора опустилась на лавку.— Слышь, Федора, она вот Акулину нашу сватает.

— То не она, то дурь ее сватает,— поджала губы Федора.— Акулину есть кому посватать,— чуть помедлила Федора, оглянула искоса Апрасинью.— Лавочник вдовый из Гарей антерес к ней поимел.

— Кривой-то? — заорала Манюня.— Да он плешивый, как моя задница. Налим мокрогубый! Ты вовсе сдурела, Федора. Кривоглазый...

— Лавка у него не кривая,— отрезала Федора.— Битком товаром набита... И бакалея, и галантерея... И амбары полны...

— Плешивец он,— тихо подсказала Лукерья.— Голова босая...

— Зато почет! — взмахнула птичьей лапкой Федора.— Всех мужиков в округе в кулаке держит...

— Кровосос! Мизгирь мохнорылый,— бухнула Манюня и налила себе вина. На ее лице выступили красные пятна, желтизной заполыхали глаза.

— Приданого просит вовсе мало,— гнет свое Федора.— Просит он за Акулину десять рублей золотом, да две шубы беличьих, да тулуп волчий, корову да коня. Ну и белье-одежду...

— Да пошто приданое псу одноглазому отдавать, когда по ихнему закону,— Манюня кивнула на Апрасинью,— с жениха выкуп возьмем! А тебе что с того, что у лавочника амбары полные. Тебе-то — навар?

— Верно, верно,— закивала головой Апрасинья,— какой выкуп назначишь. Думать будем... Может, сладим,— уже тише добавила она.— Да и мансийка она, Околь, не русская...

— Торговля это! Купля! — заломила руки Лукерья.— Девушку продавать в дикий урман? Кака така Околь мансийка — дикую гусю выкорми, домашней станет. Насквозь русская. Она исподнее белье носит...

— Здесь все дикие! — поднялась Апрасинья.— Здесь девка сама мужику выкуп приносит... А пошто? Чтобы сравняться с ним, одного росту стать, да? Пущай исподнее носит, то делу не помеха... только пошто девка сама выкуп несет?

— Ишь ты, десять рублей золотых,— взмахнула рукой Манюня.— Да я удавлюсь на осине да стану приходить по ночам к нему голая, а не дам! Не дам! — яростно замотала головой Манюня.

— Обещано мною было,— не сдается Федора.— Лавошник Матвей так считает — возьмет он в жены Акулину, а в ее комнате или в моей лавчонку с ходовым товаром откроет, и потекут к нам денежки и от пешего, и от конного люда. Думать надо! Головастый мужик, копейку не сорит...

— Нету... нет... и нету!..— загрохотала лавкой Манюня.— Ты, сестрица старшая Федорушка, верно, забыла, что тройной мы ответ за нее держим. Лукерья! Ты согласна Акулину за лавошника кривого отдать?

— Не согласна! Плешивец... Жаден, что волос свой не хочет носить...— ответила Лукерья.

— А ты согласна за вогула отдать в урман? — пытает Манюня.

— Не согласная! — отвечает Лукерья.

— Так за кого отдавать-то? — потребовала Манюня.

— Не знаю! Ой не знаю... Ведь он ее в постелю свою опрокинет!

— Для того и в жены берут, дура! — рявкнула Манюня.

— Ну, а какой для антиресу твой выкуп? — равнодушно будто поинтересовалась Федора.— У нас девка непростая. Она грамоту знает, шить обучена, русской стряпне. Крещена вдобавок. Так какой твой крохоборный выкуп, шаманка?

— Говори сама! — только и смогла ответить Апрасинья.— У нас в Евре разной девке — разный толк.

— Ну какой? Отвечай! — потребовала Манюня.— Только не бреши. Мы цены знаем,— она стала деловой, какой-то очень резкой и опасной.

— Разный калым,— уклончиво протянула Апрасинья.— За какую там мелкую девку — пуд белок да что-нибудь из мехов. Кто конями берет да овцу-другую в придачу. Или пару собак хороших, или пай свой в реке отдаст девкину отцу. В моих землях — у сосьвинских манси — пушнину, котлы медные, чайники, табак дают, муку, сахар. Оленей дают, нарты, а то и чум готовый. Капкан дают, ружье. Ружье, однако, редко.

— Ну, баба! — рассердилась Манюня.— Пошто нам капканы, пошто собаки, котлы медные,— передразнила Манюня.— Ты дело говори — сколь пушнины дают?

— Пуд... два пуда белки! Пуд соболя — это больно хорошая девка,— ответила Апрасинья.— Редкая порода... Которая одна у отца-матери. Выгулянная...

— Так! — задумалась Манюня, зашевелила губами.— Ты, Федора, торг знаешь, сколь шкурка соболя стоит? Ладно, молчи, значит, пуд соболей? А сколько в пуде-то, а? За Акулю — два пуда!

— Два пуда?! Два пуда-то — три-четыре зимы бегать в урман надо. Нет, наверное, четыре зимы,— ответила Апрасинья.— Можно совсем издохнуть, а зверька не достать. Он — умный человек, соболь. Сам он в петлю, в сеть не лезет, однако. Помни это!

— Это, конечно,— согласилась Федора.— Сам бы лез, золотом не ценили. Но у вас его там видимо-невидимо, огульного зверья-то. Сказывали знающие люди, что

соболь запросто бегает по деревьям, а когда мороз ярит, то падает прямо на землю. Только-то и трудов что ходи подбирай! Слыхивали...

— Плюнь тому в глаза, кто тебе такое сказал,— вскочила Апрасинья.— Не каждому охотнику соболь достается. Ладно, пошлю своих мужчин в лес. За две зимы добудут. Бери пуд соболей да пуд белки,— решительно заявила Апрасинья.— Сама в лес пойду и добуду.

Молчат сестры. Тихо стало у стола. Федора пошептала сухими, узкими губами, переплела пальцы, выдернула нитку из платка.

— Вот, баба, как порешим — сговору будто бы не было, начало только разговору положили. Завтра... послезавтра похожу по толковым людям, по торговым. Ой... съездить надобно в Туринск да в Гари разузнать, сколь тот пуд в червонцах стоит. Сколь стоит, ежели в золото перевести, или в хлеб, или в товар какой? Не то обманешь, а остаток дней в горе провести мы не желаем! Задержись еще день да ночь, скажу! — так за сестер порешила Федора.

Два дня бегала Федора — узнавала, вынюхивала, выспрашивала. Два дня не пила вина Манюня. Два дня не садилась за шитье Лукерья. На третий день сказали-приговорили сурово и бесповоротно, словно приварили:

— Давай полтора пуда соболей за Акулину! — заявила Федора и обнажила клыки.

— Давай еще пуд белки, дюжину выдры или бобров да две дюжины волков или рысей! — пробасила Манюня и ударила кулаком по столу.— Каждой из нас на подарок шубу меховую — беличью!

— Шапку каждой куныо, рукавицы, хоть из горностая,— простонала Лукерья и оглянулась на темный угол,— хоть из колонка.

— Да три денежки золотых! — как ножом отрезала Федора.— И на том весь наш сказ!

Схватилась за голову, застонала Апрасинья.

2

Всю зиму не выходят из урманов ее сыновья. Исхудал у костров Мирон, почернел на зимних каленых ветрах. На тонком лице крупный с горбинкой нос. Истрепали его лесные тропы, глаза горят от жара — грудь он

остудил. Кашлять по ночам начал, во сне непонятное говорит. И всякому из них стала сниться Околь, хотя, кроме Мирона, не видели ее наяву.

Мирону она явилась почему-то дорогой, но бессмысленной игрушкой, заводным фарфоровым болванчиком, заморским идолом, что он видел в лавке у пелымского купца — белолицая, розовощекая девка качала головой. «Китайка,— сообщил торгаш.— Из самих Китаев». Качает толстощекая китаянка головой, и звенит в ней, не прекращаясь, а где — не поймешь, в голове ли, в титьках ли,— тоненький колокольчик — «дзинь-дзинь, дзинь-линь». Зачем такая дорогая, ломкая игрушка охотнику? Зачем бесполезная вещь в хозяйстве? Качает головой: «дзинь-дзинь-линь». Ни тепло от нее, ни холодно, и качается тебе, как сосулька на весеннем ветру, только та сосулька хоть радует сердце, сулит она теплые ветры и оттепель. А эта... Является она еще во сне Мирону, как рысь, солнечного цвета, цвета горячего песка и просит, жалобно Околь просит: «Мирон... Мирон! Сними с меня черные пятнышки. Прожигают они меня насквозь». Мирон твердой рукой дотрагивается до пятнистой шкуры, а та, волнистая, шелковая, вдруг вспыхивает. Пламя бросается в лицо и выжигает Мирону глаза. В огненных радужных кругах, в языках чадящих костров просыпается Мирон. И почему-то, уже вроде бы проснувшись, он падает в тот костер, куда он опрокинул великого шамана Волчий Глаз. Крылья Черного Ворона нависали над лютыми и морозными глазами шамана, и, задыхаясь от злобы, тот рычал и надвигался на Мирона, растопырив не пальцы, а кривые когти. Задрожал крупно телом Мирон, волосы дыбом поднялись — страшно! Глаз страшен — не коготь.

— Полтора пуда соболей,— рычит Волчий Глаз.— Полтора пуда соболей да белок пуд. Кха-укха! Да три шубы меховых,— дико захохотал Волчий Глаз.— Три шубы! Три шапки куньи да три денежки... Три денежки! — прокатилось над лесом, и Мирон просыпается в холодном поту.

И так изо дня в день вползают в сны Мирона чудища и оборотни с зелеными, красными глазами, голыми, иглистыми хвостами и вонючими пастями.

— Ты без выкупа взял мо-о-ою Апра-синь-юю,— корчится на огне шаман.— Ты украл ее! Во-ор! Во-ор ты! Подошло время, подошло время расплаты. Ты издох-

нешь в тайге, Мирон, но не добудешь ты соболя. Не добудешь... Околь, как Апрасинья, тоже шаманка, только другая. Апра-си-нья! — зовет Волчий Глаз.— Я ведь выжил, Журавлиный Крик! Выжил!

И сыновьям Мирона опостылела Околь. Хоть ни разу не видели ее, но она уже издали казалась им хитрой, кровожадной, с ощеренной зубастой пастью лесной колдуньи — Вор-Люльнэ — Лешачихой.

— Давно такого калыма не было,— ворчали сыновья.— Сахарная вся!

Это заради нее они утопают в снегах, мерзнут у негреющих костров, а зверек, сверкая драгоценной шубкой, ускользает из рук, вытекает между пальцами, как зыбкий лунный свет. Нет, страшная то женщина, жадно тело ее, руки ее, коли просят за нее такой калым. Наверное, она станет жить в отдельной юрте? Да не потому, что трудно добыть два пуда соболей, но ежели их отдать, что жрать, что одевать? Да и им самим, поди, нужно жениться, время созрело. Ведь семь сынов, так ежели каждому такой калым готовить, всего зверя переведешь, с корнем его выдерешь — не лес то будет, а гольное пожарище...

Тимоха торопит братьев, торопит отца — «давай... давай, пора вставать». Первым убегает в урман, без богатой добычи не возвращается. Ему уже мнится, что держит он девку в объятиях и сгорает в ее огнях, а она тает... тает... спелой малиной на жадных губах. «Фарт, удача к нему обернулись,— решили братья,— собак ему отец дал самых зверовых, а ружье его заморское».

Апрасинья посадила всех женщин за работу. Ножами скребут они шкурки, сдирают мездру, мнут и сушат шкурки, и те уже отсвечивают драгоценным ворсом. Уходила Апрасинья в бор к заверованным деревьям и у корней неохватной березы разводила костры, приносила жертву добрым Духам леса, трав и воды. То белого петуха принесет редкого, то овечью шерсть, то беличьи тушки. Все пожирает огонь, но молчит.

— О, Белый Светлый День! О, Великое Небо... и ты, Сим Пупий — Милый Шайтан! Вы видите, как я хочу, чтобы не купленной, не проданной пришла к моему сыну женщина Околь,— страстно заклинает Апрасинья,— не спутанной по рукам и ногам. Не хочу, чтоб стала она брошенной под мужа женщиной. Боже небесный! Шайтан земной! Дайте Тимохе женщину Околь, как подругу

дайте, как опору в жизни. Если баба приклеится к мужу или мужик к бабе — это еще не любовь, то страх одиночества. Маленькая жизнь — в маленьких ожиданиях.

Через зиму заторопилась Апрасинья за невестой сыну.

3

Все осталось прежним. Светились лампады перед черными досками в комнате Федоры. Грохотала сапогами одуревшая от вина растрепанная Манюня. Бесплотной тенью, летучей мышью повисла над шитьем Лукерья. Только Околь стала краше, глазастей и крупнее, но не слышно ее песен, легких, как ветерок над ягодной поляной.

Вокруг постоялого двора на вороном, как уголь, жеребце кружил Тимофей. У жеребца полыхал глаз, у Тимохи полыхало сердце. Увидела его в окошке Околь: «Кто?»

Сгрудились тетки вокруг Апрасиньи.

— Сговор ли остался? — торопливо спросила Апрасинья.

— Нет! — ответила Федора.— Порешили мы отдать Акулину за гаринского ямщика Григория. Держит он ямщину. Постоялый двор у него по гаринскому тракту.

— Не пойду за него! — заливается слезами Акулина.— Вы посмотрите, милые тетушки, как он коней своих держит, а они ведь ему жизнь дают! У его коней сердце разрывается на бегу, дохнут от непосильной работы. Не отдавайте меня за него! — взмолилась Околь.

— А как же уговор? А как же лад? — растерялась Апрасинья.— Обман?

— А кто видел? А кто слышал? — взвилась Федора.— Кто знает, что сговор был с туземкой? Да в нас в Пелыме плевать зачнут, когда узнают, что дикому охотнику такая красота достанется. Не ровня мы!

Околь вышла на улицу, и здесь увидел ее Тимоха, увидел и обомлел. Тимоха, обтирая рукавицами угольно-черного жеребца, смотрел на нее с таким восторгом, что Околь невольно улыбнулась.

— Ты откуда? — сверкнула белыми зубами Околь.— Не из Евры?

— Да,— проглотил жесткий комок Тимоха.— Там живу...— И шагнул к Околь, потянув за повод жеребца.

— Ты — охотник, Тимофей? — окинула взглядом Околь крупного парня в короткой расшитой малице, затянутой широким кожаным поясом. Пояс украшен пятью медвежьими клыками, рысьим когтем и волчьими зубами — только разве понимает Околь, почему украшен пояс клыками. Три ножа свисали с пояса, трубка и расшитый бисером кисет. Из-под рысьей шапки, отороченной куницей, на Околь неотрывно, зовуще и восторженно смотрят горячие, диковатые глаза.

— Я... я Тимоха! — загорячился юноша.— Мать моя — Апрасинья, Журавлиный Крик, в сговор вошла. А ты?! Ты, наверное, Ворнэ — Лесная Женщина?

— Акулина я,— тихо, сквозь слезы засмеялась девушка. Не испугал ее порывистый, неловкий и красивый юноша-охотник. Вовсе не дикий он, не страшный, и пальцы без звериных когтей. Но он ей совсем чужой, далекий и не такого Тимофея ждала Акулина, и почему-то в снах, в девичьих грезах он виделся высоким, тонким и, наверное, все-таки русским.

— Калым за тебя привезли,— заторопился Тимофей, сорвал с себя шапку, и черные прямые волосы упали на плечи.— Выходи за меня, Околь! Всегда будет гореть огонь в моем чувале! Всегда будет еда в твоей колташихе!

Вот, вот оно наступило, вот оно зацвело и назрело, то золотое времечко, когда тебя, девушка, так любовно задыхаясь, в жены зовут. Зовут! Ждала и поджидала, но все не то и все не так... О господи!

— Как тетушки порешат,— грустно ответила девушка.— Не вольна я...— И подошло здесь, нахлынуло, захлестнуло ощущение полной своей беззащитности и немоты. Околь охватил страх, стреножила тоска, и беззвучная буря ворвалась в нее и, раздирая корни, корешки, что крепили ее к прежней жизни, опрокидывала гнездышки больших и малых привязанностей.

— А если не отдадут? — испугался Тимофей.

— Не хотят они за тебя,— опустила глаза девушка. Она и сама не хотела, не верила, что тетки отдадут ее за евринца, и обидно ей было, что при ней начали торг, и стыдно, и горько.

— А ты?.. Ты?! — рванулся к ней Тимофей.

Околь подняла длинные ресницы, полыхнула взглядом, вырвала руку и отвернулась.

— Господи! Господи всемогущий! Спаси меня...— не-

внятно шептала Околь. Потускнели глаза девушки и увяли губы. Что делать? Ведь этого мужчину она должна любить, ласкать, уважать, ему должна повиноваться, а кто он для нее?

— Я украду тебя! — крикнул Тимофей и вскочил на жеребца.— Смотри, как ветер он... Не бежит, а глотает тропу...

4

А тетки вели с Апрасиньей горячее торжище. Апрасинья и Мирон развязывали мешки и сумки, открывали берестяные коробки и бросали под ноги женщин легкие, сверкающие меха, куньи шапки, разворачивали голубовато-дымчатые беличьи шубы. Разгорелись, зажглись глаза, затряслись у теток руки, вытянулись шеи — такое невиданное богатство! Это же царский выкуп, да за простую девку! И увидела сейчас Апрасинья-Журавлиный Крик, выглядела она сейчас до самого донышка мелкость душ рублевских теток. Их крючило-корючило от жадности, и не просто жадности, а какой-то звериной, долго скрываемой, неутолимой алчности. Они обнюхивали каждую шкурку, мяли когтистыми пальцами, а у Манюни не коготь, а копыто, перебирали ворсинки, разглядывая тонкие, едва заметные швы лыенъях — беличьей шубы. Апрасинья нутром почувствовала, что тетки станут торговаться до последнего дыхания, до капельки, пока обескровят ее, пока не выманят лишнюю шкурку, ворсинки которой еще дрожат напряжением изнурительной погони. Ладно, пусть так! Она ведь сможет... неужто она не сможет посмотреть на них взглядом Волчьего Глаза! И она напряглась, вызвала в себе ту силу, которой нечаянно одарила ее земля.

Несколько раз тетки швыряли на пол драгоценные меха, заламывали руки и закатывали глаза.

— Нет! Мало! Ты погляди, какие у Околь титьки! — Девушка молча стояла в углу под иконами, и Федора крутила ее и тормошила.— Гляди! Слепая ты баба! Я тебе не гниль отдаю...— и хлопала Околь по широким бедрам.— Ты это хоть видишь?

Лукерья шмыгала утицей-подранком между сестрами, верещала тоненьким голоском:

— А мастерица она! Мастерица... Руки у нее как бабочки. Так и порхают, так и порхают!

— Вот для чего растили меня? — как-то отрешенно, будто о другой, протянулось в Околь и мгновенно погасло. Застыла она.

— Эх-их! — басит Манюня.— Давай пять денежек, и дело с концом. Не девка, а кобылица. Из нее ребятишки посыплются, как морошка из лукошка. Эх-ма! — и ставит на стол Манюня посудину с вином.— Выпей, Апрасинья, отогрей душу!

Несколько раз тетки запихивали пушнину в мешки, несколько раз выбрасывали и пересчитывали, натягивали на себя шубы, напяливали шапки, но Апрасинья не сдалась. Молча следила, потягивая трубку, и грозно отсвечивала глазами.

Мокрые, распаренные тетки свалились на лавки. Тяжело дышали.

— Ладно, грабь! — решила Федора и тоненько завыла.— Отдам тебя, бедная девушка, в чужую семью, в чужую землю... ай-аю... Станешь жить в берлоге, да темной — со лютыми зверями, с тараканами да клопами.— И полились слезы ручьем из глаз Федоры.

Манюня подмигнула Мирону, хлопнула по плечу Апрасинью и, притянув за руку, посадила рядом Акулину. Хриплым голосом повела, словно поземкой, чудну́ю песню:

— Кунья шуба, не попыхивай, ты, Тимоха, не поздыхивай,— и вдруг оборвала: — Игде жених? На дворе... А ну давай его сюда!

Медведицей вывалилась Манюня во двор, схватила Тимоху за пояс и потащила в избу. Вытолкнула его на середину комнаты, подвела Акулину и, кашлянув в кулак, просипела:

— Вот тебе, Тимоха-женишок, невеста. Вот тебе писаная красавица Акулина. Отдаем тебе ее из рук в руки. Сердце из себя вынимаем.

Тимоха осторожно дотронулся до руки Околь, та была холодна и висела, как сломанная ветка.

— Ты — моя?! — выдохнул Тимоха.

— Твоя! — рявкнула Манюня.— Твоя станет, когда в бане помоешься да в церкви обвенчаешься, понял? По закону! — И раскрыв рот, затянула:

Кунья шуба, не попыхивай, ты, Тимоха, не поздыхивай!
Наша-то Акуля не хуже тебя:
Она ростом поменьше, да умом подороже,

Она костью поскладней тебя! Белым лицом побелей тебя!
Наша-то Акуля и не пара тебе.
Тебе-то пара — во дворе свинья полосатая да с поросятами.

— Какая свинья? Какая такая свинья? — не может понять Апрасинья. Мирон молча кладет руку на плечо жены, но оно каменеет — неподкупна сейчас Апрасинья.

— Песня такая,— отмахнулась Манюня.— Жалостливые песни надо петь, когда девка под венец идет. Вот, до церкви.

— Не пойду! В церкву не пойду! — взбычился Тимоха.

— Без церкви только собакам можно! — отрезала Федора, глядя мимо Тимофея, и лицо ее — власть.— Без церкви только зверь звеએренышей рожает.

— Пойдет... Пойдет он,— заторопился Мирон, и Апрасинья ласково погладила его руку.— Молодой он, боязно ему. Его поп в Евре в чуман бросал, водой тоже брызгал. А в церковь не ходил... Молодой еще. Клистос нам не помеха! — твердо сказал Мирон.— Пусть он живет в той душе, где найдет место.

— А ну, Мирон, ставь вина! Угощай! — размахнулась Манюня.— Очень я даже довольна калымом! Как за барыню взяли. Эх-ха, темные вы души! — рявкнула Манюня.

И три дня без просыпа шла гульба, и три дня, падая и поднимаясь, хвастались друг перед дружкой — тетки нахваливали невесту, а Мирон с Апрасиньей — Тимоху. А потом, как в тумане, была церковь, и свадебный русский пир, и дальняя для Околь дорога.

Обернул ее Тимофей Картин в соболиный тулупчик, свистнул на всю улицу, и рванулись вороные длинногривые кони.

Страшно, одиноко и горько стало Околь, когда скрылся из виду посеревший от времени дом теток. Жестяной петух на трубе в беззвучном крике распахнул крылья. В ноги коней бьет полуденная поземка. Заячий след петляет в обледенелых тальниках.

— Не пускай в себя страх, Околь,— успокаивала ее Апрасинья.— Судьба метит слабых. Тебе отпущен долгий век — так говорит мне сердце.

ЖУРАВЛИНЫЙ КРИК

1

Заботой окружила Околь Апрасинья, берегла, не ломала в грязной работе. Обучала тонкому шитью и древним узорам, подолгу рассказывала о своей земле, о народе сосьвинских манси, о евринцах, об их обычаях и законах.

Как только Апрасинья привезла Околь, вся Евра от мала до велика пришла смотреть на чужачку, что перешла дорогу своим, местным девкам.

— Смотреть надо! — перешептывались женщины.— Смотреть многими глазами — каку таку девку отыскала Апрасинья? Кака така красавица нельмушка?

— А може, не красавица? Зачем Апрасинье лебедица? Она, поди, такую же шаманку, как сама, отыскала. Сколько зим и весен слопец на девок ставила и выловила Вор-Люльнэ — Лешачиху! — хихикнули евринские бабенки, что послабее умом и с легкими языками.

— Вы-ло-ви-ла Вор-Люль-нэ?! — прошептали пораженные вдовицы.— Неужели она перевернуться может в рысь или вывернуться наизнанку? Щох-щох! Чего она, слаще, что ли, ежели грамоту знает?!

— Она ведь под юбкой короткие штаны носит! — с притаенной гордостью отвечала старшая дочь Апрасиньи.

Шли по Евре пересуды, пробегали, как легкий ветерок, но, увидев Околь, бабенки затихли — что-то было такое в нетронутой чистоте девушки. И еще замечено было: сквозь легкую грусть словно бы проступает боль. Почему? Отчего? Что еще девке надо? В такую семью добрую попала! Сыта будет всегда, не погаснет огонь в чувале, а над огнем в большой колташихе всегда варится мясо. Чего ей еще надо — ну поколотит ее разок-другой Апрасинья, поди, не убавится.

На свадебный пир позвала Апрасинья всю Евру.

— По-русски гуляли, под гармошку. В церкву возили, мужик бородатый здорово ревел. Теперь по-своему, по-мансийски пир справим,— повеселела Апрасинья.— Люди, идите на пир!

Вот здесь, на пиру, и увидел Околь хмурый и как будто угасающий Ондрэ Хотанг. Ондрэ Хотанг оставался одиноким, как волк с поломанной челюстью, и одиночество горело в его ночных глазах. О бог ты мой!

Как давно у него не было женщины, он забывает биение и трепет женского сердца, ее путаное, сонное дыхание, разбросанность обнаженного тела! Как хочется ему женщины, и это острее ножа, пронзительнее иглы, что вонзается в глаз, это оглушительнее грома над сонной туманной старицей и страшнее рева медведя на медвежьей свадьбе. И хотя ему очень хотелось женщины, он, Анджей, не мог позволить себе, поляку, шляхтичу, европейцу, снизойти, опуститься до евринской женщины. Не мог! И не сможет! Не заставить себя, хотя он ясно понимает: ему с его чахоткой отсюда уже не уйти... Женщины Конды и Евры казались ему забитыми, темными, жалкими существами, грязными, пропахшими насквозь рыбьим жиром и звериными шкурами. Темные, примитивные туземки. Разве о такой женщине мечтал Анджей, все восставало в нем, хотя так ему хотелось женщину...

Но эта, что сидела рядом с лоснящимся от счастья Тимофеем, вдруг потянула к себе, позвала грустной улыбкой, томящей острой тоской. На столах хмельно и круто пенилась брага, из берестяных туесов лилась огненная вода. Густой пар поднимался над громадными кусками сохатины, баранины и конины, над широкими корытами с вареной, и жареной, и печеной на вертеле рыбой, над овсяным киселем и чаем, гремела посуда, звякали ножи. Невообразимый гул поднялся над пиршественными столами. Кто-то пьяно перебирал рокочущие струны священного «лебедя», кто-то бренькал на трех струнах «гагары», дул в берестяную трубу.

Поднималась над столами и рвалась песня, падала подстреленным глухарем. Но ничего не слышал Ондрэ Хотанг, не отрываясь, будто утоляя жажду, смотрел он на Околь, которую обнимал и тискал потный от вина, хмельной от счастья фартовый охотник Тимофей. Но отчего так потянуло Анджея к Околь? Ведь не красота, ведь не тонкая, чеканно выпуклая азиатская красота, упругая, и таинственная, и неразгаданная, потянула в себя Анджея? Ведь не только оголенное, откровенное желание женщины заставляло содрогнуться его, напрячься до такой боли, что хотелось кричать и рвать себя в клочья?

— Боже мой, как она одинока! — шептал поляк.— Она же замерзает, она леденеет от одиночества. Она заживо умирает, исподволь входит в свое одичание!

— Глядишь в девку?! — даже вздрогнул Ондрэ, когда над ним наклонилась разгоряченная Апрасинья.— Незамутненная! — выдохнула она и пошатнулась, плеснула водкой из берестяного ватланчика, налила полную чарку.— Пей, оторванный от своей земли! Пей! — приказала хмельная, довольная пиром Апрасинья.— Она, Околь, ведь грамоту знает.

— Гра-мо-ту зна-е-ет? — поразился Ондрэ.

— И в Христа верит! — как-то заносчиво, горделиво подчеркнула Апрасинья.— Две веры в ней. Еще не пойму — худо ли это, али добро!

— В Христа верит? — переспросил Ондрэ.— Искренне верит или просто за кем-то повторяет?

— А ты пошто так глядишь на нее? — хоть и пьяна была Апрасинья, но оставалась настороженной.— Так глядеть худо! Так ворона смотрит в чужое гнездо!

— Ты видишь, Апрасинья, у нее шевелятся губы,— дотронулся Ондрэ до плеча Апрасиньи.

— Она, наверное, поет?! — недоверчиво вглядывалась в Околь Апрасинья.

— Нет,— грустно и тяжело ответил поляк.— Она молится своему богу.

— Пусть,— жестко и трезво отрезала Апрасинья,— каждый по-своему прощается с детством, каждый по-своему входит в омута жизни.

2

Привыкла Околь к мужу и незаметно так привязала его к себе, что Тимофей подолгу не отлучался из Евры; нет, не боялся — пропащим считал день без Околь. Привыкла она к братьям, сестрам Тимофея, к Евре, евринцам, к их непонятным обычаям и законам. Но оставалась она по-прежнему скованной и нераскрытой, как затянутая смолой кедровая шишка, где под жесткой чешуей в теплой темноте молочно наливается орех. Будто она нарочно не хотела быть замеченной, не хотела привлечь к себе чье-то внимание. Вдруг застывала на месте, отрешенная от всего, не слыша, что ее окликают или о чем-то просят. Или бродила по двору молча и напряженно, уходила в лес, глядя в тревожный, длинный, дымный закат. Апрасинья внимательно следила за невесткой, не лезла напролом в ее непокойную душу. Как ни пыталась она понять Околь, не смогла. А Тимофей ничего не замечал. Он словно растворился в

Околь — собственной, цельной, без изъяна красивой женщине, которую он может взять, когда ему угодно — хоть утром, хоть в горячий душный полдень. Он еще не верил тому, что вся она его — от бровей и до пяток.

— Ты знаешь, какая моя баба?! — хвастает Тимофей перед мужиками.— О, я на нее, как в облака, падаю и лечу... Ой! Как я лечу! И она подо мной как утка на волне покачивается.

— На первых порах она вкусна, как стерлядка! — поддакивают евринцы.— Но и с нельмы на ершишку тянет. Бывает просто невмоготу как ершишку поесть охота...

— Ты, Тимоха, не больно-то сказывай, какая она у тебя наваристая,— поддразнивали его мужчины постарше.— Уйдешь в урман, кто-нибудь с ложкой придет похлебать из твоей колташихи! Смотри, парень!

— У меня глаз острый. С зубом у меня глаз,— отмахивается Тимофей.— Однако, побегу,— торопится Тимофей.— Маленько мне бабы захотелось!

— А чего ему,— рассудили мужики и набили трубки.— Два пуда соболей отдал? Отдал. Теперь калым маленько себе возвращает.

Апрасинья видела, что это уже не прежняя, жизнерадостная, чуточку игривая Околь, что затускнела она, хотя к ней не дотронулись ни хворь, ни дурной глаз. Тоска? Какая может быть тоска, когда столько дел? Нет, Околь не очень-то тосковала о Пелыме, там не осталось подруг. Она редко вспоминала теток: разглядела их во время сватовства — торговли и продажи. Не осудила их, хотя было ей горько, стыдно, противно, ведь так делали все, всегда, из века в век, и везде, пусть не так обнаженно и открыто. Ведь они о ней заботились, холили ее лишь затем, чтобы подороже, хорошо продать. И Околь задумалась — чем же она должна расплатиться? Ведь она должна расплачиваться безмолвно и безответно. А за что? За кусок хлеба, за кусок тряпки, за кров над головой? Значит, она навсегда, насовсем останется в этой деревушке, на этом берегу, в этой многолюдной, в общем-то дружной и неплохой семье, которую держит в руках Апрасинья — Матерей Мать. Но чего Околь хотела? Чего бы она желала? Она искала в себе, пыталась найти, но то неуловимо ускользало, ведь она хотела сделать в жизни что-то сама, пусть крохотное, но свое, и теперь она не сможет. За нее уже все

решено. Немного она прочитала книг, да и то божественных, но из них, а также от проезжих людей на шумном постоялом дворе она узнала, что мир велик, населен разными народами, что человек рождается в уготованной судьбе и та дается ему свыше и что всем миром владеет божья воля — могучая, но справедливая. И ей хотелось познать бога и через него познать смысл человеческого бытия — стоит ли человек красоты, должен ли он трепетать перед Жизнью, или погрузиться в нее, или бросить ей вызов?

«Зачем? Для чего я родилась? Стать женой? Стать женщиной? Стать матерью? Много ли этого или мало? Если много, то сумею ли все это? А если мало, то должно быть что-то еще. А что? Все повторяется из года в год — все наполнено жизнью. Но почему так все удивляет?»

— Садись и ешь! — приказывает Апрасинья.— Наверное, Лесной Дух разум твой мутит. Худо, когда женщина много думает, в пропасть заглядывает. Может, Тимофей тебя обижает?

— Нет, Тимофей не обижает,— кротко ответила Околь.

— Не привыкнешь к нему? — настойчиво допытывается Апрасинья.

— Нет, привыкаю понемногу,— тихо ответила Околь.— К Евре не совсем привыкла... Все здесь по-другому. Но меня,— Околь густо покраснела и опустила голову,— меня...

— Что? — жестко вцепилась в ее плечо Апрасинья.— Говори! Что? Что — те-бя?

— Мне стыдно,— еще ниже склонила голову Околь.— Я сгораю от стыда. Боже милосердный, как это грешно!

— Что, что? — тормошит молодую женщину Апрасинья.

— Брат Тимофея... Сэмэн,— прошептала Околь.— Требует меня младший брат Сэмэн, твой средний сын.

— О, Светлый День,— облегченно выдохнула Апрасинья.— О, земной бог Шайтан! Как ты напугала меня! Требует тебя Сэмэн,— тихо засмеялась Апрасинья.— А как он тебя требует?

— Стыдно сказать,— прошептала Околь.— Как только уйдет Тимофей, Сэмэн как из-под земли появляется, хватает за груди, за живот меня хватает...

— Это он молодой, горячий,— заметила Апрасинья.

— ...тащит в темный угол или в кусты. Как волк зубами клацает. Юбку мне задирает...

— Ну, а ты? — допытывается Апрасинья.

— Я, сюкум, лицо ему ободрала. А он потеет, скулит: «Давай, Околь, давай, Околь, маленько...»

— Ну и что? — успокаивает ее Апрасинья, ласково поглаживая по золотистым кудрям.— Он ведь глупый еще, Сэмэн.

— Да грех же это! — в ужасе вскочила Околь.— Ве-ли-кий гре-ех! Я перед богом, перед алтарем поклялась в верности своему мужу, я его раба и одному ему принадлежу!

— Это хорошо! — одобрила Апрасинья.— Это здорово, что твой бог требует верности от жены. Только верность держится не на клятве, Околь. Я верна Мирону, как нож. Верна, хотя не давала клятвы богам. А Сэмэну я скажу. Не обидит он тебя больше... А ты уж не серчай. Молодой он, тоже, поди, хочется ягодку раздавить...

— О боже! — глухо застонала Околь.— Дикость языческая... дикость и нечисть.— Как она страдает, но никто в этом мире не может ее понять. Даже Апрасинья, даже Мать Матерей, самая мудрая и самая властная женщина селения, не хочет понять ее. Нет! Нет и нет, она будет любить Тимофея так, что он сойдет с ума, если что с нею случится, она станет для него самой нужной, она станет для него самой нежной. Только для него! Да, она откроет ему то, что знает о Христе. Да, она научит Тимофея грамоте, тайне счета, великой тайне письма. И Тимофей никому не отдаст ее.

Насторожили Апрасинью стоны Околь. И хотя в душе своей она одобрила стремление невестки жить в чистоте и обрадовалась, что в Околь всяческое принуждение вызывает страх, отвращение, отпор,— все равно где-то в душе Апрасинья понимала, что не это самое главное. А главное в том, что Околь все еще жила в своем прежнем мире — узком, маленьком, полном бесчисленных заповедей. И Апрасинье стало обидно за то, что Околь не может принять ее мир, мир вольной воли, мир таежного безбрежья и неразрывности всего живущего.

А тут еще повадился в дом Картиных погруженный в себя, все так же надсадно кашляющий Ондрэ Хотанг. Он достал у купцов твердую, как кора, бумагу, достал краски и карандаши и ходил по домам, рисуя старух и

стариков, ребятишек, одежду, утварь. Евринские женщины понемногу, но все еще осторожно показывали ему своих детей, и он прикладывал к их спинкам трубку и слушал. Что он слышал, никому не известно, но порой лицо его становилось таким печальным, что матери выхватывали детей из его рук и уводили.

Но больше он рисовал — и Чейтметовых, и Лозьвиных, и Кентиных. Рисовал Мирона и Тимофея, но никак он не мог нарисовать Апрасинью. С листа бумаги из тонких штрихов, черточек, полос, царапин и размазанных, струящихся пятен гляделось, туманно проступая, властное, словно окрик, лицо и горящие, пронзительные глаза. Они глядели прямо в тебя, глядели насквозь и обнажали, и холодно, жутко было от этого взгляда. А с другой доски, уже с похожего, тяжелого лица Апрасиньи, глаза струились непонятным покоем и лаской.

— Нарисуй мне Матерь божью! — попросила как-то Околь.— И расскажи мне о ней, Ондрэ. Ты говоришь так хорошо.

И Ондрэ Хотанг, вглядываясь в лицо Околь, писал земную женщину, еще не родившую бога, писал женщину, что носит ребенка под сердцем, женщину в предчувствии материнства.

— Тебя нужно писать лунным светом,— шепчет Анджей, бросая мазки на гладкую доску.— Писать майским дождем, раскрывающимся листом, распускающимся черемуховым цветом... Тебя, Околь, может передать только любовь и надежда...

Апрасинья всмотрелась в картину, едва узнала Околь в девушке неземной красоты, уперлась взглядом в Ондрэ и угадала его тоску и смятение.

— Эта женщина не для тебя, Ондрэ Хотанг!

3

Пришло время, и Околь родила сына. Испугалась вначале, закричала тонко и растерзанно, а потом, увидев крохотное живое чудо, закричала от радости. И расцвела она. Запела как птица, сменившая перо, засияли ее глаза — из глубины их пролился теплый золотистый свет. Сразу покрупнел Тимофей и бережно брал ее в руки — пай в реке и пай в лесных угодьях принесла Околь.

Промелькнуло лето, коротко проползла осень, отшу-

мели зима и ледоход. С грохотом треснули льдины и, крутясь, понеслись по реке. Унесла та весна Ондрэ Хотанга, сгорел он от чахотки. А Околь принесла второго сына, да крупного — загляденье. Третий сын народился в волчью стужу, под вой пурги, под низкими, знобящими звездами.

— Спасибо! — поклонилась ей Апрасинья.

— Дай, небо, силы Околь! — принес жертву Мирон.

В осенних туманах, в опадающей листве, под колышущимся криком журавлей, в жалобном крике улетающих стай появился четвертый сын. Один в берестяной люльке круглым ртом пускает пузыри, второй на животе лезет к груди, третий держится за подол, а четвертый уже ножом стругает, вытачивает из лучины стрелу.

И еще пуржили зимы, и еще грохотали реки, заглушая лебединые клики, и распускалась черемуха, и теплом дышало лето, и красным соком отливала осень в бруснике, и после девятого сына, Гришатки, на тридцать вторую свою зиму, под лентами и холодными струями северного сияния Околь родила дочь.

— Вот она! — прохрипела Мать Матерей. Она оглядела темноволосую, темноглазую девочку, подкинула к потолку и повторила: — Это она, Апрасинья! Внучка моя!

В ту ночь, под утро, на крышу Картиных сел громадный иссиня-черный глухарь с переломанным крылом. Мирон пугнул его криком, но глухарь что-то невнятно пробормотал, скребанул когтями по обледенелой крыше и уселся поудобнее. Тонкой жердинкой ударил Мирон по длинной глухариной шее, и глухарь упал, наклонив в удивлении красные брови.

— Все! — тихо сказала Апрасинья.— Это — Смерть моя! Но я спокойна, Околь родила Апрасинью.

На следующий день Апрасинья надела лучшие одежды и, опираясь на рогатую палку, медленно, словно унося на плечах прожитые годы, побрела на кладбище, где в маленьких домиках покоились родственники, родители Мирона, ее умершие, непрозревшие дети, она простилась с ними, спокойно поговорила с каждым, не хуля жизнь и не проклиная смерть. На второй день Апрасинья прошла всю Евру. Здоровалась, ненадолго присаживалась, угощала детей мелкими кусочками сахара или твердой, как корень, сушкой. Ее голос не дрожал, она просила прощения за нечаянную обиду, кланялась и заходила в следующую юрту.

На третий день Апрасинья умерла.

Мирон по ночам просыпался, звал Апрасинью, выходил на улицу, искал ее в амбарах и, не услышав ответа, тихо плакал. Его заводили в юрту, усаживали у горящего чувала и ласково уговаривали. Мирон не терял памяти, разум от него не отступился, но уже выедала его изнутри ненасытная тоска.

Набухли почки, убралась в золотые сережки верба, заголубели дали, и прогремел первый гром, и Мирона коснулся зов того мира. Он был далек, но отчетливо внятен и высветлил, как вспышка молнии, крохотную полянку. Лес-бурелом, искалеченный лес-ветролом, утонувший в серых мхах и лишайниках, распахнулся вдруг, высветлился теплом ягодной поляны. Мирон видел ее один раз, в далеком детстве. На поляну ту Мирона от молодой матери увел скользкий, как камешек, упругий лягушонок. Долго затаив дыхание ловил его Мирон в высоких лиловых травах, среди медвежьих дудок, падал грудью на теплую землю, на мох, а лупоглазый, лапчатый лягушонок, вздрагивая ярко-зеленой спинкой, выскальзывал меж пальцев, оставляя на ладони легкий холодок и разжигая в бьющемся сердечке азарт охоты и погони. Мать металась по лесу, и сучки срывали с нее платок. «Мирон... Мирон... сын...» — звала его мать, а он не мог ответить. На животе не дыша он подполз к лягушонку, не сводя с него взгляда. А тот, качнувшись, прыгнул в его глаза. Жалобно закричал Мирон, грудью прижался к похолодевшей вдруг земле, а лягушонок спокойно устроился на теплой макушке мальчика. Звонко, на весь лес, смеялась молодая мать.

«Наверное, поняла, что я приручал лягушонка,— подумал Мирон.— Но почему эта поляна? Почему эта?»

— Смотри, какое чудо,— звонко смеялась тогда молодая мать, и зацветал яркий румянец на белом лице, словно она ягодка-брусничка.— Твой это друг, Мирон? — она осторожно взяла в ладони лягушонка, и тот замер, выпучив прозрачные глаза.— Ты нашел себе друга?

— Да,— проглотил слюну маленький Мирон.

— Все, кто живет, бегает, летает, ползает, все, кто прыгает и плавает, все должны стать твоими друзьями,— говорила ему молодая мать.— И тогда ты поймешь, сынок, что жизнь огромная, во много больше твоей жизни.

И вот теперь с той маленькой полянки мать звала его, и он ощутил в своей ладони холодок и дрожание лягушонка. Да, он готов. Жизнь и все дела завершены, и ему оставалось совсем немного — передать капище новому хранителю.

— Тимофей! Тимоха! — позвал сына Мирон.— Только тебе покажу тайники веры.

И Тимпей Картин, прощаясь с отцом, встретился с богами своей земли.

Распустилась черемуха, с севера налетел снежный вихрь, и в бездонье неба сверкнула молния, распорола березняк, и Мирон Картин, тихо вздохнув, ушел в иной мир, к верхним людям.

ТИМОФЕЙ — СТАРЕЙШИНА ЕВРЫ

1

Старики не помнят такого обезумевшего летнего солнца, оно опалило травы и цветы, и оттого не созрел плод, и не было завязи у ягоды, и уходил из урочищ зверь, высыхало дерево и озера становились болотом.

Старики не помнят такой распутной зимы, такой мокрой и скверной, как логово росомахи. Снег присыпал землю в середине октября. Гибким прозрачным льдом подернулись лесные озера. Морозы ударили по золотым березнякам, резанули до красноты осинники и оголили лиственницы. В октябре охапками падал снег, расстилался по берегам рек и завалил с головой перховник — мелколесье, и кусты можжевельника, и пихтовый стланик. Густые пихтовые лапы окутала кухта... А в середине ноября нахлынула оттепель, да такая, что воробьи купались в лужах и открылся ледоход на Конде. И рухнула ледяная дорога, по которой не успел еще пройти ни один обоз. Потекли ручьи, водой напитались снега, и те огрузнели. На озерах стыло отблескивала льдистая вода, морщилась и дрожала под ветром. Как, куда, в какой урман пойдешь по такому снегу? Как вытащишь рыбу из проруби, когда и проруби нет и к реке не подойдешь, хоть ползком ползи? На лодке, что ли, по воде, поверх льда? Гнилая, стылая зима, сопливая и дохлая, и рыбу вынула из снов, и зверя она гоняет по урочищам. Совсем худо...

Мужчины обреченно смотрели в урман, где таился

соболь, и уныло вздыхали. Но страшна не оттепель, страшно то, что нет купца. И Пагулев перестал присылать обозы в Евру. А Кирэн жаден, да и не хватит у него на всех товара. Когда ударит мороз? Когда укрепится путь? Если не придет купец — как жить? Совсем с голоду подохнешь. Муку, чай, сахар, соль, охотничий припас купец завозит зимой, и завозит столько, чтобы хватало на лето и на осень, до нового снега, до нового санного пути. А лета нынче не было вовсе — не лето, а костер, и спалил он и овсы, и ячмень, и рожь спалил. И у Мыколки, и у скудельника Фили, у русских, что колдовали с землей, скудненький народился ячмень и совсем дохлая калега.

Конец ноября, волчья темь, а гляди-ко — кругом вода! Мука на исходе, на болтушку едва хватает — только суп замутить. Чай кончился — листом, ягодой заваривают. Оно, конечно, греет, да силы не дает.

— О, худо-худо! — вздыхают мужчины, посапывают в трубки и вглядываются в низкое, по-осеннему мокрое небо.— Худо... Совсем скоро табак кончится...

— Табак — ладно! Ребятишки хлеба просят. От рыбы крутит их...

В скользкой студеной оттепели, по гололедице, в парящие разводья речушки скатился ноябрь. С середины декабря еще ниже припало небо к земле и повалил снег, валил не переставая с рассвета до заката до самого января. Без ветра, в тишине, в легоньком морозце снег падал хлопьями, крупными, как беличьи лапки. Пушистый, легкий, воздушный, прозрачный снег казался живым. По пояс в снег погрузились кедры, по грудь, словно купаясь, вошли березы, принизились и просветлели урманы, совсем низкими стали берега Евры. А снег все сыпал с низкого неба, осыпался, как легкая пыльца из цветущей вербной сережки, но не приседал, не твердел, не слеживался. На реке дымились полыньи и поднимались торосы, холодные, бесформенные, однообразно льдистые и насквозь мерзлые. К селению стянулись сороки, серые вороны и черные вороны, клесты, снегири и сойки, темными орущими ватагами слетались ронжи-кедровки, только мошник-глухарь и косач уходили в боры. Уже не тяжелая льдистая вода, а мягкий, саженной толщины снег не пускал купца. И охотники не могли ходить в урман белковать-соболевать, тонули в снегах, как в жидком болоте.

По вечерам охотники собирались на огонек то у одного, то у другого, но в юрте дымно, чад от лучины и жирника, от скрученной бересты духота. На берегу под теплым кедром раскидывали невысокий, но жаркий костер и вели неторопливые разговоры о неприступном урмане, о неспящем звере, о дичи боровой, о русских купцах, о «друге» Пагулеве.

— Плохо... шибко плохо.— Тимофей выкатил из костра уголек, положил в трубку — затрещал в трубке мох с табачными крошками. Молод еще, крепок, высок Тимофей, плечи широки, самый сильный, самый фартовый он евринский охотник. Смуглое лицо непроницаемо, только слегка вздрагивают ноздри.— Шкура на мне лопается. Наверное, руки отнимутся — никак в урман не попаду.— На широком поясе Тимофея длинный тонкий нож, а рядом с ним покачиваются два десятка медвежьих клыков.— Тонут мои собаки в снегу. Не могут следить зверя.

— Не могут,— согласился Кентин Яшка.— Тонут собаки. Белка нынче пасется на самых высоких деревьях, птица шишку на сосне отбирает у белки.

— Вчера,— потянул трубку Тимофей и передал по кругу,— убил стрелой белку. Полетела она вниз, да потерялась. Думаю, дай-ка стукну по стволу, наверное, упадет вниз. Два раза ударил, да ухнула на меня кухта. Ай-е! С головой и покрыла. Собаку еле откопал. А белку так и не нашел.

Яшка Кентин молча выбил пепел из трубки, чубуком почесал спину и проворчал в редкие усы:

— Не помню такой зимы. Гнилая совсем — то оттепель, то снег, снег, как дождь... Ходил три дня тому в Мань-Павыл. Иду, иду... тону по пояс. Пришел в юрту мокрый, как крыса водяная.

Тимофей Картин посмотрел в печальные глаза евринцев и протянул успокаивающе:

— Ничего, мужики, может, чарым добрым будет. По чарыму лося возьмем. Будем ждать чарым — режет он ноги лосю, оленю, вовсе режет. Только собакам налапники заранее сделать.

— Будем ждать чарым. Вот тогда и пособолюем! По переновке хорошо следить зверька.

— Нет,— возразил Тимофей.— Нынче не сытый соболь. Голодный он, бегает туда-сюда за пищей... Как бы вовсе не откочевал в дальние урманы.

Морозы так и не вернулись, чарым не установился, зимник не наладился, и купцы не заглянули в Евру. Запасы истощались день ото дня, голод, словно волчья стая, окружал мансийскую деревушку, утонувшую по крыши в снегу.

Собрался селянский сход. Покричали, пошумели, порешили раньше времени обловить Маленькую речку — Мань-Я. Жалко старикам, здорово было жалко распечатывать ершовую речку, на самое трудное время хранилась там рыба, как в садке. Назначили, однако, день.

2

С утра, только-только разгорелся день, старики, взрослые мужчины и юноши, переговариваясь негромко, по узким тропкам спустились к реке. Пешнями с закаленными железными наконечниками, тяжелыми ножами и топорами вырубили во льду лунки-проруби. Они шли цепочкой — от зимнего запора вверх по речушке. Мужчины и юноши взяли в руки кумпалки — гладкие длинные шесты с широкими поперечными дощечками на конце. С силой опускали они кумпалки — ботала в лунки, с шумом бултыхали ими в воде. Вода в лунках просыпалась, дышала, начинала вздыхать, охала она, звонко билась и бурлила в ледяной горловине, вырывалась из проруби, словно хотела наброситься на людей, что лишили ее сонного, дремотного покоя. Булькала, тяжело плескалась река, металась загнанной лисицей подо льдом, ожившая и разъяренная. Высокими хвостами, холодными голубыми языками обвивала река шесты кумпалок, шипя, стремительно припадала к рукавицам и шабуринам. Прикоснувшись к одежде, вода тускло отсвечивала, скатывалась тяжелыми волнами и затихала, замерзая ломкой, хрусткой чешуей. Обледенелые рукавицы скользили и срывались с шестов, но рыбаки, не останавливаясь, глубоко, прерывисто дыша, бухали и бухали боталами. Окуни и ерши, встревоженные, испуганные глухими придонными ударами, плотными стайками и косяками устремлялись к запору, где хоронилась, ожидая их, настороженная глубина омута, и, шарахаясь друг от друга, они входили в морду-кямку. Кумпальщики стремительно, в едином ритме перебегали от лунки к лунке, подгоняя рыбу к запору.

Кентин Яшка и старый Сельян с несколькими ста-

рикамп уже несколько раз закрывали доской воротца запора, вытряхивали окуней из морд-кямок на лед. Зеленоспинные колючие ерши, красноперые окуни гибко поднимались на хвосты, раскинув красные и оранжевые плавники, засыпали, выпучив желтые глаза. На последних перед запором лунках возбужденные евринцы, шумливые, уставшие от непрерывного стремительного темпа кумпания, ударили враз, дружно и резко остановились. Богат улов!.. Хороши увесистые, плотные окуни, ерш нагулян — добра уха!

Разделили рыбу по паям, раскинули по кучкам, поделили, и вот друг за другом над избами поднялись, не сгибаясь, синеватые дымки. Сытной ухой потянуло над рекой. И вот уже к Манье — к ершовому садку — спустились подводы, а безлошадные потянули за собой санки и нарточки, груженные рыбой. Ничего, что тяжелы сани,— это дорогая тяжесть пищи, это добрая тяжесть добычи.

Темно-зеленые, желтоглазые, красноперые груды окуней лишь первые дни гляделись огромными. Когда нет хлеба и вовсе нет мяса, на ухе долго не протянешь. Непрерывно кипит и булькает уха в колташихе, прыгают в ухе белые глаза, плещет на уголья и настаивается в юртах запах голода — женщины целыми днями нависали над огнем чувала, готовя еду.

И снова собирались мужики под кедром, тоскливо полыхая глазами, смотрели в темный урман и вздыхали — как жить, чем кормить детей? Опять брать в задаток у Кирэна? Еще не рассчитались со старым долгом, а тот растет и плодится, как мышиное гнездо под старым пнем. Нагуливается долг, как щука в старице, гляди и проглотит целиком. У задатка широкая пасть, задаток-слопец прихлопнет, как глухаря. Всю муку, что завозил Пагулев, а после него другие купцы, уже раздал Кирэн. Сейчас он дает по горсти, отсыпает так, словно от себя отрывает, да только тогда, когда ему соболя, куницу или кидуса принесешь. За двадцать верст ходили в Сатыгу, кланялись князьку: «Дай в долг хлеба, дай в долг чаю и табаку». Захохотал громко и отказал Сатыга. Перед началом зимы кто успел, тот еще выменял хлеб на урак и жир у княжеских людей. У князя, у Сатыги, хлеба много, амбары битком набиты добром, он не меняет хлеб на урак. Зачем ему менять у ясачных манси — только скажет, сколько положено ему ураку и

жиру с каждого пая, только скажет и не повторит — с одного разу принесут.

— Совсем худой, совсем дурной князь,— поругивают евринцы.— Кротом роется в своем добре, как щука он ненасытный.

А князь — что? Сроду он не понимал, да и зачем ему понимать рыбака, охотника. Развесил губы, как налим, глазки жиром заплыли, через живот ног своих не видит, как Виткась — Пожиратель Берегов. И что ведь еще придумал? Собрались весной евринцы запор ставить, так согнал он всех мужчин в Сатыгу, на широкий заливной луг, где травы косили для коров и лошадей. Согнал и говорит, точно камни бросает:

— Такое мое повеление будет: пусть эту землю вскопают ясачные люди! Пусть так взрыхлят ее и камни выкинут, чтобы она как постель из пуха стала. Начну я здесь картошку садить. Картошка такой вкусный! Можно сказать, отменный фрукт! Давай!

И принялись охотники и рыбаки ковырять лопатами тот луг, и на кого они стали похожи, не поймешь — смех один на них смотреть. Евринский рыбак всю жизнь держал в руках весло, кумпалку и топор. А вот взялся за лопату и не знает — чего с ней делать? Или охотник — чего он знает, кроме ружья, ножа да рогатины? Ведь в Евре не каждый огород имел. Фартовый охотник разве позволит себе ковыряться в земле? Нет, не позволит он себе рыть корешки, может хренку накопать, да и только. А князек — его не обойдешь, как медведя в тайге. Так и копали евринцы травянистый луг. Долго-долго копали, а река осталась не запертой, и не добыли рыбы. А за ту непутевую работу Сатыга хлеба отсыпал — как воробьятам.

3

С зажиточными русскими мужиками, что приходили гужом из Гарей и Пелыма, торговать можно было. Крестьяне променивали лишний хлеб, а евринцы — пушнину, урак, орех. А вот с богатым купцом торговать труднее, просто опасно. Купец — это тебе не мужик с возом хлеба, с купцом ухо держи востро. Поняли это евринцы, да поздно. Обобрал всех Пагулев, по копейке за пуд «головки» платил, положил свою цену на рыбу — хоть разорвись. Громко кричал после отъезда Пагулева

Тятенька Филя, уговаривал евринцев не брать в долг у купца — не послушались. И Ондрэ Хотанг говорил: «Купец обманул вас. За бесценок скупил, а захочет — совсем ничего не даст».

— Не лезь в чужие дела! — оборвал Кирэн.— Сам немного стоишь!

Залезли евринцы в неоплатные долги. А Пагулев вскоре перестал посылать обозы с хлебом, занялся другим делом. Ушел на Иртыш, на Обь захватывать осетровые пески и гонять пароходы. Крупный он человек — что ему маленькая Евра, что ему Пелым и Гари! А те купцы, что появлялись после Пагулева, рыбу не всегда брали или давали те же копейки. Да и Кирэн бегал за евринцами, вырывал давние долги.

Сандро Молотков — «брат Пакуля» — тот совсем потерялся. Взял задаток, набрал погорелец товаров и добра под весь будущий промысел — и год от года погружался в долги. Вскоре продал он пай сына, истощался вконец и упал в нищету. Подобрал его Кирэн, и стал Сандро батраком, потерялся как мужик, как хозяин. Служить стал, вот как собака у хозяина служит. Бедный хозяин, хоть он и ест-пьет плохо и одежонка на нем худая, но он собою маленько распоряжаться может. Не всегда, но немножко может. А Сандро упал в тоску, упал в слабость и крепко полюбил огненную воду. Раздобудет где-нибудь белого вина, выпьет, натянет на себя все три грязные драные рубашки и идет по избам хвастать перед соседями:

— Я — Пакулева брат! Я шибко богатый! — и задирает подол рубахи, показывает, а там голь одна.— О! Гляди, сколько рубашек у меня... Мно-ого!

И прозвали его в Евре и в соседних деревушках «Пакуля брат», а заодно с ним всех хвастунов, всех, кто хвалится безбожно... Так и говорили: «Хвастун ты, Пакулев брат».

А зима все тянется поземкой, медленно, как дряхлая, задыхающаяся старуха, тянется голодное время.

Голод страшен тем, что разбрасывает людей, раскидывает их, как ветки из оголенного, куцего веника. Голодный, ослабевший человек, чтобы насытиться втихомолку, напрягая себя и не веря в удачу, в фарт, не веря уже себе, своим близким, втайне истово молясь богам, ждет лишь чуда — нет у него силы на настоящее дело. У голодного совсем другие зубы — острые, беспо-

щадные, злые, и горло — широкое, гладкое, и брюхо ненасытное, как болото. Из сердца уходит доброта, с лица — улыбка, из глаз — свет: голод съедает в людях то, что являет его человеческое. И голод дышит холодом в душу женщины, и в ней нарождается страх, и смятение, и боль — раскрыв зубастые рты, кричат дети, и канючат, и стонут, как гагары, и просят они еды, и съедают ее, как пламя. И не съедает своего куска, не съедает своей доли женщина, отдает свою пищу мужчине-охотнику и детенышу своему, что требует пищи, не понимая жестокости и беспощадности жизни. Страшен голод, собирает он волков в голодную стаю, растаскивает людей, раскидывает их в поисках добычи, а та ускользает, появляется на миг и протаивает, как сон. Женщины с утра до вечера мечутся, сбиваясь с ног, разыскивая пищу. С утра бегут к Манье проверять в замерзающей проруби кямку, вытряхивают на лед мелких, с мизинец, ершишек. Слезы, а не ершишки, одна колючка. И навар-то с ершонка пустой, как снятое молоко. В деревянных корытах тяжелой березовой ступой толкут женщины упругое конопляное семя, перемешивают с рыбьим жиром и кормят детей. Крушат, очищают кедровый орешек, толкут его в ступах и готовят из ядрышек белый, сладкий, как молоко, суп. Вываривают долго, часами вываривают старые кости, дробят их и снова бросают в котел, и там булькает студенистая, густая, как клей, выварка. Но этим можно насытиться на миг, не насытиться, а лишь забыться. Голодными птенцами кричали дети, тяжело вздыхали старики, незаметно смахивая слезы, и озлобленные мужчины распускали руки, и кулаки их были злыми и жестокими.

Ходили мужики к Кирэну, просили хлеба — отказал. И еще раз отказал, на третий раз согласился.

— Помогать надо. Все мы братья,— улыбается Кирэн.— Дам тогда хлеба, если полпая мне в реке отдашь.

И русский мужичок Колян Кузнецов, что как-то тихо пришел в Евру, незаметно жил в хорошие годы, вдруг оказался с полнехоньким амбаром. Долго, видать, прикапливал...

— Берите, мужики, хлебушек! Без хлебушка нельзя. Помереть можно без хлебушка. Отсыплю хлебушка, а ты — полпая мне в реке. Войду половинщиком.

Толкались, метались мужики, но волей-неволей отдавали и полпая, и пай, и полтора пая. Голод арканом

затащил в кабалу. Не избежал того и Мыколка, и Васька-кузнец, незадолго перед тем схоронивший старого Филю...

Наверное, богатый всегда ждет голода, тот для него самое нагульное, нерестовое время.

Взял Кузнецов да убил своего старого мерина. Огромный был мерин, кожа да кости, и башка длинная, как у щуки, и весь-то он был как обглоданный рыбий скелет. Убил не дома, а прямо на взгорке, посреди Евры, и виден всем был, когда шкуру сдирал. Ребятишки схватили берестяные ватланчики, посудинки похватали — и к мерину. Дал Кузнецов крови ребятишкам. «Пейте,— сказал.— Скусная. Хлебайте!»

У ребятишек все мордочки в крови, только глаза высверкивают. Не пили раньше крови, да голод еще не то заставит... Мужчины не выдержали, потянулись к взгорку.

— Зачем тебе столько мяса, Колян? — спросили мужики.— У тебя же семья малая.

— Семья у меня малая,— согласился Колян.

— Обменяй! — предложили мужики.— Мяса больно охота.

— Можно. Давай шкурку — получишь мясо.

— Да кака така шкурка? В урманы нынче не ходили.

— Ну в половинщики бери,— спокойно отвечает Колян.— Дам мяса, а ты меня в пай свой возьми на реке.

Поели мужики мяса, погрызли старые кости, взяли в половинщики Коляна.

А солнышко стало подниматься повыше, удлиняя день. И Тимофей Картин все-таки проторил тропу в урман, приносил белок, соболей добыл. Беличьи тушки женщинам отдавал, те суп из белок варили. Не жирный из белки бульон, кедровым орешком отдает, но зато всю тушку можно съесть и косточки обглодать. В глубоком снегу, у густого ельника, поднял Тимофей с лежки бородатого, могучего сохатого. Тот, раскинув рога, бросился в ельник, но собаки не пустили, прыгали и хватали за морду. Потихоньку стал Тимофей отжимать сохатого на опушку, в глубокий, рыхлый снег — решил он изловить зверя. Своих собак так поставил, чтобы те гнали лося к Евре. Взмок сохатый, пеной покрылся, но собаки, хватая на ходу снег, не давали ему покоя, не давали дыхание перевести. Спереди, словно не замечая рогов, в морду бросались собаки, и рвали бока, и хва-

тали за брюхо, а серый кобель, серый, как волк, бросился на спину и полоснул зубами загривок. Заметался лось, заревел от ярости и боли, а Тимофей покрикивал, натравливал собак, и те выгнали лося на лед Евры. Здесь и прикончил зверя Тимофей, ударил острогой в самое сердце.

— Эий-ий-ей! — громко позвал евринцев Тимофей.— Эгей, люди! Иди-те сюда, берите свежее мясо!

Напрасно так громко кричал Тимофей, его уже давно увидели евринцы, увидели и бежали к нему с ножами, с топорами, с берестяными пайпами. Мигом раздели люди сохатого, не уронили ни одной капли крови, всю собрали в посудинки.

— Дели! — Тимофей протянул нож старому Кентину.

Кентин отделил голову и вынул лосиное сердце — тебе.

Отменный охотник Тимофей! Прямо к горящему чувалу, в кипящую колташиху, пригнал добычу! Ничего не пропало, даже кишки в проруби промыли, тушеные кишки — здорово вкусно! Радовались люди, разрывая зубами сочную сохатину,— это тебе не дохлый мерин. Это тебе, Колян, со-ха-ти-на-а! А скольких людей обобрал Колян за костлявого мерина. Гляди-ка, в ловких руках и мерин может с золотой гривой жеребеночка принести.

По тропам, пробитым Тимофеем, уходили в урман охотники. Голод потихоньку отодвигался от многоротых юрт. Силками, петлями, слопцами, тупыми стрелами и западнями добывали охотники боровую дичь, тащили в Евру связки куропаток, рябчиков, косачей и глухарей. А зайца, длинноухого косого, развелось в урмане гибель — не ели ведь его, брали раньше только на приманку соболю али кунице, а теперь и заяц — мясо!

Не однажды еще в ту зиму валил лосей Тимофей с подраставшим своим сыном Сандро, и тогда Евра наполнялась смехом, песнями и огнями костров.

4

Тимофей взматерел, огрузнел, но ходил легко, быстро, чуточку вразвалку. Он вызнал повадки всех зверей и птиц, по реву узнавал, сколько лет лосю, по следу определял, нагулян ли сохатый, добрую ли шкуру несет

зверек. Но год от года становился Тимофей евринцам все более странным и непонятным. Резким каким-то он становился. Молчит, молчит, сопит — и вдруг крикнет и замахнется кулаком, а то и толкнет в грудь ни в чем не повинного человека.

— Кто-то глаз на него дурной положил,— перекидывались на берегу евринские женщины.— Попортили Тимоху... Леший — Вор-Хум у него ум мутит. Наверное, насовсем хочет отнять. Опять драку зачинял, как огонь полыхал. Ай-е!

— Верно-верно,— подхватывает длинноязыкая соседская старуха.— Сама глазом видела, как он сыновей своих разглядывает... Отойдет, сядет и глядит, как филин на бельчат.

— Зачем глядит?.. Почему он глядит? — тормошатся женщины, сгорая от любопытства.— Чего там глядеть, чего? Носы крупные, книзу загнутые. Сорнин Кётып, пыскась род — одно слово, род золоторуких, шипящих носом. Сыны все на него похожи, как глухарята на глухаря.

— А то,— понижает голос соседка,— обошел вокруг Ондрэ, он светлый, Ондрэ, и говорит: «Игде я был, когда тебя зачали? Однако, Околь, меня дома не было, когда мальчишку зачали. Ходил я тогда лесовать на Черную речку».

— О! Милый Шайтан... Тимоха тогда ходил лесовать на Черную речку... Слышите: «Игде был, как тебя зачали?»

— Смотрит на Микуля,— продолжает соседка,— смотрит и говорит: «Уши, однако, не мои. Голова у него репой, как у Кентина. Нос больно тонкий, и рот не тот». Вот что он говорит.

— Ай-е! Ай-е — что же это? Щох-щох! Ой, обожгло меня! Голова репой, как у Кентина... Аю-аю... рот не тот. А что Околь?

— Околь хохочет ему в лицо,— быстро оглядывается соседка.— «Юван, говорит, на медведя похож. Наверное, тот приходил, пока ты сеть вынимал».— «А пошто тебя Кентин из-за реки на лодке перевозил, когда за ягодой ходила? Каку таку ягоду брала? Или между кочек своей ягодкой завлекала?»

— О Милый Шайтан! Ягодкой своей завлекала...

Любопытно бабам: поглядывают, посмеиваются, ждут,— что будет дальше.

— Словно порченый ты, Тимофей,— устало укоряет Околь.— Двенадцать детей растут, а ты? Да за што ты меня так, Тимофей?..

— За то... Столько детей принесла, а тебя совсем не убавилось,— хмуро, с какой-то потаенной болью отвечает Тимофей.— Вовсе мне не понятно, как родишь — сама словно сызнова нарождаешься. Да еще песни поешь... Просто цветом покрываешься, будто прежние годы к тебе возвращаются. От зимы к зиме я тускнею, а ты цветешь... как снова в девках ходишь. Значит, кто-то в тебе ту девку наружу вызывает... Как поймаю — враз того порешу! Ты, наверное, меня грамоте для того учишь, чтоб я с ума упал.

К Тимофею прислушивались мужики на сельских сходах. Судил, рядил он всегда толково, никогда не баловался словом. Оно у него было и надежно, и тяжело, последним его слово оставалось, когда делили охотничьи угодья, когда выделялись паи на таежных озерах и мелких речушках — он знал каждое болотце, ручеек, озерцо вокруг Евры, обегал все, углядел и намертво запомнил. Ну а если охотник нечаянно заходил в чужое родовое угодье, то Тимофей со стариками дотошно разбирался, но не требовал скорого, жестокого суда, принародного наказания плетьми и мордобития — требовал общего осуждения. А это была крутая кара.

Испокон веков и пелымские, и кондинские, и сосьвинские манси, да и ханты-остяки и другие инородцы, обложены ясаком — «ясашные людишки». По-разному определялся ясак — тяжелая подать! Отдавал охотник в ясак дорогую пушнину, редкую рыбу, и не было конца и краю тому ясаку. Собирали тот ясак старшины из местных или нарочные люди, а то и русские волостные — гурьбой прибывали со стражниками, и у тех, кто не выплатил ясак, отнимали скотину, охотничью снасть и все дорогое. Могли и самого хозяина взять и отдать богатею в работу — с ясаком не шути, крутись, вертись, а ясак отдавай! Ясак — закон! А законов было больше, чем людей в Евре, наверное, больше, чем всех ребятишек на всей Конде, и все эти законы были не за манси. Все законы грозили, обнажали голодные зубы и клыки, поднимали пудовые кулаки, обещали раздробить, растоптать, сожрать, все они скручивали, связывали, отнимали надежду на правду.

И селянский сбор — из своих же евринцев — тоже

закон, и не менее суровый, чем закон царя и исправника. Каждый охотник или рыбак, обиженный соседом или братом, сыном или отцом, мог подать прошение — рассудите! Мелких жалоб не было, и сход их не принимал — решалось главное, важное для общины, рода или семьи. Появлялся ли новый указ — читали громко, вслух и толковали его, обсуждали. Просился ли кто на поселение — опять селянский сход собирался, брать или не брать, а может, погодить, а ежели брать, то тогда ему место выделить, чтобы лес рядом не испортил да и вода б была неподалеку, да от какого угодья ему малость отделить, где выделить ему лес на порубку.

Правили на сходе и тех непутевых баб, что шлялись целыми днями из юрты в юрту, разносили всяческие слухи да сплетни. Такие бабы хуже короедов, спрячутся в доброе лицо, а сами точат до сердцевины — вот таких сход наказывал, повелевал мужьям поколотить их покрепче, чтобы из тех перья маленько посыпались. Поганый язык как налим — и мертвого не пощадит, ведь его в кузнице кувалдой не перекуешь.

Сход созывал староста, и хранителем обрядов от мужчин выбирался самый мудрый, и долго им оставался Максим Картин, отец Мирона и дед Тимофея. Затем его место занял Мирон, а теперь вот Тимофей, хоть и не был еще старым. Гордилась Околь мужем. Он держался с достоинством — красивое лицо его, излом бровей, складки у рта дышали властностью, скрытой силой и умом. Многое он перенял у Апрасиньи, недаром она его пестовала, как медведица. Ведь не Мирон в вечных отлучках своих, то Апрасинья потихоньку передавала Тимофею тайны познания людей, их поступков и скрытых движений души, да что там говорить — глупая женщина никогда не поднимет над землей умного сына, как зайчиха не родит рысенка.

Как гордилась Околь, когда Тимофея несколько лет избирали волостным в Пелым. А избирали евринцы только самых честных и сильных. Собирал Тимофей ясак без крика, без слез и побоев. Задумал он селянский котел — что-то вроде общей копилки: каждый из охотников вносил в него пушнину — одну, две, а то и пять шкурок, глядя по угодью, по сезону. Русские, что поселились в Евре, вносили в котел ячмень и рожь, кузнечную и гончарную поделку.

— Он нас здорово выручит в трудные годы! — убеж-

дал евринцев Тимофей.— Не каждый год в урманах спеет белка, уходит в другие земли за орехами, уходит за ней соболь и другой зверь.

Котел наполнялся, и Тимофей берег его пуще своего добра. Когда погиб на промысле охотник из рода Молотковых, помог тот котел семье целиком рассчитаться с ясаком. Вдовам тоже перепадало из котла, не голодали шибко.

Тимофей, собрав ясак, отправлялся с ним в волость, оставался там иной раз надолго. В волости его обсчитывали, писали какие-то непонятные бумаги, а по бумагам тем, которые не могла толком прочесть и Околь, получалось, что нужно еще добавить ясаку. Околь учила мужа и детей грамоте, но Тимофей потел, наливался бессильной яростью и не всегда понимал. Вот считать его Околь научила быстро. И в волости его за то уважали, хотя все равно обманывали.

Хуже всего было то, что из-за этих ясачных дел упускал Тимофей золотые охотничьи деньки. Все чаще задерживали его в волости. Мелкие чины выманивали у него взятки, грозили и спаивали. И вот, приходя оттуда, истосковавшийся по семье, он учинял сыск и устраивал погромы. Опять он вглядывался в младших сыновей и находил не свои уши, не свои брови, а голову еловой шишечкой, как у Алычева Мишки.

— Все одно я выслежу его! — грозится Тимофей, и Околь сникает. Устала она от его ревности. И так хочется увидеть его прежним — веселым, дерзко-отчаянным и слабеющим от ласк.

БОГИ МОЛЧАТ, СЛЕПЫЕ...

1

Не торопясь текло время, проплывало, как тени за солнцем. Подрастали березы на горельниках, зарастали озера среди болот, река круче изгибалась в кольца и меняла берега. Медленно менялась дремотная жизнь. Люди добывали зверя, ловили рыбу, выращивали скот, жили маленькими и большими радостями, пировали на свадьбах, раскидывали погребальные костры, приносили жертву Злым и Добрым Духам. Женщины в великой надежде рожали детей, пестовали их и в великом горе расставались с ними во время болезней и мора. Мужчины

приносили в дом пищу, хранили мудрость и заветы предков. У Околь и Тимофея поднималось двенадцать детей, а пятерых уже похоронили в горючем горе, отдали в другое царство, о котором лишь рассказывают красивые сказки, но куда никогда не торопятся живые. Там души живут так же, как и люди на земле, но все-таки лучше, когда тело и душа живут вместе.

Наверное, Царство Мертвых неподвижно, там отдыхают души от тяжести земной. Так почему же жизнь отяжелела, огрузнела, отчего стала так давить на шею и сгибать плечи? Отчего стало труднее дышать — вокруг то же небо, та же тайга и река? Те же ветры над озерами и туманами, те же берега держат реку, над которой с криком проносятся чайки. На памяти Тимофея, на памяти всех живущих в Евре все, что окружало их, казалось устойчивым, плотным, и люди рождались, чтобы повторить все и повториться. Закон — повторить все и во всем повторяться? Но почему что-то мешает жить так, как жили деды? Что мешает — ну-ка оглянись! Оглянись вокруг, Тимофей Картин! Вглядись — у тебя же зоркие глаза, у тебя умное, сильное сердце. Почему и ты, хранитель капища, почему уже и ты не веришь слепо в своих богов? Почему? Научился грамоте, и что-то приоткрылось тебе? Или Околь прикоснулась к тебе слабым своим Христом, дивными сказками о спасении души, о справедливости, которой не может быть на земле? Оглянись вокруг, Околь! В чем повторяются твои дети? Ведь они уже не могут жить, как Мирон, как Тимофей, они уже не остерегаются языческих законов. Рушится кровля капищ и рушится потихоньку то, что было родом, что было племенем. И что же рушит древние, исконные отношения людей, что?

— Да, я женщина! Я храню твой очаг,— сказала однажды Околь Тимофею.— Ради тебя и твоих детей я стала поклоняться твоим богам. Но поздно — наступает безверие. Люди еще по привычке молятся и приносят жертвы, но в душах их поселились другие законы. В душах их — боги денег.

...К Околь часто заглядывала девушка Саннэ из деревушки Сам-Павыл, что в пяти верстах от Евры. Саннэ, из рода Лозьвиных, у своей бабки научилась шить красивые сапожки, женские шапки из гагары и шубки из белки. Как это ей удавалось, никто не знал, но перо на груди гагары изумрудно отливало и фиолетово от-

свечивало голубичным соком. Шапки из гагары ценились дорого — птицу эту трудно добыть. Она не подпускает на выстрел из лука, а как только щелкнет курок ружья — мгновенно ныряет. Оттого шапки из гагары носили самые щеголихи, красивые женщины, которых еще не устали любить и холить мужья.

— Тетушка Околь! — порывисто обнимает ее Саннэ.— Милая тетушка Околь! Прибежала к тебе за добрым советом. Гляди! — из берестяной пайвы она вынимает легкую шапку, собранную из перьев селезней, украшенную крыльями куличков и трясогузок.

— О, красиво! — восклицает Околь.— Как весеннее озерцо...

— А вот из выдры, гляди! — радуется Саннэ.— А из бурундучков не получилось, скажи?

— Почему же? — разглядывает ее работу Околь.— Только ты эту шкурку поставь здесь, а хвостиками укрась края. А если впереди опушить куницей? Смотри! Али соболем?

— У меня не осталось ни одной собольей шкурки, даже лапки не осталось...

— Найдем! — раскрыла Околь берестяные коробочки, туески, замшевые сумки и достала разноцветные лоскутки сукна, мелкие мотки шерсти и обрезки мехов.— Вот гляди, Саннэ, тут все можно подобрать... Нужно песню играть, Саннэ, нужно зазывать узор, чтобы он не испугался, а прилег как надо. Так учила меня Журавлиный Крик.

И светлым, глубоким, просторным голосом Околь запела:

Пусть чуткие, гибкие пальцы
Вышьют искристый и светлый узор...

Тихо, как заклинание, начинает Околь. Она словно уговаривала руки свои слушаться зрячее сердце, нитку слушаться иголку, а память — прошлое. На песню из юрты вышел Тимофей с дочерью, закурил трубку, задумчиво снял со стены семиструнный «лебедь» — санквалтап.

Чтобы песни, сказки старинные
Достойное место в узоре нашли...

Звонкий, как оживший ручеек, голос Саннэ вплетается в узор, погружается в рокот семиструнного «лебедя».

И глазки зверей оживить
Звонкой россыпью ярких серебряных бус!

Далеко и высоко поднимаются четыре голоса — Околь, дочки ее, девушки Саннэ и священного семиструнного «лебедя».

Но не ради узоров прибегала Саннэ Лозьвина из Сам-Павыла в Евру. Словно нечаянно встречала она Сандро, сына Тимофея и Околь, а тот ждал ее, сгорая от нетерпения. У околицы в теплом сосняке встречал ее Сандро, и каждый раз они долго бродили по запутанным лесным тропам. О чем говорили, о чем молчали они, знают только тропы, дремучий ельник да пронизанный солнцем березняк, бородатый ворон на высокой лиственнице.

В непуганой густоте трав притаилась таинственная жизнь, она была велика и многолика, неистребимо звонка, в наплывающем запахе цветов раздавался тихий шелест, тихое струение. Травы звучали неведомой музыкой. Но Сандро и Саннэ слушали не ее и не ветер, что раздувал зеленую накипь берез и, озолоченный, голубовато-зелеными волнами переливался в сосняки,— они слушали то, что вошло в них, слушали свое томление, свою необъятность. Касаясь друг друга, они слушали и явственно ощущали горячий, гулкий ток крови и боялись, что все это рухнет, расколется, обрушится с грохотом в темную пропасть. Они казались друг другу бессмертными и поднимались над землей, над лесом, над рекой и озерами.

— Саннэ! — кричал Сандро.

— Сандро! — отвечала Саннэ.

— Сан-н-э-э! — ударялось в сосны.

— Санд-ро-о-о! — шептала Саннэ.— Сандро... ты... ты... Неужто все это нам, Сандро?

— Саннэ... нэ! Кто ты, Саннэ? — спрашивает юноша.

— Я — это ты... и больше ты, чем я,— отвечает девушка.

Березы выпрыгнули из реки, наступали на взгорок, как будто легкий туман. Потом туман сгустился до молочного, жемчужного мерцания и распахнулся уже березняком, облитым солнечным светом. Он не колыхался, и склоненные ветви вслушивались в неторопливый переговор корней, над которыми, раскинув руки, покоилась юность.

— А я — ты! — заторопился Сандро.— Ты — Небо, я — Земля.

Река плещет у ног, и в ее сердцевине они ощущают упругую, неодолимую силу. Темно-зеленая вода слегка покачивается у теплого солнечного песка, а глубже она остается холодной, таит на быстрине несогретое свое тело, а у песков она нежится, лениво и плотно плещет волной, словно пошлепывает ладошками. Нежится река, переливается в слепящих бликах, вытягивает на быстрину гибкое, упругое тело свое.

— Ты — река! — поднимает на руки Сандро золотоволосую Саннэ.— Ты похожа на мою мать, Саннэ. У тебя золотые волосы? — удивляется Сандро.

— Это от солнца,— вздыхает Саннэ.— И от радости...

— Ты станешь моей женой? — притронулся Сандро к тугой груди девушки.— Я стану беречь тебя, Саннэ!

Саннэ тряхнула золотыми волосами и, затаив дыхание, спрятала счастливое лицо на груди Сандро...

— Тимофей, ты не хотел бы взять в дом Саннэ? — спросила мужа Околь.— Такая красивая, нежная и сильная девушка. Она ведь... Она ведь не ко мне ходит, Тимофей.

— А к кому же? — Тимофей выстругивал топором лопастное весло.— К Сандро, что ли? — удивился он.— Да неужто?!

— Его она... Для него она,— заторопилась Околь.— Друг для друга они рождены. Ты слышишь меня, муж мой?

— Рано ему еще,— нахмурился Тимофей.— Пусть еще зиму поохотится. Да пару коней надо прикупить. Я же, Околь, опять волостным выбран. Опять в волость надолго уйду. А кто рыбу добудет? Нет, давай погодим еще зиму...

— Годить уже поздно,— возразила Околь.— Девушка созрела. Родители могут другому отдать. Тимофей, через зиму будет поздно,— она так просила мужа, в ее голосе было столько мольбы, что Тимофей не выдержал:

— Ладно,— решил он.— Сдам в волости ясак, вернусь и схожу к родителям Саннэ.

— Торопись, муж мой! Чует недоброе мое сердце!

Не успела Околь, не успел Тимофей. Леська-Щысь — Леська-Волк опередил их.

2

К северу от Евры, на всхолмленной равнине, среди болот и озер, за Шаимским туманом, раскинулась Тур-Павыл — Озерная деревня. На солнечном взгорке, на крутом берегу озера поднимались жилища вата хума — богатого торговца Леськи. Высокая, просторная юрта-изба из нескольких комнат и три избы-пристроя поменьше, три крепких амбара из литых лиственниц и сарай в глубине крытого двора — все это, окруженное высоким забором, принадлежало Леське и его дряхлой матери, которая позабыла, сколько лет она обитает на земле. Тесовые ворота медленно, скрипуче раскрывались, чтобы впустить груженые возы и всадников на взмыленных конях.

Что делается там, в избах и амбарах, сельчане знали мало, потому что Леська-Волк подбирал или глухонемых работников, или таких, что крепко держали язык за зубами. Но жизнь свою не спрячешь, и за долгие годы люди узнали, что Леська — человек с черным сердцем.

Не было в округе человека богаче, чем Леська,— владел он многими паями на озерах и Конде, скупал и забирал за долги рыбные и охотничьи угодья, скот, коней и пушнину. А с тех пор, как ушел Пагулев на Иртыш, свернул в этих местах свою торговлю, Леська и вовсе хозяином себя почувствовал. С двумя-тремя работниками верхом на лошадях врывался он в какую-нибудь деревушку или поднимался к ней по реке на лодке, находил должника, улыбаясь подходил и, ничего не сказав, лупил тяжелой плеткой из бычьей кожи.

В прежние времена такого, наверно, не стерпели бы — ведь не был Леська ни князьком, ни старейшиной. А теперь терпели... Теперь и сам князек Сатыга — сын того, что заставлял когда-то евринцев ковырять лопатами луг,— водил с Леськой дружбу. А может, с Леськиными деньгами?..

Боялись люди Леську — за его спиной стояли скорые на расправу подручные. Леська брал в работники и беглых каторжных, а тем и своя-то жизнь не больно дорога, чего там про чужую говорить. Боялись еще и потому, что не походил Леська обликом на других людей.

Роста он был короткого, но широкоплечий, крепкий такой, сильный. На толстой шее громадная, словно ка-

мень, голова. Туловище, как обрубок, на коротких кривых ногах. Словно прогнулись ноги под тяжестью широкого, выпяченного зада, а из плечей высовывались короткопалые толстые руки. Они на плечах бугрились нечеловеческой силой. На плоском, круглом, как лепешка, лице светились узкие, словно лезвие ножа, пронзительно-жесткие глаза. Часто их не было видно, словно то были трещины на сосновой коре,— прикрывал он их, чтобы не вспугнуть нужного человека, а взгляд все равно ощущался, как холодное и острое прикосновение. И еще пугало: из широкого рта Леськи, не давая ему полностью закрыться, торчал длинный лишний зуб, что нарастал над верхним резцом.

Вот за этот лишний зуб Леську и прозвали Щысь — Волк. И хотя его челюсти были пусты и дуплисты, хотя он потерял уже дюжину зубов — лишний тот зуб, пожелтевший от табака и старости, разваливал губы и грозил изо рта.

Страшно было смотреть в плоское, длинноротое, клыкастое лицо Леськи.

Леська знал, что он страшен. Знал, что пугает людей, наводит страх, и, видя то, еще более стервенел и упивался своим могуществом.

— Я такой,— шепчет он по ночам.— Меня родили таким.

Отец Леськи, крепкий хозяин, скупщик пушнины и владелец небольшой лавчонки, крупный ростом и голосом, не мог без отвращения смотреть на сына-урода. Он казался отцу порождением злой, нечистой силы, и он боялся сына, его несгибаемого волчьего взгляда. Отец выгнал из дома мать Леськи, поселил их с сыном в небольшой избушке, рядом с конюшней, и выносил им остатки еды — обглоданные кости, рыбьи головы. Он ждал их смерти во время оспы — Леська выжил. Он ждал, что тот ослепнет от трахомы — Леська выжил. Леська болел всем, что носил в себе черный ветер, что несла в себе заморная река, но наперекор всему был жив. И мать возненавидела Леську: красивой она была и любила отца, но вот пришлось жить собакой.

На двадцатую зиму отец Леськи приболел и прилег в ознобе на медвежью шкуру возле чувала. Леська прокрался в дом, тихо подошел к спящему отцу, бросил на его лицо подушку и навалился коротким, тяжеленным телом. Отец захрипел, дернулся, посучил ногами и затих.

Утром Тур-Павыл был возбужден неожиданной смертью, но никто ничего не заподозрил.

Леська с матерью перебрался в дом, сосчитал все, что осталось от отца, нанял работника для ухода за скотиной и вскоре исчез. Вернулся он через две зимы с обозом товаров и царской бумагой с распластанным двуглавым орлом на разрешение торговли. Где и как он достал товары, где раздобыл коней и бумагу — долго оставалось тайной, пока не донеслись смутные слухи из далеких стойбищ о диком разорении древних священных капищ.

— Нет, то не русские,— ужасались люди.— Потаенные те места, никто не знал к ним ходу. Кто-то из манси грабил...

3

Леська с работниками мотался по округе, скупая пушнину, давая товары в долг. Должников раздевал догола и хохотал. И страшен, ужасен он был в хохоте. Свиреп с женами, ненасытный и бесстыдный до собачества. Он увозил девушек из далеких деревень за долги или выменивал у голодных родителей за мешок муки, за табак и чай. Много было жен у Леськи, только не задерживались они долго в этом мире — умирали от болезней или с горя-тоски.

— Больше в здешних местах жениться не стану,— сказал Леська матери.— Здешние девки с пеленок, как вылезут из люльки, только и делают что во все глаза пялятся на мужиков. Разве это дело, что они рано узнают запретное? Нет, поеду я за женою на Обь-реку. Там, говорят, мансийки с детства не открывают лица перед чужими мужчинами. Да будет так!

Вернулся он уже зимой, и все видели, как разгружали работники тугие возы, как вынесли на руках закутанную женщину.

Новая жена из дома не выходила, неслышно сидела за перегородкой. Через некоторое время Лыкерья, работница Леськи, под строгим секретом шепотом на ушко верным своим подругам поведала, что Леську-Волка обманули, продали ему совсем слепую девушку.

— Ничего не видит,— оглядываясь, шептала Лыкерья.— Живет как крот. Ходит она, о стенки опирается.

— С одного края великое небо покарало Леську, так ему и надо! — рассудили сельчане.— Но с другого края жалко женщину — как ей слепой жить в пасти у Волка?

Года не прошло, как Лыкерья сообщила, что слепая огрузнела — скоро родит.

Леська, узнав, что скоро станет отцом, приказал работникам срубить неподалеку от юрты, над озером, маленький домик — мань-кял и поселил туда слепую вместе с Лыкерьей. Прошло время, и слепая женщина родила сына. Но вот беда — мальчонка родился совсем больной, все тело его было покрыто гниющими грибами-наростами. Из болячек жиденько сочилась кровь. Мальчонка день и ночь плакал, худел и таял, как льдинка. Слепая мать осторожно ощупывала сына и спрашивала Лыкерью:

— Скажи, не таи, милая женщина Лыкерья, какие они цветом, эти болячки? Они цвета свежего мяса или цвета угля?

— Черные они, черные,— плача, отвечала Лыкерья.

— Он умрет! — закричала слепая.— Если они черные, он умрет. А что мне делать без него на этом свете?

— О, мой Белый Светлый День! Как ты можешь смотреть ясными своими глазами на несчастную мать и сына! — плачет Лыкерья.— Не могу я уже видеть, как убивается слепая над умирающим сыном. Скажи, что мне делать, как помочь сыну слепой? А ведь она когда-то видела. Она различает цвет мяса и цвет угля. О, Светлый Ясный День!..

Однажды люди услышали, как Лыкерья с криком бежала к Леське:

— Леська! Хо-зя-ин... Их нет... Следы женщины ведут к озеру...

Следы слепой привели к озеру и вошли в него. Наверное, впервые люди увидели на лице Леськи страх и боль, только не поняли, о чем боль его — о женщине или о сыне?

Манси стали обходить проклятое озеро. Запретили отцы детям подходить к нему, запретили женщинам подгонять скот.

— Не подходи! Это Люль-Тур — худое озеро. Это Шаим вить — гнилая вода!

Очень жалели манси свое озеро, веками они пили прозрачную, чистую воду, где купались солнце и луна, где ловили рыбу и мочили коноплю и крапиву для пря-

жи. И запели старухи печальные песни о погибшем озере:

О, светлое озеро наше
С круглыми берегами, как деревянная чаша,
Ты светлый день и жизнь наша,
Синей волной сердце твое билось,
В тебе много рыбы и дичи водилось,
Теперь к тебе мы с поклоном не ходим,
Твоей плохой воды, твоей гнилой воды не просим.

И страшная песня старухи — матери Леськи — прокатилась над озером. Пела старуха, словно умирала, словно пела над покойником. Пронзительный, как игла, голос льдисто вошел в души. Притихли испуганные дети, неподвижно застыли мужчины, поникли женщины.

Най-накха ощ,
Ты теперь как одинокий немощный старик.
Най-накха сянк,
Ты теперь как одинокая немощная старуха...

Женщину и слабую, кричащую от боли жизнь забрало озеро Люль-Тур. И, забрав, стало умирать. Разве оно виновато в своей смерти?

4

Прокатилось время летнего солнца, потянуло осенними туманами, оперилась птица, нагулялся зверь. Евра жила по-прежнему: мужчины ставили в запоре морды, отсаживали рыбу в садки, а женщины готовили урак, вялили рыбу на скудном солнце, засыпали на зиму ягоду. Мотался по волостным делам Тимофей Картин, еще одного сына родила Околь. Уже готовили Картины калым, собирался Сандро после окончания соболиной охоты посвататься и выкупить Саннэ. Радовались за них евринцы. Однако Митяй из Сам-Павыла, отец Саннэ, искоса глядел на молодого Картина.

— Всю добычу с отцом в голодный год раздавали... А сами-то не сильно богаты, хотя много добывают. Что толку от такой семьи, от такого мужика — все, что добудет, раздаст. Нет, не от щедрости это, наверное, от гонору, от похвальбы,— громко, при всем народе осудил Митяй Картиных.

Но люди знали: завидует Митяй, был он много лет знатным охотником, однако Тимофею всегда уступал, а подрос Сандро — тоже стал добывать больше Митяя.

Теперь-то и подавно: сломал Митяй ногу в урмане...

Нет, Сандро Картин вовсе не хвастун, просто он могучий, просто сила в нем играет и бродит, и оттого он щедр, что добр. Но не хочет того видеть Митяй.

— Нет, погодить надо. Сандро — сполох. Кончится его фарт, или потеряет он глаз, и будет Саннэ бедствовать, бегать ко мне за горелой коркой.

На игрищах, на горке посреди Сам-Павыла, увидел Саннэ Юван — работник Леськи. Заворожила его Саннэ, сама не ведая и не зная о том. Как тень крался за Саннэ Юван, и голос ее отдавался в нем музыкой семиструнного «лебедя». Следил, но не подошел, видел, что та милуется с Сандро из Евры. Но осталась в Юване девушка солнечным светом, тайной надеждой и щемящей тоской.

— Ты что, Юван, бродишь как вареный,— спрашивал его Леська.— В землю смотришь али потерял чего?

Юван вздрагивал и потаенно улыбался. А Леська задумался — не хитрит ли чего работник, может, недоброе носит?

На третий день Леська зазвал его к себе, плеснул огненной воды и, хитро улыбаясь, спросил:

— Если клад нашел, но не поднимешь — поделись. Если украсть чего задумал, не таись — давай напополам.

Обиделся Юван.

— Какой клад? Кого украсть? Что ты, что ты, хозяин...

— Почему ходишь не в себе? — резко потребовал Леська.— Отвечай! Я — твой хозяин. Не то выгоню! Живи один, как собака,— и отвернулся Леська, но глаз не отвел, только чуть веко опустил.

— Девушку в Сам-Павыле видел...— выдавил из себя Юван.

— Ну?! Эка невидаль — девка,— равнодушно протянул Леська.

— Она как сказка,— заторопился Юван, засветился от своей мечты.— Она тепла... тепла, как солнечный лучик. Не знаю, во сне ли то было, наяву ли... Если наяву, то земная это сказка.

— Наверное, сказка,— усмехнулся Леська.— Крапива, Юван, цветет и волчья ягода. Раскинется девка шиповником, а попробуй сорви цветок. Конечно, сказка!

— Нет, нет, она мягка, как вода!

— Вода — это и лед! — отрезал Леська. Но с тех пор каждый вечер стал зазывать к себе Ювана, угощать огненной водой и расспрашивать о сампавыльской девке. Он разваливался на медвежьих шкурах, раздевался по пояс и, поскабливая корявыми ногтями отвислый живот, начинал:

— Ну, как ты, Юван, вечор говорил мне про сампавыльскую девку? Какая она?

«Эх ты, языкастый карась,— ругал себя Юван.— Толстоязыкий ты лгун-карась!»

Леська приподнимался, маленько плескал работнику огненной воды:

— Как ты, Юван, какие слова говорил про косу той девки?

— Коса ее, хозяин,— неохотно, в который уже раз, повторял работник,— коса ее цвета искристых песков. Она длинная и толще хвоста твоего жеребца. Как волна под ветром, плещут ее волосы.

— Сказка то,— сомневался Леська.— Не может того быть, что коса длиннее и толще конского хвоста... Ты говори, говори, парень,— уже торопил Леська, и лоснилось его плоское лицо, растягивались его плоские губы.

А Юван, полузакрыв глаза, чуть нараспев продолжал:

— Еще она как звездочка. Как луна в темной ночи, как ласточка-береговушка.

Леська слушал с открытым ртом, и губы его все шире растягивались, обнажая волчий клык, и ноздри дрожали, расширялись.

«Эк его забирает! Пень ты трухлявый... Ай-е, нельман тур хул — толстоязыкий я карась, врун...— ругал себя Юван.— Он так слушает, Леська, словно вновь собрался... Ух ты, Виткась — Обжора, ух ты, Пожиратель Всего, дерьмо волчиное...»

Дорассказывался Юван до того, что Леська решил жениться.

— Ишо сила во мне не остыла,— похлопал себя по животу Леська,— ишо можно мне маленько с девкой побаловаться. Собирайся, Юван, завтра едем в Сам-Павыл. Много подарков возьмем, много хлеба, лент и бисера, много туесков огненной воды. Свататься едем! — и кинулся Леська в Сам-Павыл, словно волк по горячему следу.

5

А Митяй, отец Саннэ, сидел в то время у огня и делал деревянные ножны для нового ножа. Вилась тонкая, как шелковая ленточка, стружка, и так же свивались, обрывались мысли.

— Пришло время Саннэ замуж отдавать,— проговорил Митяй.— Слышь, женщина!

— Слышу,— ответила жена, занятая делами.— Отдавай! Ты — отец. Первое слово твое, и в нем судьба дочери.

— Мужики сказали мне, что нельзя ее выдавать в нашей деревне. Ходит здоровая кобылица, дерется с парнями. Женщины от нее станут портиться, сказали мне мужики. У нее сила не в титьки пошла, а в кулаки. На сходе крик поднимут мужики, если в другую деревню не отдадим. Если еще раз подерется, то пай у меня отнимут.

— Ты почему торопишься продать свою дочь? — заволновалась жена, потерянно заглядывая в углы юрты.— Разве она мало помогает по дому, разве мало шьет, мало делает пряжи? Отец, если уж хочешь отдать, отдай молодому Картину в Евру. Саннэ ни за кого из парней, кроме Сандро, и не пойдет!

— Не пойдет?! — рявкнул Митяй и бросил в жену недоделанные ножны.— Ты что, без меня ее сосватала? Да я!..— Митяй кинулся к жене, но споткнулся и ударился ногой о полено. На шум вышла бабушка Кирья и набросилась на сына:

— Ты что кинулся на жену, Митяй? Руки чешутся — иди к медведю в берлогу, остынешь. Слышала я разговор о внучке. Слышала, как ты собираешься затолкнуть кровь свою неведомо куда. Сколько продавали наших девушек в дальние края — кто из них счастлив? — наступала бабушка Кирья на Митяя.— А ну-ка, вспомни бедную Палкей!

Помнил Митяй Палкей — жила она в нем незаживающей болью, острой, голодной тоской жила в нем Палкей. Давно то было. Полюбил юноша Митяй маленькую, юркую, как белка, веселую девушку Палкей. Утро она встречала звонкой песней, день проводила в работе и его наполняла песней. Не хотела Палкей замечать Митяя, не созрела в ней еще женщина. В те времена появился в Сам-Павыле русский Сашка, был он

половинщиком паев у евринца Кирэна. Добрый, хороший парень, работал споро и на совесть, учился мансийскому языку да и сам по-русски многих научил. Палкей быстро, со смехом, легко, как песню, схватывала русские слова, а Сашка при ней становился то грустным, то веселым, буйно-озорным. Полюбил он маленькую вогулку и чувствовал, что нравится девушке, но Сашка был сыном русского торговца и знал, что отец не разрешит ему в жены мансийскую девушку, побьет, проклянет и отлучит от богатства.

А желание быть с Палкей становилось все острее. Встретил однажды Сашка Палкей на улице, жарко задышал ей в лицо и потянул в лес. Закричала громко Палкей, тонким от страха голосом закричала, сбежались парни и поколотили Сашку.

— Ты, Сашка, худой человек! — крикнула Сашке Палкей.— Совсем ты худой, собака! Может быть, ты волк? Зачем ты поволок меня в лес? Наверное, ты мяса хотел моего попробовать? Разве для того я живу, чтобы волк меня пожрал?

На другой день пришел Сашка к отцу Палкей свататься. Отец девушки, старый Петч, запросил за дочь калым в три пуда белок. Нарочно он так запросил, потому что увидел, что Сашка зыбкий, себе не верит. Для Сашки то было так много, хоть Палкей и сладкая да мягкая, что потемнело у парня в глазах. Тянул он лямку пайщика у Кирэна, и не потому что был беден, нет, то отец держал его в худом теле, держал так, чтобы научился сын дорожить каждой копейкой, научился копить, торговать и сам завел торговое дело. Где уж тут три пуда белок, где?..

Недоступной оказалась для Сашки девушка Палкей, и уехал он домой. Отец женил сына на богатой купеческой дочке, выделил ему капитал и заставил открыть лавку в Леушах. Открыл Сашка бойкую торговлю, поставил мучные лабазы, завел работников, и как на дрожжах стало подниматься его богатство. Ездить с товаром начал, говорил по-вогульски бойко, а всегда доверия больше к тому, кто знакомо говорит. Взматерел Сашка, укрупнился, ходил в богатой бороде, но часто вспоминал маленькую Палкей, осталась она в нем розовым светом просыпающегося дня.

И Митяю Палкей не досталась, женили его на другой. Больно большой калым просил старый Петч.

Узнал Сашка, что Палкей не замужем. И голос ее услышал, и смех ее заплескался в нем, разрывая сны. Своего работника Палмея стал подбивать:

— Женись, Палмей, на девушке Палкей. Не бойся, езжай, сватайся. Два пуда белок тебе дам, когда наловишь — отдашь. Подожду...

— Нет, хозяин,— долго отказывался Палмей.— Какая женитьба, когда одет совсем худо и брюхо голодное? Работник я, какая тут жена.

— Что, тебе и женщины не снятся? — допытывался Сашка.

— Еще как снятся,— ухмыльнулся Палмей.— Совсем голую держу, без чешуи. Эх да ты жизня-я-а...

— Дам одежду, дам лошадь... потом отдашь,— уговаривал хозяин.— Езжай! Знаю, что отработаешь.

И уговорил. Привез работник Палмей жену в пустую юрту. Увидала Палкей Сашку, глаза его увидела — и поняла. Сашка пришел к ним в юрту на свадебный пир — а на пиру только работники да батраки, шаль цветную да колечко золотое подарил.

— Говори, говори, Палмей,— потребовала на другой день девушка.

И Палмей не таясь рассказал всю правду.

— Ай-е! Щох-щох! — воскликнула Палкей.— Что же ты наделал!

Детей у них не получалось. Хозяйства никакого не завели, безвольно повисли руки Палкей перед работой. Пристрастилась она к огненной воде. Выпьет вина Палкей, потеряет голову и просыпается в амбаре с Сашкой или с другим парнем. Совсем плохо. Любила ее молодежь, просила спеть и сплясать. Выходит в круг Палкей, когда немного пьяная, и запевает песню:

Иди вперед, иди вперед — чем ты не годная?
Хоть величиною с трубку — чем ты не пригодная?
Три пуда белок стою,
Два пуда белок стою,
Маленькая, с трубочку, Палкей,
Маленькая, с бурундучка, Палкей.

Сначала она легонько притопывает, гордо поднимает маленькую головку в тяжелых косах, потом приседает и, легко вспорхнув, плывет по кругу, раскинув руки. И уже другим, густым голосом ведет песню:

Ой вы, девушки хорошие,
Ой вы, девушки пригожие,
Откажитесь вы от женихов,
Откажитесь вы от женихов.

Слезы вскипают в песне, слезы вскипают на глазах Палкей, голос утончается, вот-вот порвется, осыпается, как песок с крутого берега.

Неровня жених навернется,
Волком злым потом извернется,
Кулаками будет сильно целовать,
Мятым корнем будет сильно обнимать.

Опустив голову, она медленно покачивается, с трудом передвигая ноги.

— А я хорошо живу,— тоска разрывает Палкей, но она смеется, только смех ее хриплый и резкий, совсем шершавый, как старая кожа:

Косу — щолву возьму — траву кошу,
Топор возьму — дрова рублю,
Домой приду — слезу попью,
Домой приду — слезой умоюсь,
Спать лягу — черенок косы подстелю,
Черенок косы подстелю да косой накроюсь.
Ах ты, маленькая, с трубочку, Палкей,
Ах ты, маленькая, с бурундучка, Палкей.

Замотает Палкей головой, прыгнет, как лягушка, убегает в ночь, в остервенелый собачий лай.

Знал Митяй о судьбе Палкей, и мать Кирья ударила его больно по незаживающему месту: «А ну-ка, вспомни Палкей!» Да не пошла ему та память на пользу...

Услышал Митяй около дома своего густой собачий лай, храп коней, людские голоса. Выглянул на улицу и остолбенел — перед его домом остановились кони, а из крытых саней вышел Леська.

— Куль Ноер, царь чертей! — удивился Митяй.— Раньше Леська на меня и глазом не смотрел, а теперь почему-то у моего дома коней остановил. Может, сани порушились? Нет, не выйду на улицу,— и Митяй скрылся в юрте: лучше бедному не встречаться с богатым.

Тягуче заскрипела дверь, распахнулась, и в юрту ввалился Леська на коротких кривых ногах. Женщины, увидев Леську, скрылись мгновенно за перегородкой. За каким таким делом заглянул Леська-Волк? Урака, поди, он уже закупил? Может, ему рыбьего жира надо? Может, обувь закажет шить? Зачем пришел?

— Пасе олын сим ком! — поздоровался Леська, но не услышал ответа. Женщины молчали за перегородкой, а Митяй молча стоял у стола, разглаживая в руках кусок сыромятины.— Принимай гостей, хозяин,— бодро крикнул Леська и свистнул: — Заноси! Эй, Юван!

Работник расторопно заносил в избу подарки, узлы, берестяные коробки и туески с огненной водой. Все еще не верил Юван тому, что Леська-Волк рискнет попросить в жены ясноглазую, как солнце, Саннэ. Нет, не могут боги позволить совершиться такой беде! Боги видят каждого человека насквозь и слышат его тайные, от людей запрятанные мысли. Конечно, не допустят боги беды.

— Свататься приехал! — заявил Леська.— Дочь твою, Саннэ, решил в жены взять!

— Сим Пупий! — охнула жена Митяя.— Как он так шутить вздумал?!

Митяй пригласил гостя раздеться. Несколько раз заходил он за перегородку, вызывал жену и мать, приказывал по обычаю принять гостя, накрыть на стол, но ни одна из женщин не поднялась с места — омертвели они, застыли. А Юван выкладывал на стол сладости и дорогие подарки, распечатывал туески с огненной водой.

— Тц-тьц-а-я-цэ-цок,— причмокивал Леська и как-то быстро, Митяй и не заметил как, водку ему налил.— Принимайте гостя!

— Принимайте гостя,— рассвирепел Митяй.— Не то я всех прибью.— Дрался Митяй редко, больше грозил, но сейчас он увидел, как усмехался Леська и покачивал осуждающе здоровенной своей башкой, что, мол, за мужик Митяй, если его бабы не слушаются. А тут уже соседи в избу зашли — смотрят. Заорал Митяй.

Женщины вышли из-за перегородки. Леська и Юван ловко, как арканы, накинули на них большие цветные шали с длинными шелковыми кистями. Охнули соседи — беда, верное дело, свататься приехал! Совсем бесстыжие глаза, совсем у Леськи черное сердце.

— Покажи дочь! — потребовал у родителей Леська.— Жениться хочу!

— Да ты старый,— заплакала мать Саннэ.— Старый, трухлявый пень, кору порви — рассыплешься!

— А это видела?! — захохотал Леська, обнажил клык и похлопал себя по животу.— Што ты молчишь? — закричал он Митяю.

Отец Саннэ второй год прикован к избе, не охотник он уже, не рыбак. Сломал в урмане ногу — застигла его пурга, свирепый ветролом опрокинул на него лиственку, и хрустнули под ней кости. Добрался охотник до лесовней юрты, кое-как выправил ногу, обернул в бересту и стянул ремнями. Вот уже второй год хоть и здоровенный, а ходит худо, дом скудеет.

— Покажи! Понравится — что хочешь дам! — брызгает слюной Леська.— Коней, овец, хлеба... табаку... золотые денежки...

— Не отдам! Не отдам! — разрывает себя в крике мать.— Не отдам лебедушку Леське-Волку. Люди! — распустив волосы, выбежала мать на улицу.— Люди! Волк вышел из лесу, унести хочет дочь мою в логово! Спа-си-те, люди!

Столпились вокруг нее женщины и дети, закричали, завопили в голос — билась мать на снегу. Из соснового бора с вязанкой дров вышла тут Саннэ, ничего не понимая, бросилась к матери, а та и слова не может вымолвить.

— Тёть? — трясет за плечи мать Саннэ.— Тетюм?! Отец умер? Что с ним, сюкум?!

— Ай-е, ай-е! Ай-аю! Да что же это? Больно... больно... Торум Самт — на глазах у бога! Ай-е! На глазах у Шайтана. Щох-щох! — причитает мать.— Всякое думала, всякое ждала... но дочь за Волка отдавать? Дочь, милая дочь Саннэ, хочет купить тебя Леська-Щысь.

— Какой Леська?! — прошептала Саннэ.— Тот, у которого жены мрут?..

— Он... он! Вот он — гнилая кровь! — закричали женщины, увидев, что Леська вышел из юрты и, тоненько посмеиваясь, разглядывает толпу, помахивая плеткой.

— Саннэ,— переваливаясь, надвигаясь огромным животом, приближался к девушке Леська.— Саннэ! Вон какая ты лебедушка! Красивей, чем рассказывали... Хочу в жены тебя взять. Хочу сделать тебя самой счастливой и богатой.— Совсем высунулся изо рта длинный желтый клык, а узкие глаза лезвием резанули по растерянному лицу Саннэ.

— В же-ны?! Ме-ня?! Ты-ы?! — девушка пришла в себя, напряглась, как рысь перед прыжком.— Счастье предлагаешь? — И всем показалось, что над далеким урманом в солнечном дне прокатился глухой гром.— Ты, дохлая рыба, Виткась — Обжора, тухлая требуха,—

в жены, меня? А ну, прочь, падаль... прочь со двора!

— Нет,— ухмыльнулся Леська и выпятил живот.— Нет, красавица Саннэ, ты моя уже... Дорого я заплатил твоему безногому отцу. Хороший он, умный человек. Понял, что совсем издохнет без моей помощи. В твоей власти, послушная дочь, спасти его хромую жизнь. Саннэ, спаси братьев своих младших,— и, сплюнув за порог, вошел Леська в юрту.

— Спасти его хромую жизнь?..— прошептала Саннэ.— О, сюкум! Ты слышишь меня, сюкум? — она обратилась к матери, обнимала ее худые, изможденные плечи.— Спасти братьев младших? — А мать неподвижно, отрешенно смотрела перед собой, словно не слыша ни шепота, ни крика дочери.— Спасти их... спасти... А самой погибнуть, да? — крикнула она пронзительно и громко.

— Ты, дочь моя, беги... Беги. Спасайся,— с трудом разжимая губы, сказала мать.— Беги в Евру... Скажи Тимофею Картину, Сандро скажи, чтоб скорее выкупал тебя. Отец вовсе из ума выжил. Беги!

— Беги, беги, Саннэ,— заторопили женщины.— Вставай на тропу и беги!

— Знаю, знаю я, что у тебя с Сандро,— призналась мать.— Видела, что муж он тебе давно. Беги!..

А Митяй уже выпил с Леськой водки, ему стало хорошо, жарко и тесно. Уже громче бубнил Митяй, хвастался всяческими удачами, которых никогда не было, и был он жалок. Уже тоненько хихикал Леська, предчувствуя добычу, обнажая острый клык.

— Что ты делаешь, Митяй? — протягивала дрожащие руки Кирья, пытаясь удержать сына.— Что ты дела-ешь?

— Что нового в миру, Леська?

— Все по-старому, Митяй! Русские в колокола бьют — Новый год встречают, говорят, что через десять зим новый век начнется.

— Даю тебе согласие, Леська! — закричал захмелевший Митяй.— Нет сильнее и тверже моей отцовской власти! — Митяй громыхнул кулаком по столу. Но ломалось и расползалось его лицо, прятались глаза.

— Нет! — хихикнул Леська.— Нет тверже власти мужчин. Верно ты говоришь. Ой как верно! Русские говорят, наверное, война будет. Как тогда хромому, а? С голоду подохнет семья.

— Отдаю дочь потому, что сыта, одета будет. Хлеба и товаров у Леськи много, не станет голой ходить. И ты, Леська... выкуп! Я тебе такой выкуп поставлю, чтобы я сам в торговцы вышел... Ты говоришь, новые времена — так пусть я торговцем стану! Тогда война мне нипочем!

6

А Саннэ побежала. Не видит перед собой Саннэ знакомой, как ладонь, тропы. Бежит, падает, продирается сквозь кусты, сквозь осинник и березняк, ельник и кедровник. Падает она в снег, падает грудью на болотные кочки и ничего не видит, ничего не слышит. Из красного, горячего тумана возникает перед ней волчье клыкастое лицо Леськи. Оно появляется из дупла и надвигается бездонной пропастью, вот оно возникает из-под кривого сучка и выглядывает из-за еловой лапы. Ветви и сучья изодрали в кровь лицо, шею и руки Саннэ, пот едко разъедает глаза.

— Ок-ко-о-ль! О-ко-ль! — ворвалась в избу девушка.— Тетушка Околь... спаси, спаси меня... Спаси меня, Сандро! Где ты, Сандро? Продают меня в жены Леське-Волку.

— Астюх! — Околь схватила руками голову, зашумела кровь в висках, и сдавило дыхание.— Астюх!

— Где Сандро?! — схватила Саннэ колени Околь.— Где Сандро? Пусть берет меня в жены.— И затряслись плечи в безудержном рыдании.— Уйдем... уйдем куда-нибудь.

— Тимофей взял Сандро в Пелым... Что же делать?! — растерялась Околь.— Господи, ты слышишь меня, боже небесный! Просила Тимофея взять девушку в дом, что же ты не вразумил, боже! Что сделать, как защитить, как охранить девушку? Ни мужа, ни старшего сына нет дома. А средние сыновья гурьбой ушли на лесное озеро.

Подстерегла беда, надвинулась несчастьем, охватила лесным пожаром — нет спасения. Нет спасения, когда потеряешь голову — оставят тебя силы.

— Спрячу тебя в лесу, на Черемуховой речке — Нихья. Там Тимофей срубил лесовнюю юрту. Собирай еду!

Околь быстро нагрузила пайвы — берестяные за-

плечные кузова. Позвала сестру Тимофея посмотреть за малыми детьми и торопливо тронулась с Саннэ в путь. К утру она вернулась и не успела развести огонь в чувале, как на взмыленных конях ворвался в Евру Леська с двумя работниками.

— Где юрта Картиных?! — спросил он встречного старика. Кентин-старик не торопясь вынул изо рта трубку, примял пепел.— Тебя спрашиваю, где юрта? Юрта Картиных где? — нетерпеливо выкрикнул Леська.

— У нас в Евре сначала здороваются,— спокойно ответил старик Кентин.— Желают здоровья и жизни и называют свое имя, имя рода своего. Ты же не бездомная собака? У тебя, поди, имя есть?

— Некогда мне,— заорал Леська.— Ну?! Где Картиных юрта?

— Ты, наверное, Леська-Щысь? Слышал, что ты злой, но не знал, что совсем глупый.— И Кентин, посапывая трубкой, тронулся по своим стариковским делам.

— Где юрта Картиных? — завопил Леська на всю Евру, распахнув мокрый рот.— Вот эту серебряную денежку дам, кто покажет.

Околь вышла из юрты, подошла к Леське и протянула руку.

— Чего тебе? — дернул головой Леська и сузил глаза.

— Давай денежку, покажу юрту,— спокойно ответила Околь.

Леська оглядел настороженную молчаливую толпу и разжал короткие пальцы.

— Вот она, юрта Картиных,— спрятав серебро, показала Околь.— Только хозяина нет дома.— И евринцы дружно и весело всхохотнули — умница Околь!

— Где он?! — задрожал от ярости Леська.

— А у тебя к нему дело? — улыбнулась Околь.— Коли дело, слезай с коня, подожди. Тимофей Картин в волости. Сходом назначен дела односельчан вершить! — И засмеялась гордо.

— Ты, собака, почему зубы скалишь? — заорал Леська.— Ты, коровье дерьмо, зачем мне зубы кажешь, сучья ты дочь?

— У меня зубы целы, оттого и кажу,— насмешливо ответила Околь. Подошли и встали с ней рядом братья Тимофея.— Но почему ты лаешь на меня погано, того я не пойму.

— Я купил у Митяя Лозьвина дочь! — крикнул Леська, и толпа глухо охнула.— Дорого заплатил я отцу за его девку, да! Но поганая девка сбежала.

— От добра не убегают,— повела плечами Околь.— Наверное, ослепла от твоей красоты и разум ее помутился.

— Ага, ты, значит, ее спрятала?! — задрожал Леська.— Куда ты ее спрятала? Ну, говори, сучья дочь! — и замахнулся на Околь ременной плеткой.

— Ты в других деревнях можешь давить слабых и стариков,— жестко, глядя в глаза Леське, заговорила Околь и медленно стала надвигаться на Леську. Братья Тимофея шагнули вслед.— Но запомни: Евра тебе не по зубам! Ты, как росомаха, гадишь в своем логове и нападаешь сзади, а за «сучью дочь» получи,— и Околь плюнула в лицо Леське.— Бейте, братья, волка!

Очнулся Леська на берегу Евры, ощупал себя. Стонет тело, глаз один не видит, в голове гул, но клык цел. Попробовал подняться, застонал, упал на грудь.

— Хорошо — не ножом,— мелькнула мысль, но, словно застыдившись слабости, юркнула, утонула в нахлынувшей ярости.— Даром вам не пройдет, трусливые души!

Поднялся Леська на колени и пополз, высоко поднимая зад. Кривились слабые ноги, короткие руки его погружались в снег, но ветер обмыл лицо, и в голове притих гул. Вскоре наткнулся он на глухонемого работника, рядом стонал другой.

...Через неделю вернулись из Пелыма расстроенные Тимофей и Сандро.

— Ясак добавили! Совсем задушить задумали,— только и сказал Тимофей. И замолк надолго.

— И у нас беда,— сообщила Околь.— Леська-Волк Саннэ покупает. Убьет себя девушка, Тимофей. Помоги ей, отец, помоги! Ради сына, ради Сандро, спаси ее!

Сандро так и застыл, словно умер. Застыл с пустыми глазами и замкнутым ртом, как идол у шайтанского амбара.

— Ты же сильный, Тимофей,— в отчаянии кричала Околь.— Ты сильный, как отец твой, а тот вырвал свою женщину из когтей шамана Волчий Глаз.

Сандро сорвал со стены охотничий пояс и бросился из юрты.

— Сын, сын мой... не беги на свою гибель! — под-

няв руки, упала перед Сандро Околь. Сандро перешагнул через нее и скрылся.

— Иди, отец! Торопись, Тимофей, в Сам-Павыл... Сын в беде.

— А где Саннэ? — устало спросил исхудавший Тимофей. Здорово истрепала его поездка в Пелым, измотали царские служки.— Куда она подевалась?

— Я спрятала ее,— ответила Околь.— Жалко мне ее, девушку ласковую, в вор-кял схоронила на Черемуховой речке.

— Ну и как ее отнимать у Леськи? —тяжело повернулся к жене Тимофей.— Перекупить?

— Перекупи, муж мой, перекупи! — закивала головой Околь и затаила дыхание. И правда, как же отнять у Леськи девушку?

— Больше, чем Леська, я не смогу дать! — отрезал Тимофей.— Он половину Евры может купить, проглотит и не подавится. Украсть? Украсть нельзя: отец ее болен и оттого продает, чтобы жизнь семерых детей спасти. Ну скажи, как?

— Как?! — возмутилась Околь.— Твой отец знал! Твой отец взял женщину. Пригрози Волку! Пусть пьет кровь в своем урочище! Убей его! — вдруг крикнула Околь.— Убей! А бог простит!

— Ладно! —Тимофей туго затянул пояс с длинным узким ножом, взял ружье и острогу.— «Убей!..» — усмехнулся он.— Сандро надо спасать!

...Леська-Волк занимал на время соседнюю с родителями Саннэ просторную юрту. Сандро ворвался в нее, с ножом бросился на Леську и, наверное, убил бы его. Ловко подставил ногу глухонемой работник, и Сандро, падая, сильно ударился головой о стенку — остановилось дыхание, закрылись глаза.

— Свяжите щенка! — приказал Леська.— А ночью, когда все лягут спать, киньте в прорубь. Не видели, не знали. Ай-е, ай-е,— прицокнул Леська языком, толкнул ногой связанного Сандро.— Совсем глупый щенок, совсем дурной — на Волка полез. Ты знаешь, меня люди Волком зовут,— и Леська обнажил острый клык.

— Не видать тебе Саннэ,— хрипит Сандро.

— Я-то увижу, а тебя утоплю,— спокойно ответил Леська, обгладывая баранью ногу.

Тимофей распахнул дверь в юрту и с порога прицелился в Леську.

— Развяжи и выпусти!

Леська не тронулся с места, проглотил мясо, потянулся за водкой, но, взглянув в лицо Тимофею, понял: тот не уйдет без сына. Молча кивнул Леська работнику. Тот вскочил и ножом разрезал веревки. Встал Сандро и шагнул к отцу.

— Не тронь Саннэ! — сказал Тимофей, но Леська уже вскочил, забегал, закрутился по юрте.

— Не-ет, ы-ы-у-у-ых! Не-ет... Тимка...— замахал он короткими руками.— Ты нос свой, крючок, не суй... Не подходи — сгоришь... Без тебя варится моя пища в колташихе. Кто тебе позволит нарушать закон? Ты же из Картиных, ты из тех, кому доверяют хранить законы.

Молчит Тимофей — никто не смеет нарушить закон.

— Я купил женщину! Купил у ее отца! — кричит Леська.— Я рассчитался сполна с Митяем. Вчера мои люди нашли девку на Черемуховой речке. Ты и твой род прятал ее в своей лесовней юрте. А прячут ворованное... Ты вор, Тимоха! А раз ты вор, то завтра на селянском сходе ответишь по закону. Иди!

Точно задумал и рассчитал удар Леська — он обратился к тем, кто сам хотел подороже продать дочерей, он потребовал селянского схода. Тимофей Картин всегда решал все дела на сходе по закону, а завтра будут судить его, как вора...

— Как вора? — повторил Тимофей. Как все странно, как все запутанно в этом запутанном мире: честный человек слывет дураком и всегда беден, бесчестный ворует у ближнего, ворует у рода и почему-то ходит в почете, пусть не в почете, но имеет деньги и власть. Тимофей не взял ни у кого ни крошки, никогда не брал и не возьмет, и он — вор?! И судить его будет Леська, что обирает целые деревни, обездолил сотни людей, погубил и сломал столько судеб.

— Отдай нож, Сандро! Остынь, сегодня сила у Леськи.

Не слышал сын отца, побрел по тропе, а затем отошел в сторону и растворился в лесной чаще.

...И древние старики не упомнят, когда собирался последний раз общий сход двух деревень — Евры и Сам-Павыла. А теперь вот собрался. Толпой пришли сампавыльцы в Евру. Саннэ на селянский сход привезли связанную. Лицо ее было разбито и растрепано, волосы рассыпаны по плечам, платье разорвано. Леська

и его работники стояли в стороне у оседланных коней. Привезли на сход и отца Саннэ, а мать не пустили.

— Говори, Леська, свое дело,— сказали старейшины.

— У меня в ту зиму умерла жена. Я один. Мать совсем худая. Мне нужна жена. Я увидел Саннэ и решил взять ее в жены. Я сговорился с Митяем Лозьвиным, и тот продал мне Саннэ.

— Продал? — спросил сход.

— Да! — ответил Митяй Лозьвин.— Продал. Я ломаный совсем, не могу ходить. Девка моя, и продаю, кому хочу. Да, я продал ее Леське.

— Он все заплатил? — спросил сход.

— Да, он все заплатил и еще добавил,— ответил Митяй.— Пусть он противный, пусть он страшный, но Саннэ будет у него сыта, одета и в тепле. И дети мои будут сыты. Когда она родилась, я обещал сохранить ей жизнь, и я хранил и защищал. Но я никогда не обещал ей красивого мужа. От страшной морды никто не умирал,— кашляя, придерживая рукой грудь, сказал Лозьвин.— Не пойму, почему столько крику, ведь не медведь замуж ее берет.

— Не медведь он, а Волк,— крикнула Саннэ.— Лучше убейте, а не станет он моим мужем. Сандро будет мой муж. Сан-дро-о-оо!

— Я все заплатил сполна! — оттопырил губу Леська.— А Тимофей Картин украл мою жену. Он — вор. Судите его, как вора!

— Он не мог украсть! Он верный и честный,— ответили старейшины Евры,— и он был в волости. Девка сама пришла в его юрту...

Долго шумел сход, долго кричали мужчины. И громче всех Мишка, сын беглого Мыколки и мансийки Сафроновой. Уходил Мишка из Евры — лет десять плотничал в Тобольске да Тюмени. Нынче вот только вернулся, но не привыкли к нему в Евре, все казался Мишка-плотник каким-то пришлым. Потому и не больно-то прислушивались сейчас к тому, что он кричит.

— Не отдавать девку! — не жалея горла, орал Мишка.— Тоже закон удумали... Гнать его, мироеда! Давить их надо!..

Но сход после долгих споров порешил: «Леська сполна заплатил калым. Саннэ должна стать его женой».

— Умру — не стану! — поклялась Саннэ.

— Ах, не станешь?! — крикнул Леська.— Наказать по закону!

И Саннэ наказали. Привязали к столбу и били мочеными сосновыми корнями. Разбрелись люди. У столба, задрав ногу, мочилась собака.

— Господи! Да что же это?! Боже! — стонала Околь, когда рассказал ей Тимофей о решении схода.

Связанную Саннэ взвалили на коня и увезли в деревню Тур-Павыл, в дом Леськи.

Через несколько дней из Евры исчез Сандро.

7

Много заплатил Леська за Саннэ и заплатил бы больше, сколько бы ни запросил отец,— так ему нравилась невеста. Много собралось гостей — ели саламат, пили огненную воду. Только Саннэ сидела как каменная. Неподвижная, погруженная в себя, без слезинки, без стона и крика.

Такой она и ехала к Леське, в чужую деревню. Не помнит, сколько ехала, по какой дороге и когда прибыли, так и не вышла из нарты. Ее звали, уговаривали — она молчала. Леська и Юван взяли ее на руки и втащили в дом, где встретили молодую сестра Леськи и работница Лыкерья.

На столе уже стоял свадебный саламат, заправленный толокном, паром окутались вареные мозги, вареная говядина и жареная баранина, верхотурские пряники, шаньги, леденцы, цельная сахарная голова, всякая стряпня. Саннэ сидела не раздеваясь, молча смотрела перед собой, как будто зашла на минутку, вот сейчас поднимется и уйдет. Заклинала богов Саннэ, звала к себе Сандро. Вот ворвется сейчас любимый — и развеется наваждение...

— Ты не трогай ее,— сказала сестра Леськи.— Пусть осмотрится. Обвыкнет пусть. Из нищеты она, из гольной бедноты — разве когда видела столько угощения? И дичится оттого. Пусть обвыкнет.

Взяла сестра Саннэ за руку и молча увела ее за перегородку. Саннэ сбросила беличью шубку, закуталась в шаль, забралась на лежанку, прижалась спиной к стене и застыла. Несколько раз подходил к ней Леська, и каждый раз Саннэ вскакивала и принималась кричать.

Не признавала себя Саннэ женой Леськи, не смирилась и не обещала смириться. Она плевала в лицо, в узкие глаза Леськи, исцарапала ему щеки, бросала в него все, что попадало ей под руку. От нее прятали ножи, топоры, все острое, все тяжелое. Леська приводил к ней издалека шамана, тот камлал над ней, связанной, но не смог ничего сделать — Саннэ поднималась и в исступлении бросалась на Леську.

— Худо, совсем худо! Убить ее, наверное, надо,— размышлял Леська.— Но убить-то жалко. Больно дорого заплатил за нее и не знаю ее тела. Худо... Смеяться кругом начнут... пальцем показывать: Леська, мол, вовсе силу потерял, с бабой не совладает, наверное, издохнет скоро. Вот что страшно,— шепчет по ночам Леська и тенью шныряет по двору, не в силах сомкнуть глаз.— Из-за этой бабы дела, наверное, худо пойдут. Людишки пока боятся, а узнают, что Саннэ не поддается, перестанут признавать...— Пахнуло на Леську холодом, как со дна омута.— Силой-то взять можно, если связать... да разве за то такой калым платил? Нет, надо, чтобы сама сломалась, надо ее хитростью скрутить так, чтобы всю силу мою почуяла и брыкаться перестала. Такую хитрость... такую хитрость задумать... может, мне моя мать поможет.— И Леська вошел в юрту матери.

У матери истлели волосы от старости, свисали жесткими белыми прядями из-под платка. Глаза старухи утонули в морщинах, тускло отсвечивали бельмами, рот провалился — глуха она и слепа. Песни о ней пели, какая она была красивая. Не с красотой, с умом счастье уживается, да и то как судьба решит. Ни от мужа, ни от сына Леськи не видела она добра и женскую долю вызнала до дна. Знала старуха, что никто в этой жизни не поможет женщине, на которую обрушилась беда.

— Помоги, мать.— Леська присел на низенькую скамейку.— Не могу совладать с Саннэ. Совсем бешеная — глаза горят и когти наготове. Помоги.

Старуха что-то варила в закопченном котелке и не повернула головы.

— Не могу взнуздать ее,— жалобным голосом протянул Леська.

— Саннэ — не лошадь! — отрезала старуха.— Ты выкупал ее у добрых родителей не для того, чтобы запрягать. Правду говорят, ты — Леська-Волк. Ты готов за каждую шкурку испить живой крови. Я рада за Саннэ,

что не поддалась тебе. Берегись, Леська, кого-то ты обездолил, забрав Саннэ!

— Ты рада, что Саннэ не взнуздана?! — ноздри Леськи хищно шевельнулись.

— Иди! — властно крикнула мать.— Тебе, Леська, не взнуздать ее.

Долго думал Леська и на другой день во всеуслышание объявил сельчанам:

— Жена моя, Саннэ, шибко любила до замужества глядеть на других мужчин. Вы знаете, люди, что такое незамужней женщине много глядеть на мужчин?

— Знаем,— ответили сельчане.

— Оттого, что женщина много смотрит на мужчин, она становится порченой,— взъярился Леська.— А порченая не может оставаться женой. И сейчас я не признаю ее женой.— Леська приподнял над головой круглый кулак. Так по закону отказываются от жены.

— Не признавай! — обрадованно поддержали те, кто сочувствовал Саннэ.— Отпусти ее, пусть она так живет.

— Женой я ее не признаю! — гордо вскинул огромную голову Леська и ощерил волчий зуб.— И выпущу ее из своей юрты. Но я заплатил за нее слишком много — дорогой выкуп. Так пусть она живет на конюшне с моими конями. Пусть она живет с жеребцами, моя дорогая лошадь.

Ахнула толпа, а Леська, довольный, пошел к дому.

— Она не будет даром есть мой хлеб! — крикнул он, обернувшись.

Леська заставил Саннэ из леса носить на плечах сушняк-долготье. В лес и оттуда ее водил, как лошадь, в поводу, преданный Леське глухонемой. В лесу женщина набирала сушняк, глухонемой крепко затягивал вязанку и взваливал на Саннэ.

Когда она возвращалась из леса, вся исцарапанная, в синяках, Леська звал людей на дорогу, расхаживал и кричал:

— Кому... кому нужна дорогая, сильная кобыла? Смотрите, люди, какая она поводливая! Смотрите, люди, как ровно и сильно идет в поводу. Кто желает купить? Кто желает запрягать ее по ночам? Только дорогая она, эта кобыла.

Глухонемой, чтобы выслужиться перед хозяином, гибкой палкой подстегивал женщину.

— По заду... по заду стегани,— покрикивал Лесь-

ка,— пусть она подберет его, пусть втянет. Бей кобылицу!..

На плечах Саннэ веревка прорезала глубокие раны, и те не заживали, не затягивались, почернели и загноились. Но, окровавленная, избитая, в изодранном платье, Саннэ шла по деревне в гордом молчании, ни проронив ни звука, ни стона.

— Смотрите, какая красивая, дорогая кобыла! — исходил в крике Леська.

А вечером велел он опять привести Саннэ в избу. И опять лез к ней Леська, распалился. Опять криком кричала Саннэ. На вторую ночь Леська напился, ворвался за перегородку, вытащил Саннэ за косы на свою половину и долго бил. Падал за стол, пил огненную воду и снова бил до тех пор, пока не свалился пьяный. Упал и захрапел. Но, падая, Леська придавил своей шеей длинную косу Саннэ.

— Куль Ноер — царь чертей! Сейчас я успокою тебя.— У Саннэ мелькнула страшная мысль — и ослепила ее. Жаром опалило голову.— Успокою тебя, клыкастый Волк...

Она набросила косу на раздувшееся горло Леськи, изо всех сил, сцепив зубы, стянула. Леська шевельнулся, и тогда Саннэ, не выпуская петли, всем телом, всем своим горем навалилась на него. Леська всхрипнул, дернулся, раскинул короткие ноги и застыл.

Быстро, на одном дыхании оделась Саннэ, бросила в берестяной кузовок кусок мяса, хлеба и рыбы и выбежала на улицу в робкий синеющий рассвет.

А навстречу ей — Юван. Каялся он страшно все эти дни. «Моя вина, ой какая моя вина... Зачем рассказал хозяину о Саннэ? Зачем так расхвалил ее?»

— Бежишь, Саннэ?! — испугался Юван. А Саннэ перед ним едва стоит, обомлевшая от страха.

— Бегу... Бегу я. Не трогай меня, Юван! — взмолилась Саннэ.— Не убивай!

— Те-бя?.. Убить те-бя... Саннэ?! — голос у Ювана задрожал.— Беги!.. Подожди, подожди, милая девушка,— заторопился он,— принесу лыжи и еды...

Исчез на мгновение, появился с лыжами и узелком.

— Вставай! — Юван помог ей укрепить лыжи и сунул узел с едой.— Прости, Саннэ, виновен перед тобой. Это я распалил его нечаянно... я рассказал о тебе Леське.

Обернулась Саннэ и крикнула:

— Юван, я задавила Волка. Помоги! — и быстро побежала по свежей утренней пороше.

Испугался страшно работник, прислонился к стене юрты.

— О, Великое Небо! Задавила?! Что делать? Куда задевать Волка на вековечные времена?

Быстро скользнул Юван в юрту, приблизился к Леське и вгляделся в лицо. Оно расплылось в страшном зверином обличии.

— Щох! Щох! — прошептал Юван, взвалил Леську на спину и быстро побежал к проруби.

Потом он деревянной лопатой разгребал снег, очищая тропинку к проруби, засыпая свои следы...

Сестра Леськи проснулась, в избе — тишина.

— О, Светлый день! — умиротворенно пробормотала она.— Радостное утро, пресветлый день! Поладили молодожены... Спят сладостным сном. Да будь ты проклят, Леська, такую девку испортил.

Встала сестра, позевала, почесалась, неторопливо пошла к Лыкерье, что должна приготовить утреннюю пищу. Поднялась к Лыкерье, потянулась с зевотой.

— Ты, Лыкерья, рано пищу не готовь. Не готовь, отдохни сама. Не буди молодых — пущай они подольше поспят.

— Аль помирились? — ахнула Лыкерья.— Помирились?! — Не поверила работница, и страшно, обидно ей стало, что сломалась гордая женщина. Значит, не гордость в ней была, а так, одно показное притворство.— Неужто все женщины таковы?

— Да! — отрезала сестра.— Как ни поверни — все мы таковы, Лыкерья. Вот продай меня — и я рада тому буду. Не знаю я мужского мира. Силу знаю... но ведь кроме силы что-то есть в них.

— Неужто все женщины таковы? — убивается Лыкерья.— Да где сила твоя, Белый Светлый День?! Почему вы молчите, земные и небесные боги?!

— Ты не готовь пищу,— приказала сестра.— Пока сам не позовет. Сбегаю на радостях к родственнице... Не буди их, Лыкерья! — убежала.

— Иди ко мне, Юван! — затуманилась Лыкерья. Юван вошел в юрту, где готовилась пища хозяину, а в уголке кормили работников.— Иди ко мне, Юван! Нет у тебя огненной воды?

— Зачем тебе, баба?

— Так Саннэ ведь помирилась с Волком,— запричитала Лыкерья.— Да как так устроена наша собачья жизнь?..

А Юван потер глаза рукавом, будто в глаз что-то попало.

— Собака он, бешеный волк! — решила Лыкерья.— Дай огненной воды! Позови работников, Леська спит!

Юван вышел, принес из амбара туесок, привел работников.

— Наливай,— приказала Лыкерья.— Сегодня самый темный день в моей жизни. И будь она проклята!

И в полдень Лыкерью не позвал хозяин. И после полдня не крикнул... А Саннэ все шла и шла на лыжах, не останавливаясь. Хотелось есть, мучила жажда — не позволила себе Саннэ ни глотка снега, ни крошки мяса. Бежала, боясь оглянуться. Казалось ей, что ожил Леська, что не убила она его вовсе, что ей все привиделось — не спала ведь столько ночей, совсем не спала, и словно расслоилось в ней все: на тяжесть и легкость, на свет и тень, на сон и явь. Как будто сейчас бежит по снегу не она, а две, три Саннэ. У одной холодеет сердце, у другой полыхает голова, у третьей слабеют ноги. Домой... скорее домой... к Сандро, к священной березе над омутом...

И слышит Саннэ скрип лыж, и скрип саней, и лай собак, голоса людей, хрип, топот коней и пронзительный, злобный крик погони.

— Убью! — хрипит за спиной Леська. И перед ней из-под еловой лапы возникает угольно-сизое лицо.

— Догоню! — слышит она голос Ювана.— Прости, но догоню! Прости, но велят мне догнать.— И сбоку, из густеющих вечерних теней, появлялся на миг и протаивал Юван.

А Саннэ все бежала...

К вечеру вернулась домой сестра Леськи. В избе тишина. Разделась, на цыпочках подошла к половине Леськи. Тихо приоткрыла занавеску. Никого нет.

«Наверное, играют»,— подумала сестра, но тут же остановила себя. Леська играть не может. Бросилась смотреть одежду — Леськино все на месте, а одежды Саннэ нет.

— Люди! — бросилась сестра на улицу.— Люди! Нет моего брата!

— Как нет?! — шатается от огненной воды Лыкерья.— Совсем больше нет, что ли?

А Юван вздохнул всей грудью, взял топор и с размаху расколотил крученый, сучклявый кряж.

На третий день Саннэ встретила Сандро. Бежал он на лыжах, и солнце било ему в глаза, и не увидел он сперва девушку, ползшую в порванной шубе по глубокому снегу. Чуть опережая сына, распарывая мертвую снежную залежь, с обугленным лицом шел Тимофей Картин. Он нес ружье в руке так настороженно и твердо, как несут его манси, когда уходят на великую охоту.

— Как будто это было вчера,— вздыхает старая Околь.— Разве я могу забыть горе своего сына? Разве можно забыть горе Саннэ? Они насквозь проросли в мою душу, они — все сыны мои и дочери — живут во мне. И память наша — то лун медлительных поток...

«Лун медлительных поток» — эхом отдаются в сердце Апрасиньи слова матери. Но как же так? День стремительно врывается в ночь, и ночь откидывает рассвет, и ночь угоняет день... Как же может быть, что память — медлительный поток? Ведь у нее, Апрасиньи, воспоминания вспыхивают и сменяют друг друга так же быстро, как волны в весенней реке.

— Медлительно цедит себя время над вечным покоем урманов,— качает головой старая Околь.— Но что-то уходит... И я вижу: жизнь моих внуков не повторит мою жизнь.

Склонясь над берестяной люлькой, задумчиво гладит Апрасинья золотистые волосы дочки своей — Околь.

СЛОВАРИК
некоторых мансийских и местных
русских слов и выражений,
встречающихся в книге

Ай-е! Ай-е! — восклицание — «ой, что это?!»

Ай-ю, ай-ю! — восклицание — «Больно, больно!»

Акынь — домашние божки, деревянные идолы — хранились в шайтанском амбаре. Считалось, что они приносят удачу охотнику.

Аньсих Сисьва Пялт — Старик Длиной с Зайца, персонаж мансийских сказок.

Апа — берестяная люлька.

Ас — река Обь.

Астюх! — восклицание — «Как холодной водой меня облили», «Дрожь пошла по телу», «Холодный пот прошиб».

Виткась — лягушка, обжора, злой дух — Пожиратель Всего Живого.

Вор-кял — лесовняя юрта, охотничья избушка.

Вор-Люльнэ — лесная женщина, лешачиха.

Ворнэ — лесная богиня, покровительница охотников.

Вор-Хум (Выскорь) — леший.

Вуй — сказочный зверь.

Вуй-аньсих — медведь.

Вата хум — торгующий человек, купец.

Ватлан, ватланчик — берестяная посудина с плотной крышкой.

Губа — нарост гриба на стволе дерева.

Ёкым — сестра.

Ёнкып — месяц.

Касюм — младший брат.

Кидус — помесь соболя и куницы.

Колташиха — котел.

Комполэн — Болотный Дух, получеловек-полузверь, персонаж мансийских сказаний.

Кул Вытнэ Ёнкып — месяц посадки рыбы в садки.

Кулнэ — женщина-рыба, речная богиня.

Кул Тослэн Ёнкып — месяц копчения рыбы, приготовления урака.

Куль Ноер — царь чертей.

Кумпалка — шест с широкими поперечными дощечками на конце.

Кухта — снег на ветках.

Кялкеле — маленький домик.

Кямка — морда, плетенная из тальника.

Лыенъях — беличья шуба.

Люль — плохой, дурной.

Макса — печень.

Мань — малый, маленький.

Мань-кял — домик, куда женщина уходила рожать, где отдыхала перед родами.

Нёхыс — соболь.

Нёхысъях — соболья шуба.

Нильсап — костяной нож для чистки рыбы.

Ниры — женская обувь.

Нодья — костер из стволин, положенных друг на друга.

Нянь — хлеб.

Нельман тур кул — толстоязыкий карась, враль.

Неплюй — мех олененка, не достигшего полугода.

Омпъях — собачья шуба.

Орп — зимний запор на реке.

Пайва — берестяной заплечный кузовок.

Пасе олын сим ком! — «Здорово живи, милый мужчина!»

Пасе олын сим нэ! — «Здорово живи, милая женщина!»

Переновка — прочный наст.

Постегонка — дратва для починки обуви.

Пурлахтых — моление и принесение жертвы Шайтану.

Пупий — земной бог Шайтан.

Пупий Самт — на глазах Шайтана.

Пынзян — олений аркан.

Пыса — брага.

Сайрын Хоталум! — восклицание — «Белый Светлый День!»

Саламат — мучная каша, заваруха.

Санквалтап — «лебедь» — мансийский музыкальный инструмент.

Сахи — зимняя женская одежда из оленьих шкур, сшитая вверх мехом, расшивается узорами.

Слопец — деревянная ловушка на птиц и мелкого зверька.

Сор — озеро в устье реки, иногда широкая протока.

Суваннэ — ленивая.

Сурвяка — мансийское блюдо, готовится из рыбьей муки, толокна, брусники и рыбьего жира.

Сюк — мать.

Сянк — бабушка.

Тамга — родовой знак, клеймо.

Тёть — отец.

Тетюм — мой отец.

Товт Торум — бог огня.

Торум — верховное небесное божество.

Торум вайлын! — «Видишь, боже небесный!»

Туи — весна.

Туман — цепочка озер, соединенных между собой реками-протоками.

Тыи — лето.

Тыритап — мансийский трехструнный музыкальный инструмент.

Тэли — зима.

Урак — копченая рыба.

Хотанг — лебедь.

Чарым — наст.

Чувал — глинобитная печь с открытым прямым дымоходом.

Чуман — берестяной кузов, лукошко.

Шабур — свободного покроя одежда, надевается обычно поверх шубы.

Шабурина (*сапур*) — домотканое полотно из прочных конопляных ниток.

Шаим вить — гнилая вода.

Шохруп — коптильня.

Щох! Щох! — «Ой, обожгло меня!»

Ы-ы-ы, Ёлноер — «Да чтоб тебя подземный царь!»

Яйт Тустнэ Ёнкып — месяц летнего запора.

Ялвал Ходячий — злой дух из мансийских поверий.

Япум — брат мой.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Сазонов Г. К., Конькова А. М.

С14 И лун медлительных поток...: Роман-сказание.— Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1982.— 256 с.+ фронтиспис.

В пер.: 1 р. 10 к. 30 000 экз.

Исторический роман о прошлом народа манси.

С $\frac{70302-052}{М158(03)-82}$ 4702010200

ББК 84Р7
Р2

ИБ № 866

Геннадий Кузьмич Сазонов
Анна Митрофановна Конькова

И ЛУН
МЕДЛИТЕЛЬНЫХ
ПОТОК...

Редактор **М. П. Немченко**
Художник **Е. Бердников**
Художественный редактор **В. С. Солдатов**
Технический редактор **Л. М. Голобокова**
Корректоры **Г. Г. Быкова, И. П. Кирсанова**

Сдано в набор 02.11.81. Подписано в печать 18.03.82. НС 12052. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типогр. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 13,4. Усл. кр.-отт. 13,8. Уч.-изд. л. 13,8. Тираж 30 000. Заказ 517. Цена 1 р. 10 к.

Средне-Уральское книжное издательство, 620219, Свердловск, ГСП-351, Малышева, 24. Типография изд-ва «Уральский рабочий», 620151, Свердловск, пр. Ленина, 49. Переплет № 4 отпечатан в производственном объединении «Полиграфист», 620151, Свердловск, Тургенева, 20.

В 1982 году
Средне-Уральское книжное
издательство
выпускает в серии
«Уральская библиотека»
книги:

Д. Н. Мамин-Сибиряк
«ТРИ КОНЦА»
Роман

Д. Н. Мамин-Сибиряк
«ЗОЛОТО»
Роман, очерки
и рассказы

«СОВРЕМЕННАЯ УРАЛЬСКАЯ
ПОВЕСТЬ»
Том третий

«СОВРЕМЕННЫЙ УРАЛЬСКИЙ
РАССКАЗ»
В однотомник вошли рассказы
более сорока писателей

1 р. 10 к.



Г. САЗОНОВ
А. КОНЬКОВА

И ЛУН
МЕДЛИТЕЛЬНЫХ
ПОТОК...

Свердловск
Средне-Уральское
книжное
издательство

Г. Сазонов
А. Конькова

И лун медлительных поток...